

Берт Кейзер  
ТАНЦЫ СО СМЕРТЬЮ



жить и умирать  
в доме милосердия

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНА ЛИМБАХА

**Берт Кейзер**  
**Танцы со Смертью**  
**Жить и умирать в доме милосердия**

**Bert Keizer**  
**Het refrein is Hein**  
**Leven en sterven in een verpleeghuis**

\* \* \*

*Издательство выражает признательность за поддержку  
Нидерландскому литературному фонду (Nederlands letterenfonds dutch  
foundation for literature)*

- © Uitgeverij Boom / SUN, 2014
- © Д. В. Сильвестров, перевод, статья, 2017
- © А. В. Наумов, дизайн обложки, 2017
- © Издательство Ивана Лимбаха, 2017



## «Читателя! советчика! врача!»<sup>[1]</sup>

Перед нами книга, напоминающая путевой дневник (он и начинается с поездки в автомобиле). Рассказчик, врач-геронтолог в амстердамской больнице Де Лифдеберг (см. Предисловие автора), совмещающей в себе обычную клинику, дом престарелых и хоспис (последнее пристанище умирающих), странствует от одной человеческой судьбы к другой, от одной смерти к другой. Пациенты умирают естественной смертью, но и не только. В Нидерландах, как и в некоторых других странах, легализована эвтаназия: добровольный уход из жизни с помощью врача, если физические страдания неизлечимо больного становятся для него невыносимыми.

А. А. (Берт) Кейзер родился в 1947 году в Амерсфоорте, получил философское, а затем и медицинское образование, был врачом в Кении, в настоящее время работает в Амстердаме. Он выпустил несколько книг, завоевавших популярность в Нидерландах и получивших известность в Европе, Южной Америке и Японии.

Разговорному рифмованному афоризму заглавия книги *Het refrein is Heïn* не так-то просто найти эквивалент на другом языке. Эти слова – вторая половина приводимой в тексте сентенции: «Het leven mag een lied zijn, maar het refrein is Heïn» [«Жизнь может быть песней, но рефрен – Смерть»]. Heïn, папаша Хейн, братец Хейн – персонификация Смерти в германском фольклоре, где Смерть не *Она*, а *Он*, Скелет с косой, в плаще с капюшоном.

По-русски книга озаглавлена *Танцы со Смертью*. Этот мотив проскальзывает в двух-трёх местах текста, в том числе и как воспоминание рассказчика об иллюзиях в бытность студентом-медиком «увидеть себя танцором в тесном объятии танго со Смертью». Русское заглавие продолжает список аналогичных переводов заглавия книги Берта Кейзера на другие европейские языки: *Dancing with Mister D.* [Танцы с мистером D.], то есть со Смертью: D – Death, Смерть (англ. перевод, сделанный самим автором, 1997); *Stram tango med döden* [Танго вплотную со смертью], шведск., 1996; *Danzando con la Muerte* [Танцы со Смертью], исп., 1997; *Danse avec la Mort* [Танец со Смертью], фр., 2003; *Dançando com a Morte* [Танцы со Смертью],

порт., 2008. Только немецкий (1997) и японский (1998) переводы выпадают из этого круга: *Das ist das Letzte* [*У последней черты*] и *Shi wo motomeru hitobito* [*Люди, что жаждут смерти*].

Автор (в книге – Антон) ведет повествование от первого лица, выступая практически под своим собственным именем (полное имя Берта Кейзера – Альбертус Антониус). Его оттеняют двое коллег, врачи Яаарсма и Де Гоойер. Антону неизменно сопутствует старшая медсестра Мике, которая в самые трудные минуты всегда рядом. Эпизодически появляется тот или иной врач-консультант или кто-либо из обслуживающего персонала.

От страницы к странице Антон ведет диалоги с обреченными пациентами этого нескончаемого путешествия: измученными, исхудавшими до последней степени страдальцами/страдалицами, каждый/каждая из которых, в сущности, еще до своей смерти становится собственной тенью.

От страницы к странице знакомишься с жизнью поступающих в клинику и умирающих на твоих глазах пациентов. Краткие, точные зарисовки. Некоторые персонажи присутствуют лишь на протяжении одного-двух абзацев. Других, вместе с Автором, навещаешь в нескольких главах книги. Находишься рядом при осмотре пациентов врачом, переживаешь их смерть, присутствуешь при их отпевании в церкви, на похоронах. Видишь разное отношение ко всему этому их родных и близких. Принимаешь убийственную иронию Автора и разделяешь его же искреннее сочувствие.

Протяженная галерея самых разных людей, картины взаимоотношений между пациентами, их родственниками, медицинским персоналом больницы, рассуждения о разных сторонах и проблемах медицины – характерные черты литературы нон-фикшн, с ее героикой факта, ее интересом к реальному человеку, не герою художественного произведения. Такая литература, всё более завоевывающая мировые позиции, отвечает интересам читателей к всестороннему, глубокому знанию окружающей нас действительной жизни. Люди хотят видеть в книгах не вымышленный беллетристический мир, не художественно выписанных героев в художественно измышленных обстоятельствах, а самих себя.

Профессиональный взгляд медика, пронзительная точность натуралистических описаний, включая физиологические отправления

и вскрытие трупов, буквально превращают читателя в соучастника всего, что происходит с каждым из персонажей. Присутствуешь при диалогах Автора с живущими и с умирающими о жизни и смерти, о вере и неверии; вдумываешься в его размышления о науке, о врачевании, о призвании подлинного врача – и о враче как функционере от медицины; вслушиваешься в рассуждения: имеют ли смысл поиски смысла жизни? в чем состоят жизненные ценности? можно ли воспринимать отдельно душу и тело? – Вечная проблема несовместимости веры и знания: я знаю, что умру, но я в это не верю.

Здесь ничто не остается за кадром. Мы проникаем в душевное, физическое, физиологическое состояние мучительно страдающих, умирающих пациентов. Врач проходит последний путь с каждым из своих подопечных. Последние месяцы, недели, дни, часы, минуты жизни – почти всегда круги ада, всё круче спускающиеся в бездну небытия. Но мрачные пути человеческой жизни не исчерпываются картинами адских ландшафтов. На страницах книги встречаешь и просветленное спокойствие перед лицом смерти, видишь стойкость и душевное благородство, противостоящие безысходности.

Заметное место отведено в книге двум священнослужителям: католическому священнику и протестантскому пастору. Они беседуют с пациентами, отпевают умерших, участвуют в погребении. Автор часто общается с ними, ведет дискуссии о Боге, о месте религии в нынешней жизни. Интеллектуальная честность Автора проявляется в открытом провозглашении неверия в Бога, притом что он проникнут глубинной сутью христианской этики, но не выставляет свое отношение напоказ. С чуткостью и пониманием относится он к трагическому положению своих пациентов, и они отвечают ему трогательной признательностью и доверием. Видишь, с какой болью и самоотверженностью он помогает им достойно уйти из жизни, фактически становится для каждого из них духовным отцом. При этом он остается один на один со своей совестью. Он не принимает повсеместного выхолощенного обрядоверия, лживого и лицемерного восхваления очистительной роли страданий, его возмущает кичливое бесстыдство Церкви, вся эта бездумная «божественная комедия». Для него невыносима бутафория церковной службы «на исходе догмы», оскорбительная для памяти его пациентов, душевную связь с которыми – после их ухода из жизни – он ощущает особенно остро.

Вместе с автором переходишь от больного к больному, в рутине повседневной жизни больницы, вместе с автором оплакиваешь смерть *этого* мужчины, *этой* женщины, и каждая смерть становится твоей собственной невосполнимой утратой.

Не сразу, не с первых страниц, но в какой-то момент чтения тебя вдруг пронзает мысль, что ты, в сущности, сопутствуешь современному Данте, которого направляет его неизменный Вожатый, его Вергилий, в данном случае – Смерть. Медсестра Мике, словно Беатриче, – нянька, по словам Мандельштама<sup>[2]</sup>, – верная помощница и опора Врача, неразлучно находится рядом с ним. И когда, почти дойдя до середины книги, встречаешь прямое упоминание: надпись на вратах Дантова Ада, – это только подтверждает твою догадку.

Антон рассказывает о происшедшем, прошедшем. Пациенты его уже мертвы. Исключая, в сущности, второстепенных персонажей, необходимых для оркестровки повествования, он единственный живой в этом царстве теней. Но драматизм происходящего в том, что только ты знаешь об этом; сами они, переживая – кто-то, в какие-то мгновения, рай, кто-то – чистилище и все они – ад земного страдания, еще не знают, что для Автора и для нас они – тени, неподвластные времени.

Первое издание книги вышло в 1994 году. Автору было тогда 47 лет, что при нынешней продолжительности земной жизни не слишком далеко отстоит от ее половины. В книге Берта Кейзера действительно можно видеть своего рода постмодернистскую вариацию *Божественной комедии*. Людские судьбы обрамлены многослойной сетью исторических ссылок, отголосков бытовых событий, зарисовок природы, литературных аллюзий. Язвительный сарказм и щемящий лиризм; юмор, горькая ирония и раблезианское зубоскальство в пределах «материально-телесного низа»; отвлеченное философствование и фрагменты из прозы и поэзии разных эпох и культур («цитатная оргия», вспоминая слова Мандельштама из *Разговора о Данте*) – делают книгу своего рода энциклопедией современной культуры.



Это нелегкое чтение. Оно требует работы и ума и сердца. Но ведь, в сущности, книги пишутся не для читателей. Как всякое произведение искусства, книгу, хорошую книгу, Автор пишет для самого себя – с тайной целью: побудить читающего отождествить и себя с автором. В неистребимой жажде бессмертия автор ищет в читателе самого себя. Но и читатель ищет себя в авторе. Только такой читатель, зритель, слушатель уврачует душевную рану, спасет и Автора и себя от бесчеловечного, убийственного одиночества.

Дом милосердия, больница, в которой находишься с первой до последней страницы книги, носит название *Де Лифдеберг* (нидерл. de Liefdeberg, гора любви). Это микрокосм, драматически концентрирующий проблемы нашего времени. *De Liefdeberg* перекликается с *Der Zauberberg*. *Волшебная гора* – так называется вышедший в 1924 году знаменитый роман Томаса Манна. В туберкулезном санатории близ Давоса скрециваются судьбы людей в атмосфере близости смерти, на фоне апатии в преддверии Первой мировой войны, которую никакое *волшебство* не в силах было предотвратить. Дом милосердия Берта Кейзера уже одним своим названием указывает путь надежды: любовь.

Каждый из нас умрет. Момент смерти – момент абсолютного одиночества. И бесспорная ценность этой книги – показать, что сострадание, душевная поддержка даже смерть делают частью жизни. Возможность этого становится на страницах книги темой мысленной дискуссии с одним из наиболее противоречивых философов XX века, Людвигом Виттгенштайном (Берт Кейзер посвятил ему одно из своих сочинений). В этой книге о смерти Берт Кейзер проходит от одной *станции* к другой по *Via Dolorosa* не только своих пациентов – по ней рано или поздно пройдет каждый из нас. Увлекая нас за собою, он странствует от античности до нашего времени по необъятному пространству культуры, с ее писателями, философами и поэтами, изобразительным искусством и музыкой. Не все эти аллюзии и ссылки полностью совпадают с нашим ареалом культуры. Указываемые в примечаниях ссылки на мало или совсем неизвестные артефакты помогут интересующимся читателям познакомиться с ними, воспользовавшись Интернетом.

Остается добавить, что эта трагикомическая книга о нашем невыносимом прекрасном мире, о происходящей на земле и для кого-

то продолжающейся на небесах *круговерти жизни и смерти*<sup>[3]</sup> вполне заслуживала бы названия *Божественная комедия* – если бы оно уже не принадлежало другому сочинению, без которого настоящая книга никогда не была бы написана.

Упомянув о человеке, который смертельно боялся умереть в одиночестве – а умер от сердечного приступа на семейном празднике, книга завершается фразой: «Ах, может быть, он никогда не чувствовал себя более одиноким, как в те последние минуты, среди стольких людей». Не оставлять человека одного, и прежде всего при встрече со Смертью, – вот, собственно, пронзительное послание и смысл этого повествования.

\* \* \*

Приношу глубокую благодарность доктору Сибрену Бринку, без которого я не пробрался бы сквозь чащу нидерландских бытовых и словесных реалий; Рут Фокерман, от которой я получил немало ценных советов; сыну Владимиру, врачу, помогавшему разбираться в дебрях медицинской тематики; дочери Глаше за деятельную и умную помощь в странствиях по бесчисленным закоулкам русской словесности и жене Валентине, чья любовь и забота не покидали меня на протяжении всей этой книги.

Нидерландские фамилии (Jaarsma, De Gooyer и др.), а также такие, как Beckett, Gittings, Wittgenstein даются в форме, наиболее точно воспроизводящей их оригинальное написание и произношение.

*Дмитрий Сильвестров*

# Танцы со Смертью

- Доктор, почему у меня боли в груди?
- У вас пропускает сердечный клапан.
- Но почему он у меня пропускает?
- Минуточку, сейчас позвоню вашему священнику.

[vk.com/occultumlibris](https://vk.com/occultumlibris) - [t.me/occultumlibris](https://t.me/occultumlibris)

## Предисловие

Человеческая дилемма: обладать духом и быть телом – нигде не проявляется столь болезненно и столь явно, как в медицине. Болезненно, потому что быть телом означает, что мы умрем. Явно, потому что обладать духом означает, что мы это знаем.

Притом что медицинское образование сосредоточено именно на теле, смерти уделяют не слишком много внимания. Ведь молекулы, из которых в конечном счете состоит наше тело, не умирают, но просто-напросто перемещаются, как в нас самих, так и вне нас, как до нашей смерти, так и после нее. Череп, эмблему смерти, часто встречаешь в книгах по медицине, но под покровом анатомической латыни, там она не является к нам со своей костлявой ухмылкой. И один из наиболее поразительных аспектов медицинской практики заключается в том, что так много пациентов умирают, – именно об этом я и хочу рассказать в своей книге.

В медицине есть куда более интересные вещи, чем блестящие хирургические операции или наилучшее лечение гипертонии: сама история этой науки; эффект плацебо; спор с альтернативными методами лечения; суть глагола *умереть*; весьма ограниченная научность медицины; магический эффект двойного названия; неудачи исследований причин возникновения рака; обывательские представления об анатомии; поразительная переоценка возможностей медицины; старания людей перекричать сознание того, что они умрут; ни на чём не основанная вера в то, что душа укоренена в мозге (обладать духом – и быть телом) и т. д. Об этих и подобных вещах повествуют страницы книги.

Автор книги – врач и серьезно относится к своему долгу сохранять врачебную тайну: всё, что коснулось его ушей в рамках его профессиональной деятельности, в абсолютно неузнаваемой форме становится достоянием публики.

*Амстердам, июнь 1994*

## Яаарсма и профессия врача

Со своим коллегой доктором Яаарсмой я возвращался на машине с медицинского конгресса в Неймегене. В таком море врачей я чувствую себя неуверенно. Это не вполне мой мир. Я имею в виду не диплом, а социальное положение: у многих из их отцов мой отец пил кофе, когда у них в гаражах ремонтировал их машины.

Я спросил Яаарсму, почему, собственно, он стал врачом. Ему за шестьдесят, и у него было достаточно времени, чтобы понять это.

– Я всегда хотел стать врачом, – отвечал он. – Мой отец был врачом, мои два брата вот-вот должны были стать врачами, когда я оканчивал гимназию, вот и я стал врачом.

– Да, но я имею в виду нечто другое: почему ты им стал?

– Хм, почему нам приятно дышать? Понятия не имею, – не будем касаться физиологии. Приятно, и всё тут. То же самое и с медициной. Ну а ты, что у тебя была за семья?

– Средний класс, католики, провинциальный городок. Самая обычная семья. Мать развешивала белье вокруг печки. У отца была лакокрасочная фирма. Мать всегда говорила: «Чем больше рабочих, тем меньше выручка». Пронырливым дельцом отец не был. Силки Элсхота<sup>[4]</sup> – это не для него. В этом мире не было ничего лучше уютного вечера за карточной игрой и стаканчиком. Хотя вершиной всего была, пожалуй, вечерняя служба с тремя священниками – смешанный хор (мальчики и мужчины) и еще орган и труба. Считалось, что вождение скрывается под крышкой коробки с печеньем, украшенной изображением вермееровской молочницы. Впрочем, на стене висел коврик с вытканым запрещением онанизма, так что никаких разговоров о сексе и в помине не было. Свадьбы ведь совершались где-то снаружи, вне дома. После начальной школы родители послали меня во всеобщую среднюю школу, что было вроде ограничителя: в университет я бы никогда не попал<sup>[5]</sup>.

– И у вас тоже стояла на дубовой полочке статуэтка *Сердце Иисусово* с крестом, освещенным электрической лампочкой? – спросил Яаарсма с усмешкой.

Вижу, что и он вырос в католической семье; возможно, его отец был в церковном правлении, и по праздникам священник сидел у них дома, покашливая и держа двумя пальцами слишком хорошую сигару его отца.

– Можешь смеяться. Вы избавились от веры, как от одежды, которая вышла из моды, а мы еще ох как долго с ней мучились.

– Звучит как у Боманса<sup>[6]</sup>, – говорю я. – Однако странно, что религиозная жизнь в Нидерландах ютится на задворках мировой истории. Католики никогда не осмеливались выйти за порог собственной комнаты, а когда в 1963 году наконец вышли наружу<sup>[7]</sup>, вели себя так, словно перед ними были джунгли, хотя на самом деле уже с восемнадцатого века окружающая местность была вполне освоенной.

Но Яаарсма не слишком склонен к тому, чтобы его собственные коллизии заключали в какие бы то ни было рамки:

– Может быть, мы оставим в стороне мировую историю или ее пробелы и вернемся к медицине? Что привело тебя к медицинской профессии?

– Меня? Ну, желание помогать людям, статус, любопытство.

На его вопрос о том, что из всего этого вышло, подытоживаю:

– Помогать людям – немножко. Статуса никакого, разве что носить более приличные рубашки с короткими рукавами и слишком дорогие сорочки, которые мне, впрочем, самому приходится гладить. Но с любопытством – всё отлично.

Яаарсма просит объяснить подробнее.

– Самая важная человеческая проблема, как я думаю: обладать духом и быть телом. Это нигде не проявляется столь болезненно и столь явно, как в медицине. Болезненно, потому что быть телом означает, что мы умрем. Явно, потому что обладать духом означает, что мы это знаем. В нашей профессии есть тысячи возможностей с этим соприкасаться.

Яаарсма указывает на самый практикуемый вариант: вообще никогда с этим не соприкасаться.

## Де Гоoyer и профессия врача

Ланч с Де Гоoyerом. Он не так давно стал врачом и всё еще искренне верит в медицину, что сначала казалось мне трогательным, потом смешным, а теперь большей частью кажется просто наивным. К свойственной Яаарсме иронии он не способен. Пытаемся говорить с ним о двусмысленности нашего положения: о том, что врачам часто приходится использовать структурные формулы как заклинания и как тяжело при этом сохранять чистую совесть.

Он только что разговаривал с родственниками о возможном отказе от дальнейшей терапии умирающего, на мой взгляд, 92-летнего пациента.

Я замечая, что такой разговор полностью выражает то, что имелось в виду. «Часто это некие туманные разглагольствования, когда врач пытается объяснить, на основании каких серьезных и основательных размышлений он пришел к выводу, что в сложившейся ситуации, пожалуй, следует придерживаться политики невмешательства. Попросту говоря, мы можем также *ничего* не делать. К тому же в такой клинике, как наша, всё это часто вообще бессмыслица, потому что истина такова, что обычно мы и *не можем* ничего сделать».

Разговоры такого рода создают ложное впечатление, будто мы способны вырвать кого-нибудь из рук Смерти. Идея, что мы «как бешеные, режущие до смерти», по словам поэта, можем удаляющийся Скелет с косой еще и проводить взглядом.

У меня не возникло чувство, что Де Гоoyer меня услышал. В разговорах о враче, болезни, пациенте и терапии он улавливает только такие фразы, как: «... если и существует значительная разница в пользу вышеупомянутой группы, то именно потому, что авторы не разьясняли, сравнивались ли исследуемые популяции в том, что касается возрастной структуры».

– Де Гоoyer, вот что я пытаюсь сказать: блуждая в море магических жестов, давай хотя бы не упускать из виду береговую линию рационального анализа, иначе наша профессия утонет в горчичных пластырях и смазываниях бородавок в ночь полнолуния, что свело бы на нет двадцать четыре столетия упорной работы. Не забывай, что еще греки первыми...

Прозвучал его сигнал вызова.

– Ага, saved by the bell<sup>[8]</sup> [спасительный звонок], но, ради бога, вспомни, что говорил Гиппократ: «С пенициллином всё пройдет за сорок восемь часов, без пенициллина это часто тянется целых два дня».

Прошел целый час, пока он не позвонил мне по телефону и не сообщил, что во времена Гиппократа вообще не было никакого пенициллина!



## What can flesh do to me?

Герту Стеенфлиту 60 лет. Его путь в дом милосердия Де Лифдеберг пролегал через всю Африку, куда он попал в 1964 году. Тогда ему было за тридцать, он был истовый католик и, как социолог, случайно оказался в системе, в которой продвигался настолько быстро, что это грозило тем, что в конце концов ему не миновать министерства. Его карьера показалась ему чересчур легковесной, и он решил, вместе со своим другом Рене, тоже холостяком, отправиться в Африку, чтобы «действительно что-то сделать ради других». Рассказываю несколько неуклюже, но, по всей вероятности, это именно так и было.

Когда я его однажды спросил, как они собирались взяться за то, чтобы «действительно что-то сделать ради других», он ответил, что главное – полагаться на Бога, а остальное приложится.

Терпеть не могу такие ответы. Позже я получил более точное описание. Им как следует пришлось повозиться, чтобы выработать реально осуществимый план действий. Опираясь на широкие связи с больничными учреждениями, они создали за несколько лет хитроумную сеть, чтобы заполучить всевозможные денежные средства, которые обычно выделяли на реабилитационный уход, и направить их в Африку. Им удалось снабдить необходимыми вещами сотни инвалидов, в первую очередь молодых, предоставив им кресла-коляски, протезы ног, тележки, протезные захватные крюки, очки, что дало возможность парням и девушкам зарабатывать себе на хлеб, а то и создать семью и не околевать прямо на улице, что тогда было обычным делом.

Три года назад Герт почувствовал боли в спине, у него обнаружили рак простаты. Последовали облучение, гормональная терапия и в конце концов кастрация. Нет-нет, не отрезали член под его истошные крики; всего лишь, сделав небольшой разрез, аккуратно удалили яички. Теперь это делают исключительно элегантно. Подумали даже о его ощущении, сделав после операции протезы обоим яичкам и предусмотрительно обеспечив ту очаровательную асимметрию, которая в большинстве случаев придает столь привлекательный вид мошонке. Голос при этом не изменяется, но кожа приобретает

персиковый оттенок, и щеки кажутся неестественно розовыми. Ну и либидо, как у резиновой уточки, или, как говорил мой отец, когда ему такое встречалось: «Вот ты и не мужик».

Всё это Герт переносил без труда, если можно ему верить, и говорил со мной о Боге как о взбалмошном дедушке, который сыграл с ним злую шутку в виде этой, как он называл ее, «дурацкой опухоли». Что от этого можно умереть, казалось, ему и в голову не приходило, а я не решался заговорить об этом. Для него не существовало и многих других вещей. Он вряд ли осознавал, насколько изменились Нидерланды с 1960-х годов. Он всё еще употреблял такие слова, как *капеллан*, *прилавок*, *обманывать* ну и, разумеется, *холостяк*. Да, для Герта Джими Хендрикс<sup>[9]</sup> не сыграл ни одной ноты.

Выбор последнего пути Герта пал на Де Лифдеберг потому, что здесь уже много лет находится его отец после разрушительного мозгового кровоизлияния, оставившего от некогда энергичного архитектора лишь обветшалый фасад. Этот старый господин сохранил свою монументальную дикцию, но осталась от нее лишь горестная оболочка: «Так что, доктор, я полагаю, следует констатировать, с вашего позволения, что относительно предоставляемых известных услуг в этом здании я, к сожалению, буду не в состоянии быть ближе к вам, э-э, я имею в виду, хотя здесь вполне надежно, что я хочу сказать, и я говорю это с определенной, нет, я, чёрт побери, должно же быть возможно, чтобы...».

Что должно было означать для этого что-то судорожно нащупывавшего в себе человека вдруг наткнуться на собственное смертельно больное дитя, понять я совершенно не в состоянии. Так же как и Герт: «Вчера он спросил меня, не пора ли мне задуматься о женитьбе».

Умереть рядом с отцом, оказывается, не было исключительно идеей самого Герта. К этому приложил руку и его брат Нико. Уже много лет он неизменно ухаживал за старым Стеенфлитом и теперь посвятил себя Герту. Видимо, не совсем бескорыстно, ибо происходит это с неистовством, которое должно быть вызвано чем-то иным, нежели вспыхнувшей перед лицом смерти братской любовью. При этом Герта и Рене, которые *по-холостяцки* всегда всё прекрасно делали вместе, он

словно бы сближает со своей собственной громогласно заявляемой гомосексуальностью.

Его заботливость не знает границ. Она распространяется на белье, посещения, прогулки, телефонные звонки в Африку, присутствие в церкви, обследования в поликлинике и, прежде всего, на ужасные поездки к отцу, двумя этажами ниже. Без всякого сострадания ставит он инвалидные кресла отца и сына друг против друга, усаживается на стул и наблюдает, как обе эти развалины задевают друг друга.

Таково мое впечатление, и, к моему ужасу, кажется, что я прав, ибо сегодня утром Герт сказал мне: «Я не знаю, как мне сказать Нико, но, ради бога, можешь сделать так, чтобы он не висел у меня камнем на шее? Я его не выношу. У меня нет сил от него отделаться». На меня он не смотрит.

– Но, Герт, еще неделю назад ты, заодно с Богом, смеялся над этой проклятой опухолью, а теперь...

– А теперь я точно знаю, что скоро умру.

Он говорит, как ужасно знать, что умираешь.

– Хочешь последнее причастие или что-то еще?

– Нет.

Почему я задаю такой нелепый вопрос? Это звучит как: «Хочешь еще чашку кофе или что-то еще?»

Взбалмошный дедушка во всяком случае больше не появляется.

Хочу кое-что добавить о теперь уже быстро приближающихся последних часах. Начинаю с того, что он не будет испытывать никаких болей. Я точно знаю, как проглотить свое «или что-то еще», но его единственная реакция: «Пожалуйста, дай немного воды».

Он жадно, неловко пьет. Я смотрю поверх его головы на картину, которую Рене привез ему из Африки. Кажется, что она состоит из спрессованных тростника и травы в различных коричневых и желтых тонах. Под пальмой, рядом с хижинкой дяди Тома, женщина, у которой в платке за спиной ребенок, толчет маис в деревянном корыте. Под картиной помещен текст:

Even though I walk through the valley  
of the shadow of death  
I fear no evil

for thou art with me.

*Psalm 24*

Если я пойду и долиною  
тени смертной,  
не убоюсь зла,  
ибо Ты – со мною.

*Псалом 23 (22)*

In God whose word I praise,  
in God I trust without a fear.  
What can flesh do to me?

*Psalm 56*

В Боге восхваляю я слово Его,  
на Бога уповаю, не убоюсь.  
Что мне сделает плоть?

*Псалом 56 (55)*

Я не знаю псалмов и невольно читаю их вслух. Герт выпил воду и после моих слов «What can flesh do to me?» наконец посмотрел на меня: «Not funny [Ничего смешного]. Впрочем, это двадцать третий псалом, а не двадцать четвертый».

Из-за некоторых странностей Нико я всегда избегал говорить с ним о Герте, но отчаянная просьба больного побудила меня заманить Нико в рентгеновский кабинет, где я мог как специалист побеседовать с ним

о печальной картине пронизанных метастазами легких его брата. Я чувствую странное удовлетворение этого скользкого человека, когда он, увидев наконец своего брата, пришпиленного к диагнозу, словно насаженный на вилку кусочек мяса, спокойно усаживается и рассматривает червеобразные извилины, хорошо заметные на рентгеновских снимках. Тут можно свести те или иные счета из прошлого. С поразительным эгоцентризмом он произносит: «А знаешь, я вообще завидую Герту. Я бы хотел, чтобы его болезнь была у меня». Я не верю своим ушам, и спрашиваю, хорошо ли я расслышал что он сказал, и слышит ли он сам, что говорит.

– Ну да, я имею в виду, что это вообще не жизнь. – Со всем тем, что делается во всем мире?

В бешенстве беру снимки и кладу их в конверт. «По крайней мере, ты теперь знаешь, как обстоит дело. А что касается положения в мире, не отчаивайся, может быть, у тебя тоже будет рак». Так что мой замысел провалился.

Спустя несколько дней, подойдя к палате, где лежал Герт, слышу голос Нико: «Ляг поудобней... поправлю тебе подушку... может, хочешь попить?.. подожди, я тебе дам попить... вот, попей... или хочешь через соломинку?.. не хочешь воды?.. хочешь, задерну штору?.. воздух свежий?.. у тебя сильные боли?.. сильнее, чем обычно?.. о, вот и доктор... тогда я уйду... нужно зайти за отцом... сегодня придёт Рене... ха, а кто принес эти цветы?» Бьющее по нервам стакато дурацких вопросов, на которые Герт реагирует лишь безнадежно защищающим жестом.

В коридоре мне удается убедить Нико, что лучше бы он не привозил сюда своего отца. Со злостью он спрашивает, почему нет. Я объясняю, что его брат умирает и что его отец здесь ничем не поможет.

Герт судорожно ловит ртом воздух, лицо у него землисто-серое. Он хватает мою руку и просит: «Антон, я задыхаюсь, дай мне опиум».

Я делаю укол, а Нико не перестает тараторить: «Знаешь, как тяжело здесь стоять? Раньше меня всегда тошнило при виде укола. Я много лет подряд сдавал кровь, и всякий раз, когда у меня должны были брать кровь, у меня...».

Я прерываю его просьбой подать мне марлевый тампон и немедленно позвонить Рене. Сначала он пытается сопротивляться, но всё же уходит.

Герт успокаивается. Какой синюшный оттенок! И как я бессилен!

Появляется его сестра Греет с мужем. Хмурая женщина, которая, едва взглянув на умирающего, достает из сумки вязанье и принимается за работу. Что ж, можно и так.

Рене тоже вскоре приходит. К счастью, он не пытается вступить в контакт со своим другом, видя, что Герт уже настолько далеко, что было бы жестоко вновь вытаскивать его на поверхность. «Мы еще вчера вечером с ним разговаривали и всё сказали друг другу. Я ему сообщил, что во всей Африке за него молятся. И мусульмане, и англичане, и католики, и протестанты. Настоящая экуменическая молитва. Неужели Бог до такой степени глух?»

Я отвечаю, что на эту молитву скорее нужно смотреть как на способ сказать миру: «Почему ты так издеваешься надо мной?» Рене смотрит на меня с удивлением.

«Sorry, Рене! – я просто хоть что-нибудь пытаюсь сказать, лишь бы не повторять: „Пути Господни неисповедимы“». Я вижу, он плачет. Он выглядит очень трогательно, когда снимает очки. Меня трогает его старый зубной протез из пластмассы, его старческая походка – при этом он опирается на палку. «Знаешь, бедро у меня совершенно трухлявое, но если увижу, что стал в Африке кому-нибудь в тягость, тут же вернусь в Нидерланды и пойду в дом призрения». *Дом призрения* – тоже слово из 1963 года. И мне снова приходится объяснить ему, что домов призрения больше не существует.

У Герта в палате, вокруг его постели, собралась группа людей, чтобы видеть его последние часы: Нико, сестра Греет со своими постукивающими вязальными спицами, ее муж, то и дело вставляющий себе в рот самокрутку и тут же ее убирающий, незнакомая мне молодая женщина и, время от времени, Рене.

Самьюэл Беккетт в романе *Malone Dies*<sup>[10]</sup> [*Малоун умирает*] пишет:

«All is ready. Except me. I am being given, if I may venture the expression, birth into death, such is my impression. The feet are clear already, of the great cunt of existence. Favourable presentation I trust. My head will be the last to die. Haul in your hands. I can't. The render rent» [«Всё готово. Кроме меня. Мне дается, если можно так

выразиться, рождение в смерть, таково мое впечатление. Ноги уже прорезались из огромного влагилица бытия. Благоприятное предлежание, полагаю. Голове предстоит умереть последней. Прижми свои руки. Нет сил. Рвущаяся прорвала»].

Примечательно, что в медицинском отношении Беккетт здесь очень близок к тому, чего сам никогда не испытывал. При обычных родах *ягодичное* предлежание «благоприятным» уж во всяком случае не является.

Умирание и рождение схожи. В обоих случаях нужно поостеречься с объявлением: «Началось!» – потому что тогда уже в течение суток ожидают или появления на свет ребенка, или появления трупа. «Да, началось». Никогда не скажешь этого умирающему, это говорят семье.

В доме милосердия, когда умирает отец или мать, у смертного ложа собираются родные, и, поскольку люди часто приезжают издалека, возникает непроизвольно чувство: здесь, пожалуй, и вправду приятно; теперь вот и Карел, и Виллем здесь; что ж, подождем, ведь доктор сказал, что всё это продлится недолго.

Мотивы бодрствования часто неясны. Сын, который при жизни, когда мать хорошо себя чувствовала, посещал ее раз в год, искупает теперь свою вину тем, что будет ночь напролет сидеть около тела, которое мать, собственно говоря, уже покинула. Ибо так же, как при рождении первой появляется голова, она же первой исчезает при умирании.

Долгое бдение у постели умирающего часто оказывается невыносимым прежде всего потому, что сам он занят выполнением грандиозного фокуса исчезновения под завесой морфина. Это приводит к тому, что дыхание замедляется – от пауз, длящихся от одной до полутора минут, вплоть до полной его остановки. Воцаряется тишина. Ты испуганно встаешь, захлопываешь книгу, отставляешь чашечку с кофе, гасишь зажженную тайком сигарету и склоняешься над неподвижным телом: «Что, она уже?..» Но нет. Вновь нарастает прерывистое клокотание, скоро хрип возвращается с прежней силой, и, кажется, еще громче, чем раньше.

Агония может тянуться часы, даже дни, но обычно уже по прошествии одной ночи такого выматывающего душу спектакля

родственники умоляют врача положить всему этому конец. Как ни понятна их просьба, такая мера выглядит достаточно грубой, если посмотреть на их побуждения: это не слишком привлекательное зрелище; у людей просто не хватает терпения сидеть у постели умирающего. Но к самому умирающему это не имеет никакого отношения: он уже давно далеко отсюда.

Герт лежит на боку, уйдя головой в подушки, словно погибающая старая птица, которая всё реже пытается поднять голову. Всякий раз его стоны, которые долго продолжаются и наконец переходят в жуткие всхлипы, вызывают у меня эту картину. Но остается только смотреть. В этом есть что-то недостойное. Несколько раз я выхожу и вхожу туда снова. Через полтора часа Нико наконец зовет меня. Я констатирую смерть.

Раньше, когда я только начинал здесь работать, мне было очень трудно подтверждать наступление смерти. Не «как это определить?», но «как вести себя после этого?». Как правило, всё происходит следующим образом: медбрат по телефону сообщает мне, что мефрону А. умерла, и спрашивает, не зайду ли я. Я научился спрашивать, присутствует ли там семья, потому что от этого зависит, как именно войду я в палату. Достаточно и одного раза, если однажды внезапно влетаешь к умершей и еле удерживаешься, чтобы не сказать: «А я и не знал, что ей плохо».

Чаще всего находишь там одного или двух человек, которые как-то неуверенно всхлипывают, или целуют умершего, или печально берут его руку, или переписывают из его записной книжки номера телефонов, по которым нужно будет теперь позвонить.

Входя в палату умершего, не нужно сразу же пожимать руки, иначе может возникнуть подозрение, что ты спешишь выразить им сочувствие, еще даже не удостоверившись в наступлении смерти. Так что понимающе киваешь головой и подходишь к постели. Прикладываешь к груди стетоскоп и внимательно слушаешь. Иногда даже слышишь что-то, как если бы где-то далеко-далеко, в какой-нибудь потаенной комнате пустого дома вода еле-еле текла из крана, но обычно – это Вечное Безмолвие, которое царит в навсегда покинутом здании.



Потом вынимаешь из ушей трубки стетоскопа и отчетливо произносишь заключительную фразу, форма которой куда важнее, чем содержание. Сказанной со всей решительностью фразы «поезд ушел» будет вполне достаточно, тогда как еле слышное «нет никаких сомнений, он уже умер» может вызвать настоящую панику. Ибо хотя каждый примерно знает, что ты сейчас скажешь, на тебя часто смотрят с таким ожиданием, что новички или неисправимые дилетанты ступешиваются и констатацию смерти принимают за решение *относительно* смерти.

Наш более молодой коллега Де Гоoyer принадлежал как раз к их числу. Он всегда просил семью позволить ему побыть одному возле умершего и проводил четыре-пять тестов, из которых особенно тест на реакцию зрачков считал абсолютно надежным. Потом ему требовалась пара секунд, чтобы наспех сказать близким что-нибудь вроде «да, действительно умер» и наконец взяться за самое важное – бумажную писанину.

Именно он, смертельно бледный, ворвался как-то в кабинет Яаарсмы с известием, что мефрoу Сандерс, смерть которой он констатировал утром, в морге, когда открыли холодильник, «вдруг лежала совсем иначе, чем раньше».

– А была ли она теплой на ощупь? – начал Яаарсма, который знал, что в первой половине дня ее должны были переодеть в другое платье, на что Де Гоoyer явно не обратил внимания.

– Не знаю, – сокрушался Де Гоoyer, – но что теперь делать? Боже мой, что теперь делать?

Яаарсма призвал его успокоиться.

– Дорогой друг, прежде всего садись. Беспokoиться нужно начинать только тогда, если позвонят из холодильника морга, но даже в этом случае следует рассмотреть возможность внезапной реинкарнации, прежде чем у тебя возникнут сомнения. Вопрос Де Гоoyerа: «А разве там есть телефон?» – даже для Яаарсмы был уже чересчур. В конце концов покерно-каменное лицо его смягчилось, и он избавил Де Гоoyerа от кошмара.

Не успел я удостоверить смерть Герта, как Нико заявил: «Если бы я был на его месте!» И конечно, так громко, чтобы и Рене это услышал. Мы спускаемся на два этажа, чтобы сообщить о смерти Герта старому

Стеенфлиту. Старик представляет собой настолько жалкое зрелище, что едва ли в нем найдется место для нового горя. Пусть уж Нико сам возьмется за это.

Часам к пяти я вновь поднимаюсь к Герту, чтобы увидеть, как одели усопшего. Он выглядит уже несколько лучше. Пропал синюшный оттенок, нет следов пота, но лицо бледное и словно из воска. До чего горькая смерть! В последние дни у меня было чувство, словно он, спотыкаясь, бредет вслепую с черепками в руках. Сначала он по-детски подшучивал над своей опухолью, словно дело разыгрывалось в Мадюродаме<sup>[11]</sup>. Но нельзя безнаказанно выходить навстречу Смерти, не имея другого оружия, кроме перевернутого бинокля. Хорошо же я всё это понимаю! Чужую смерть умирать легко.

## Лобит<sup>[12]</sup> Декарта

В перерыве на кофе мы с Яарсмой и Де Гоoyerом смотрим видео, предлагаемое одной фармацевтической фирмой. Речь идет об имплантации протеза бедра.

Первая сцена: старая, увядшая, полная женщина с трудом передвигается в своей квартире в мансарде. Она возится со своими растениями. Стеная и охая, она ковыляет в кухню, чтобы налить воды в лейку. Звонок в дверь.

– Ага, вот и Раскольников, – радостно комментирует Яарсма.

Тридцать две минуты спустя, после потоков крови, циркулярной пилы, ударов молотком, лоскутьев мяса и йода, мы снова сидим в квартире под крышей, с домашними растениями и лейкой. Женщина уже почти не стонет и совсем не хромот.

– О медицина, гора родила мышь...<sup>[13]</sup>

– Не скажи, – говорит Яарсма, – протез бедра на несколько лет продлил карьеру Сэмми Дэвиса<sup>[14]</sup>, хотя для тебя это, возможно, и не очень убедительно. С твоей точки зрения, такая операция должна была бы привести как минимум к тому, чтобы Платон написал лучшее продолжение *Государства*, чем *Законы*.

Де Гоoyer хочет что-то сказать как раз в ту минуту, когда меня вызывают к мефроу Малейейт. Она снова захлебывается, уже в который раз, но сейчас это серьезно. В горле у нее клокочет и булькает, словно в кастрюле, стоящей на большом огне. Нечего и надеяться помочь ей отсасыванием. Делаю ей укол морфина, и вскоре после этого она угасает. Боюсь, кто-нибудь из присутствующих в ближайшие минуты скажет что-то не то, «не то» – вроде чересчур громких слов о том, что, мол, нужно жить дальше; или же чересчур пышно окутает флёрот случившееся, тем самым отводя смерти слишком уж много места. Уходящая должна иметь возможность выбрать свой собственный курс, и чтобы ей не мешали окрики ни с того ни с другого берега.

Часто мы задаемся вопросом, что, собственно, происходит в умирающем? Иногда ничего, думаю я. На прошлой неделе мефроу

Фредериксе умерла так: медсестра поправляет ей прическу и просит немного нагнуться вперед, чтобы расчесать ей волосы сзади. Старая дама наклоняется, может быть, чуть больше, чем нужно. «Теперь выпрямитесь, пожалуйста», – говорит медсестра, опасаясь, что женщина может упасть. Но та уже умерла.

Похоже на дурной анекдот, но такое бывает. Как будто вы идете, насвистывая, по длинному коридору рядом с кем-то, кто вдруг, словно бы в шутку, исчезает за приоткрытой дверью. И вряд ли покажется вам забавным, что больше он никогда не появится.

Люди чаще всего умирают, сами того не ведая. Размышляя об этом, спрашиваешь себя, да и может ли это быть по-другому? Умиравшие и умершие всё равно что рождающиеся – и родившиеся. Дитя рождается не куда-то вовне; больной умирает, но не покидает планету. Быть при смерти – этому нелегко подобрать дефиницию. Наглядно представить это можно как упорную борьбу у самого выхода, чтобы наконец прорваться наружу.

Так было с мейфруу Родиус. Меня вызвали к ней во время дежурства. Внезапно ей стало плохо, и ее уже перевезли в небольшую отдельную палату. Когда я вошел, она была уже почти без сознания и тяжело дышала со стонами. Только я взялся за стетоскоп, как она вдруг выпрямилась в постели, глаза у нее расширились, и лицо приняло выражение, словно она силилась проглотить какую-то ужасную гадость. Это стоило ей невероятных трудов. Невольно я отступил на шаг. Я не удивился бы, если бы изо рта она извергла фекалии. Страшным усилием превозмогла она позыв к рвоте, сглотнула и рухнула на подушки. Она умерла.

Такое, впрочем, случается редко. Короткая яростная борьба у самого выхода, перед внезапно настевшей распахнувшейся дверью. Умиравший воюет не столько со смертью, сколько с докучными складками сбившейся простыни, на которой так неудобно лежать. Можно умереть, не отдавая себе в этом отчета. Для сравнения: невозможно плыть, не отдавая себе в этом отчета. Однако можно представить ситуацию, когда говоришь: он плывет и сам об этом не знает. Но гораздо проще представить себе, что он умирает, сам не зная об этом. По тому, как человек засыпает, еще нельзя понять, проснется он или нет. Так что «она умирает» нередко лишь реакция окружающих, к тому же осознаваемая после того, как всё уже кончилось. И только если

знаешь, что боль в груди закончится с наступлением смерти, можно сказать: именно тогда она умирала. Конечно, бывает и наоборот; человек, который говорит: «Я умираю», – как правило, продолжает жить.

Многие из нас ступают на край бездны в шляпе, нахлобученной на глаза. Выражение «я мертв», насколько я знаю, не сопровождается внятным контекстом, исключая персонажей вроде отца Гамлета.

«Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. <...> Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist» [«Смерть не событие жизни. Смерть не переживают. <...> Наша жизнь столь же бесконечна, как безгранично поле нашего зрения»]<sup>[15]</sup>. Прекрасно помню, как эти слова Людвиг Виттгенштайна некогда облегчили мне душу. Но если тебе доводилось раз-другой стоять у чьей-то могилы, пустое утешение знать, что тебе не придется хоронить себя самого. Ведь один из ужасов нашей жизни – это смерть других.

Спустя четверть часа после инъекции звоню Лексу, сыну мефроу Малефейт, и сообщаю ему, что его мать умерла. «Йезус, как это может быть?» – раздается вопль на другом конце провода. Я рассказываю ему, как это случилось. И приходится повторять всё это снова, когда Лекс приходит сюда вместе со своим братом Фредом. Этот последний заметно полнее, глупее и волосатее. Лекс сам не свой и начинает совершенно несуразные разъяснения, какие ему предстоят формальности, чтобы получить доступ к текущему счету умершей матери. Корыстолюбие тут ни при чем, это вид *displacement activity* [смещенной активности], которую я не раз замечал у людей, оказавшихся в близости к смерти, и не у умирающих, но у окружающих. Лекс тащит меня в далекие закоулки права наследования, каковое, «предусматривая участие нотариуса и наличие свидетельства о смерти, только в том случае следует полагать относящимся к существу дела, пока и поскольку таковой этим занят, и в то время, когда это делается».

Сижу и бессмысленно взираю на всё это, заранее со всем соглашаясь, пока Фред вдруг не спрашивает меня: «Это ведь и тебя трогает, да?» – о чем он, вероятно, судит по моему остекленелому взгляду.

«Разумеется. Н-да, что поделаешь? К этому никогда не привыкнешь». Я чувствую, что попал в ловушку. Он продолжает: «Да,

по тебе видно. Для тебя это тоже не проходит бесследно».

В какой-то момент мне кажется, что он надо мной подшучивает. Но нет.

Потом обнаруживается, что умершая «предоставила свое тело науке». Для семьи и близких это означает, что проститься с ней нужно немедленно. В течение 24 часов тело должно быть доставлено в анатомическую лабораторию, и все слезы и благословения должны быть пролиты и произнесены не откладывая.

Отовсюду собрать людей нужно как можно быстрее. Возникает неприятная ситуация *ritus interruptus* [прерванного ритуала] из-за отсутствия заключительной сцены, когда гроб опускают в могилу или он исчезает за шторками крематория.

«Что там сейчас делают с матерью?» – спрашивает Лекс. Я рассказываю о консервировании тела и о том, что затем оно будет помещено в формалин и спустя год или полтора станет препаратом для занятий студентов по анатомии.

– Обнаженная? – хочет знать Фред.

– Да, конечно.

– И ее еще можно будет узнать в лицо?

Пролежав год в формалине, тела, которые я видел, когда был студентом, скорее всего, похожи на зомби, в гротескных позах, как у трупов, найденных при раскопках в Помпеях. Из-за ссохшейся кожи губы искажаются в отталкивающую гримасу. И невозможно было отмыть руки от запаха – смеси отвердевшего кала и ацетона. Я долго не мог есть без перчаток. Можно ли опознать тело? И «да» и «нет» звучат одинаково плохо.

– Нет, в общем-то, нет, – говорю я, – но ребята, разве сейчас подходящий момент говорить об этих вещах?

– Ну да, – отзывается Лекс, – я же ее больше никогда не увижу. А что делают с тем, что останется после всех этих вскрытий?

– Все останки попадают в безымянное захоронение где-нибудь в тихом уголке кладбища.

Мне и самому это кажется странным.

– Наконец-то последний покой.

В коридоре спрашиваю Мике, старшую сестру: «И как всё это звучало?»

– Очень убедительно; можно сказать, с воодушевлением. Удивительно, что ты удовлетворился тихим уголком кладбища, а ведь мог бы дойти и до Страшного суда. Но что же теперь будет с этими последними останками?

Приходится признать, что сие мне не известно. В свое время я принес домой полушарие головного мозга, потому что в нем более или менее прослеживалась *glandula pinealis* [пинеальная железа, шишковидное тело] Декарта – место, где, как он предполагал, в мозг проникает сознание, подобно тому, как у поселка Лобит Рейн устремляется в Нидерланды. Полушарие с видимой пинеальной железой казалось мне самым подлинным из всего, что когда-либо попадало мне в руки.

## Больное домашнее животное

Вчера вечером скончалась Али Блум, 76 лет – несмотря на свой внушительный возраст, вполне неожиданно. Она была «дипломированной» легочной больной и долгие годы разыгрывала заключительный акт в респирационном спектакле, издевательски провожая Смерть заносчивым взглядом и нагоняя на нас страху в сцене умирания, которая на протяжении пяти лет ничем не заканчивалась. Она ни за что не давала Костлявому заглянуть себе в легкие. Если бы тот узнал, что в ее грудной клетке разве что жалкая паутина, мерзкий Скелет взмахнул бы косою гораздо раньше.

Профессор Де Граафф все эти годы заботился о постоянном возобновлении реквизитов, предназначенных для изнурительного проведения ее *acte sans paroles* [сцены без слов]: немислимых количеств таблеток, порошков, свечей, инъекций и спреев, биохимию коих он проследил вплоть до самых отдаленных побочных эффектов. Идея, что эта медицинская тирания загонит больше кислорода ей в кровь, казалась мне басней. Тем не менее посещение клиники Де Грааффа ее каждый раз ставило на ноги. «Не что даешь, а как смотришь», – говорит Яаарсма. И Де Граафф, как никто другой, умеет смотреть так, как надо. В сине-стальном взгляде его глаз сверкает уверенность, к тому же опирающаяся на солидную биохимию, – дьявольское плацебо!

Во время прохождения практики по терапии я как-то зашел в кабинет Де Грааффа: нужно было то ли что-то взять, то ли принести – рентгеновские снимки легких, наверное. Я попал в такой профессорский кабинет конца XIX века, с дубовыми панелями до уровня плеч, далеко запрятанный в больнице, словно личные покои папы в Ватиканском дворце. Профессор, в белоснежном халате, залитый роскошным осенним светом, восседал за массивным письменным столом и, к моему ужасу, курил сигарету. Я тут же решил, что никому об этом не скажу, – до такой степени сильно хотел я тогда, чтобы наша профессия представляла собой нечто особенное.

И вот Али умерла. Она уже не сунет мне в нос свою козырную карту, плевательницу, наполненную гнойной мокротой, со словами: «Если я



умру, это будет ваша вина», притом что ее глаза говорили: «Если бы мне умереть, – но и тогда вы были бы виноваты».

Когда я прихожу для заключительного осмотра, она уже в гробу. Цвет лица у нее не изменился. Я долго смотрю на ее застывшие без движения ресницы. Глаза у нее прикрыты не полностью, и кажется, что она за мной подглядывает. Выглядит это ужасно. Почему я вообще здесь стою? Есть что-то непристойное в том, чтобы бесстыдно смотреть на нее, когда ее уже нет. Труп можно сравнить с фотографией. Сидят в комнате умершего и рассматривают фотографию человека, который еще недавно здесь был. Джейн Гудолл<sup>[16]</sup> описывает мать-шимпанзе, которая несколько дней таскала с собой своего умершего детеныша, безуспешно пыталась дать ему грудь и не могла понять, почему он больше не цепляется за ее тело. Ее медленное осознание того, что дитя стало трупом, вообще говоря, гораздо понятней, чем та мгновенная перемена, с которой мы соотносим все свои действия, но которую мы, никто из нас, до конца так и не воспринимаем.

По дороге в свой кабинет, где мне предстоит подготовить свидетельство о смерти, я осознаю всю степень коварства в той легкости, с какой дается заключение о многих умерших. Чужую смерть заворачиваешь в целлофан и невольно думаешь, что и собственный конец будет представлять собой не более чем докучную волокиту. Сперва в морг, чтобы в последний раз увидеть умершего. Потом, за чашкой кофе, заполнять формуляры. Причина смерти естественная? Безусловно. Скончался в медицинском учреждении? Нет, дома. Вскрытие не предусматривается. Пол мужской, возраст 80 лет. Непосредственная причина смерти? Пишешь: инфаркт миокарда или легочная эмболия, никаких иных заболеваний, установленных на момент смерти. Передаешь бумаги служащему в приемной и возвращаешься к повседневной рутине.

Для меня о вскрытии и речи не может быть. Во время прохождения годичной прозекторской практики в больнице Бюргвал мне довелось однажды увидеть, с какой жадностью медицинская братия сорвалась с мест, чтобы еще раз как следует рассмотреть своего умершего коллегу. Это произошло после смерти Д., врача, хорошо известного в городе. Он умер от пищеводного кровотечения при циррозе печени. Говорили,

что вообще удивительно, как он дожил до 58 лет. Я о нем знал понаслышке. Его влекли поэзия, женщины, алкоголь; в медицинских кругах его очень ценили. Коллег подкупало, что в нем жил дух богемы, ибо сами они давно уже не писали стихов, не трахались и не напивались – подходя к возрасту, когда люди прочно вросли в социум и спокойно готовятся приземлиться там, где их ждет могила или домик во Франции. Тогда как Д. пускался во все тяжкие, пока не встретился со своей последней бутылкой.

Только при вскрытии я узнал, в ком же я роюсь. «Ну и какая, собственно, разница?» – подумалось мне. Когда я извлек печень и, глядя на этот замороженный орган, услышал постепенно нарастающее гудение, я с ужасом заметил, что окружен тридцатью-сорока коллегами. Они незаметно просочились из всех уголков больницы в прозекторскую и, вытягивая шеи, глазели на уже наполовину выпотрошенные останки. Стоявшие сзади налегали на плечи тех, кто стоял впереди. Вот тебе и разговоры о privacy<sup>[17]</sup>.

Похоже, но совершенно в ином контексте проходило для меня первое вскрытие на четвертом курсе. Это был труп профессора П., при жизни тонкого клинициста и прозорливого ученого – сочетание, не часто встречающееся в нашей профессии. Он одним из первых распутал клубок болезней обмена веществ, и одна из них была названа его именем.

Какими мотивами он руководствовался, завещая свое тело науке, мне не известно. Думаю, немного найдется людей, которые захотели бы позволить кромсать свое тело, если бы им самим когда-либо довелось присутствовать при подобном проступке. Может быть, для профессора П. это был жест смирения, решение, принятое в настроении «ибо из праха возник»<sup>[18]</sup>. Не мог же он всерьез думать, что вскрытие хоть на шаг приблизит нас к проникновению в тайну его выдающейся личности.

Семеро коллег-профессоров собрались в секционном зале. Примечательно, что все они были на месте уже при первом разрезе, а не рассматривали извлеченные и очищенные органы, дав уговорить себя после многих звонков, как это обычно бывает в их рутинной работе.

Профессор Вагенаар сам производил вскрытие. Он работал быстро и элегантно, время от времени движением пальца останавливая ассистента, когда тот пытался, опережая его, фиксировать тот или иной орган или тампоном немного удалить жидкость. Профессора спокойно обменивались мнениями. Никто не вытягивал шею, и семеро ученых в белых одеждах придавали всей сцене, освещенной золотистым светом октябрьского солнца, лившимся сквозь высокие окна, нечто сакральное. Впрочем, тогда я охотно находился под впечатлением магии этой профессии.

После извлечения органов из грудной клетки и брюшной полости перешли к мозгу. Не трогайте его, думал я, прошу вас, не трогайте, потому что тогда кожу и волосы, словно своего рода шапочку, сдвигают с черепа, и этот лоскут нависает над кроваво-красным лицом. И вот уже пилят череп. Ассистент орудовал пилой, и сфера нашего благоговения постепенно разрушалась под пронзительные взвизги пилы, особенно резкие в затхлом, тяжелом воздухе, с голубоватым дымком, вившимся над распилом.

Вагенаар преодолевал всё это с полнейшей невозмутимостью и восстановил первоначальный покой осторожными движениями, которыми он высвободил мозг профессора П. из нижней половины черепа. Высоко держа мозг обеими руками, он шагнул мимо нашей безмолвно расступившейся группы к весам, в то время как ассистент шел за ним, держа на вытянутых руках салфетку из белой материи, готовый подхватить падение возможных капель или кусочков ткани. Мы сгрудились около чаши весов и, взирая на мозг профессора П., оживленно обсуждали его жизнь и его достижения.

В холле встречаю сына Али Блум и его жену. В ожидании других членов семьи они неуверенно торчат там без цели. Мы не знаем уже сколько раз пожали руки друг другу. Сыну я доверяю, в невестке не так уж уверен. Это из-за Али, для которой та оставалась всегда «немчурой». Сын вывез ее после войны из разбомбленной Рурской области. Али ставила это ему в упрек долгие годы.

К всеобщему удивлению, было заказано католическое погребение. Мы и понятия не имели, что, кроме профессора Де Грааффа, она поклонялась чему-то еще.

В часовне сижу рядом с Мике, нашей старшей сестрой. Гроб стоит перед алтарем. Цветов не так уж и много. Вижу ленту с надписью «Дорогой бабушке», потом появляется священник, отец Эссефелд из близлежащего монастыря. За ним следует служка, не мальчик с влажной прической «ёжик», каким и я был когда-то, а дряхлый Тойниссен, который, шаркая башмаками, скорбно идет позади. Я испытываю стыд за обоих. Ни тот ни другой совсем не смотрятся как «служители таинств».

Хор прямо-таки великолепен: пятеро пожилых мужчин, которые поют довольно замысловатую мессу. Особой печали не ощущается. Седовласые мужчины с животиками. В каких-то замызганных пиджаках со следами пепла. Для них это золотое время, на закате догмы, когда едва ли где отыщешь церковный хор, и уж во всяком случае не для мессы в рабочий день. Мое любимое *Dies Irae*<sup>[19]</sup> они не поют. Конечно: чересчур длинно.

Мне всегда казалось, что Али себе на уме, и меня коробит, что она уходит от нас под пение реквиема. После *Kyrie*<sup>[20]</sup> Эссефелд, вместе со старым Тойниссеном, который хрипит позади него, раскатисто, вплотную ко рту держа микрофон, поет песню Хююба Оостерхейса<sup>[21]</sup>:

Midden in de Dood  
Toch vol leven  
Fijn van Jezus' brood  
En Hij blijft maar geven.

Я и в Смерти час  
Вверяюсь надежде  
Иисус питает нас  
Хлебом как прежде.

Из семьи никто не поет. Сидят и угрюмо смотрят на Эссефелда.

В часовню заходит Тоос. Милая слабоумная женщина, уже много лет живущая в Де Лифдеберге. Низенькая, полная, помешанная на

спортивной обуви (сегодня она надела светло-розовую пару), как всегда, в просторном платье с огромными цветами по моде 1958 года. Бесцеремонно выискивает себе место поближе. Она любит хостии и знает, что так достанется и на ее долю.

Эссефелд читает: «Дни человека – как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его»<sup>[22]</sup>.

Несмотря на его нечеткую дикцию – он произносит это на манер «еники-беники», – от этих слов во мне всё замирает. Потом он читает из *Откровения*: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое!»<sup>[23]</sup> На большинстве лиц я вижу скуку, которая охватывает людей, когда читают из Библии. To the dull all is dull<sup>[24]</sup>.

Проповедь короткая и бесцветная. Из слов Эссефелда заключаю, что Али он не знал и явно ее недооценивает. И он не единственный, судя по цветам с надписью «Дорогой бабушке». Тоос вынимает изо рта нижний протез и после тщательного исследования начинает начисто вылизывать его языком. Эссефелд невозмутимо сообщает нам о пожелании, чтобы Али обрела наконец пристанище, где ей будет уже не столь тесно. «Но и гораздо теплее», – ловит мое ухо шепот и влажное дыхание Мике. Тоос с клацающим звуком водружает протез на место и озирается вокруг с довольной гримасой.

Из семьи Али никто не подходит к причастию. Тоос жадно жует полученную облатку. Эссефелд дает и мне тоже. «Ведь и тебе нужно», – читаю в его глазах.

Гроб вывозят наружу, визгливым скрипом колесиков перекрывая пение *In Paradisum*<sup>[25]</sup>. «Да проводят тебя ангелы в Рай; да примут тебя мученики и да впустят они тебя в святой град Иерусалим! Да приветствует тебя хор ангелов, и, как Лазарь, который когда-то был нищим, упокойся навеки».

Несмотря на текст, в этом песнопении я всегда слышал отчаяние. Может быть, из-за момента, когда его исполняют: при выносе гроба из церкви. Или же из-за столпившихся на другой стороне могилы ангелов, мучеников и Лазаря, дающих понять, что для этого умершего здесь на земле и впрямь всё закончено.

Песнопение еще не смолкло, а Тойниссен уже начинает гасить свечи. Одна из них слишком высока для него, и он не может до нее дотянуться. Руки его дрожат, и ему никак не удается сверху накрыть свечу колпачком, поэтому он несколько раз ударяет гасителем по фитилю, пытаясь сбить пламя, пока, поколебавшись из стороны в сторону, оно наконец не гаснет.

Мы с Мике решаем вместе со всеми идти в крематорий.

– К чему это? – морщится Яаарсма.

– Это же Али Блум! Никогда не знаешь, чего от нее ожидать, – отзывается Мике, – мы хотим быть уверены.

У входа нас встречает стерильный молодой человек в строгом костюме и цилиндре, возвышающемся над осыпанным последними подростковыми прыщами лицом. Его одеяние вовсе не черного цвета – ровно в той степени, что и рамка нынешних извещений о смерти: как если бы погребальная служба вынесла решение относительно Смерти, согласно которому следовало бы считать ее более легкой и, якобы по нашему настоянию, принимать ее не слишком всерьез.

Нас подводят к книге соблезнований, и мы послушно вписываем свои имена. Затем нас, как «участников церемонии», пропускают в помещение, где уже собрались члены семьи. Мужчины разговаривают об автомобилях, женщины о нарядах. Мы им помеха. Просторное помещение, как раз с нашей стороны два туалета. И в конце концов каждый из присутствующих устремляется туда, сопровождаемый общим хихиканьем. Потом они закуривают, то и дело прогуливаясь к единственной пепельнице.

Вскоре убийственно вычищенный молодой человек приглашает нас проследовать в зал прощания – не то зал ожидания, не то зал заседаний, не то парковочный гараж, в современном духе, никаких дубовых панелей, обильно залитый белым канцерогенным светом.

Впереди стоит гроб. В изголовье прозрачный пластмассовый крест со скругленными гранями. Орган играет *Het peerd van Ome Loeks is dood*<sup>[26]</sup> – по крайней мере, при первых же звуках именно эти слова приходят мне в голову. Мы осторожно рассаживаемся. Эссефелд кропит гроб святой водой, читает *Отче наш* и Богородичную молитву, желает Али Блум обрести Вечный Покой в озарении Вечного Света.

Молодой человек приглашает всех встать и «лично проститься с нашей дорогой усопшей». Орган – нет, это запись – играет *Ave Maria*

Шуберта. Впереди какое-то движение. Я не сразу понимаю, что это сын. Он рыдает. Спина его вздрагивает, словно он сжимается под ударами. Больше никто не плачет. Жена его смотрит прямо перед собой, дочь протягивает руку, но не решается коснуться его плеча. Я тоже мог бы заплакать, но меня останавливает стыд перед Мике, которая бы наверняка знала, что мои слезы не имеют никакого отношения к этим бездыханным останкам.

Какая же мы жалкая кучка ничтожеств во всех наших громадных дорогих автомобилях и изящных костюмах – перед мерзостью смерти.

При возвращении в Де Лифдеберг ко мне подступают дети мефроу Ваалдейк с требованием, чтобы их мать поскорей умерла. Не упускают и избитого сравнения с больным домашним животным, которое нужно освободить от мучений.

– Ваша мать не собака, – говорю я со злостью.

– Нет, если бы она была собакой, – в бешеном горе лает на меня ее сын, который специально прилетел из Америки, – тогда она уже, по крайней мере, избавилась бы от страданий.

Страдания пациента, угрозы семьи, хмурые лица коллег, смешки медсестры, глумливый лик Смерти – и молодой доктор, вовлеченный в какой-то нелепый перепляс среди всеобщего гвалта, в студенческие годы лелеявший надежду увидеть себя танцором в тесном объятии танго со Смертью.

Спор с молодыми Хоксбергенами. Молодыми – из-за их поведения, хотя одному из них 62 года, а другому 65 лет. Весьма ухоженные господа, к тому же и образованные. Шарль – бизнесмен, Антуан играл на трубе в симфоническом оркестре. Речь идет об их матери, ей 93 года. Пять лет назад, когда требовалось ее согласие на операцию на бедре, она сказала: «Только если я буду точно знать, что уже не выйду отсюда».

И она всё еще здесь. Беда в том, что из-за закупорки сосудов ей нужно ампутировать правую ногу. Но из-за того, что их мать на краю могилы, ребята не хотят, чтобы перед этим она еще и лишилась ноги.

– Но сейчас ведь всё можно уладить? – восклицает Антуан. Что значит: «Да урегулируйте же это в конце концов!» Я ничем не могу

помочь, но меня злит врожденная заносчивость этих господ. Семья Зазнайских.

– И как же вы предполагаете это урегулировать? – нехотя говорю я.

– Доктор, ну не будьте же так жестоки, помогите нам, помогите ей. Она давно уже хочет умереть. Мы ведь знали ее во всем ее блеске. А теперь она превратилась в собственную тень.

И действительно: она невнятно бормочет что-то себе под нос, однако всё еще способна поддерживать дух, несмотря на телесные недомогания, как тот, кто, переплывая реку, держит над головой узел с одеждой. Она как-то сказала мне, что в ее жизни уже ничего нельзя ни изменить, ни добавить.

Братья настаивают на своем желании: «Должен просто наступить конец, ведь это же сейчас можно?»

Объясняю им, что прекращение жизни возможно только в том случае, если их мать категорически потребует этого. «Боюсь, что этого слишком долго ждали, и она, и вы, и другие. За это время у нее появились провалы в сознании, и она не может свести концы с концами, чтобы связно заявить о своем желании умереть».

– Но не всегда же всё должно быть полностью высказано, – настаивают братья, – разве мы не можем избавить ее от страданий так, что она даже этого не заметит?

Снова витает в воздухе большое домашнее животное.

– Полагаю, что это убийство.

– Но вы вовсе не должны этого делать. Я и сам в состоянии это сделать. Я был в Соппротивлении во время войны, к вашему сведению.

Недоверчиво спрашиваю, каким образом и где именно он сделал бы это. Де Лифдеберг для этого никак не подходит. «Чуть не две сотни человек так и смотрят за вами. Пукнешь, аж всё здание ходуном ходит». Наверняка он сказал бы «ветры».

– Ну тогда дома. Ведь она может провести уик-энд дома, – предлагает он.

Напоминаю ему, что она три года назад избавилась от своей квартиры.

– Она уже четыре года как не выходит из Де Лифдеберга. И что вы ей скажете? Мама, сейчас, когда тебе стало хуже, мы возьмем тебя на пару дней домой?

– Господи, конечно нет.



– И позвольте еще вопрос: как именно вы хотите ей, э-э... дать умереть?

– У меня есть друг, он уже много лет работает в фармацевтике.

– А если там выпускают только средства для роста волос?

Он раздражается.

– Доктор, чёрт возьми, от вас никакой помощи, никакого толку. По-моему, вы ведете себя просто бессовестно!

Всё, мое терпение кончилось, и я излагаю суть дела:

– Попробую развеять ваши иллюзии, что эту ситуацию можно быстро урегулировать. Ваша мама попала в ловушку, и мы вместе с нею. Когда она, если прибегнуть к жаргону движения Сопротивления, могла попросить сделать выстрел из жалости, она этого не сделала или сделала это недостаточно убедительно. По крайней мере, никто ее не услышал. Но теперь, когда дело куда более очевидное, просить об этом она больше не может, во всяком случае не может просить убедительно. Единственное, что мы можем сделать, это давать ей повышенные дозы обезболивающего, и, надо надеяться, она в течение недели скончается. Тогда ампутация не понадобится, и ей не придется страдать из-за того, что она лишилась ноги. В течение недели состояние ее ноги мы сможем до некоторой степени держать под контролем, например что касается запаха. Но не говорите, бога ради, ни в коем случае не говорите, что это можно быстро урегулировать, ибо всё это в конце концов ложится на плечи тех медбратьев и медсестер, которые изо дня в день с нею возятся и должны делать ей все эти инъекции.

## Полноценная жизнь?

Когда чуть позже я захожу к Тёусу Боому сказать о том, что мы увидели на рентгеновских снимках, моя злость еще не совсем улеглась.

– Присаживайся, старина, – говорит он, увидев меня.

Он снял протезы обеих ног и на кровати сидит, собственно говоря, один его торс. Бравая старая обезьяна. Невольно я говорю слишком резко, сообщая, что рентген показал, что у него рак.

– И что теперь, док?

– Да пока ничего, Тёус. Дальше всё пойдет само собой.

После долгой паузы он говорит:

– Что ж, и на том спасибо.

Только я хочу уходить, как лицо его проясняется. Он говорит, что новость эта для него облегчение. Уже сколько месяцев как только он ни изворачивался, чтобы прогнать тоску, которую до этого он никогда не испытывал. Хотя ему еще нет восьмидесяти, в последнее время у него появилось чувство, будто он превратился в старика. Но теперь у него камень с души упал. Возможно, это то самое облегчение, которое испытывал скрывавшийся на чердаке голландец при виде немецкой каски, показавшейся наконец в люке над лестницей.

Тёус умрет, прожив полноценную жизнь. С Беном ван Локереном всё иначе. Ему 51 год, одинокий, бухгалтер, он болен СПИДом. Маленький, высохший, с шелушащейся кожей, с робкими глазками. О своей сексуальной ориентации он никогда со мной не говорил, кроме, возможно, того самого утра. Я стоял выгодно освещенный солнцем, когда он сказал мне: «Синий цвет тебе идет. Особенно темно-синий». Это самое большее, что я от него слышал.

Около двери в палату Бена вижу возбужденно перешептывающуюся группку: сестру, его приятелей, брата, жену и священника. Жену? Разговор довольно оживленный, о том, кто придет на похороны.

Рядом с ним никого. Он уже не жилец, но всё еще дышит. То и дело хватает ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Я окликаю его по имени. Полуоткрытые глаза, уже не мечущиеся туда-сюда в сумасшедшем нистагме, ничего больше не видят. Умер. В палате сразу

делается как-то уютнее, теперь, когда пытка окончена. Бен тоже теперь выглядит лучше, пришло облегчение.

В коридоре я сообщаю о смерти, надеюсь, не слишком бодро. Галдеж о проведении похорон еще более оживляется. Жена не хочет, чтобы присутствовали его приятели. Слишком уж они выглядят гомиками, олицетворяя собою мир, к которому она испытывает отвращение.

Чувствуя облегчение после этой смерти, как это бывает и после родов, когда ребенок уже появился на свет, разговариваю с его братом. Разговоры, которые ведут непосредственно после кончины, касаются чаще всего короткой биографии, предваряемой замечаниями вроде: Какую она прожила прекрасную жизнь! – Так замечательно он никогда не выглядел! – Кто знает, что ему пришлось пережить! – У каждого только одна мать – Бог знает, чего бы он ни сделал ради своей жены – Как спокойно она лежит – Наконец-то он обрел покой! и т. д. Но поразительно часто говорят: вообще-то, я не был с ним хорошо знаком.

Мой одинокий холостой бухгалтер женат, пастор, отец пятерых детей. Его младшему сыну 23 года, он тоже изучает теологию. Бен из строгой протестантской семьи. В конце 1960-х годов он осознал свою гомосексуальность. Много лет он тайно ездил в Амстердам, пока наконец не смог больше переносить двойную жизнь и два года назад оставил семью, общину и покинул родину, чтобы соединиться со своим другом в Стокгольме. Там он собирался зарабатывать на хлеб мытьем окон. Перед самым отъездом он сказал брату: «Ну, теперь буду наслаждаться жизнью». Тогда-то он и заразился СПИДом.

Можно было бы сказать, что, существуя Яхве<sup>[27]</sup> на самом деле, он, возможно, именно так всё и устроил бы. Брат не мог решить, что нужно видеть в судьбе Бена: перст Божий – или же наглядное свидетельство абсурдности Бога.

Вспоминаю разговор с Беном о его работе: «Моя семья ни во что не ставит мою контору. Они хотели бы, чтобы я занялся религией». Дать бы ему!

Это «темно-синий тебе больше идет» было поразительно откровенно.

Споры о том, кто пойдет на похороны Бена, а кто нет, типичны для нездоровой атмосферы, окружающей СПИД. Хотя мефроу ван Локерен, которую я, впрочем, не знаю, не скрывает своей неприязни к

приятелям Бена, другой лагерь также демонстрирует неблагоприятное поведение. Люди, которых интересует ВИЧ и которые охотно и свободно о нем рассуждают, подчеркивают – в своем непринужденном приближении к вирусу, – что они широко мыслят, что они современные, открыты, бесстрашны, интеллигентны, несуетливы и в сексуальном плане не являются людьми вчерашнего дня. Тогда как те, которые не хотят иметь со СПИДом ничего общего, ограничены, старомодны, глупы, религиозны, боязливы и сексуально закомплексованы.

Это, пожалуй, строгий приговор первой группы как себе самой, так и другим. В медицинской среде есть сообщество, которое слишком дешевой ценой хочет принадлежать к первой группе; его представители публикуют научные работы, дают интервью о самих себе или печатают статьи о СПИДе, в которых с пристрастием описываются люди еще более глупые, боязливые, интолерантные, еще более ограниченные, чем они сами. Тут и минимальных различий вполне достаточно, чтобы пищащий успокоил самого себя.

## Смерть по заказу

Я всё время откладывал, но во второй половине дня все-таки захожу к Тёусу Боому. Мы болтаем, как два морских волка из детской книжки, потому что иначе он бы заплакал. Но он всё равно плачет. Ему страшно – «Чего, собственно? Я же ни во что не верю», – потому что с каждой неделей он чахнет всё больше. Он показывает на свою грудную клетку: выглядит, словно смерть сидит у него под кожей: так отчетливо вырисовывается скелет. Он смотрит на меня с отчаянием.

– Док, ты меня не бросишь?

– Конечно нет!

День спустя звонит его дочь.

– Что вы ему сказали?

– Что не брошу его.

Когда она спрашивает, что именно я имею в виду, я говорю, что ему нужно, чтобы у него не было болей.

– Почему вы с ним так долго говорите об этом? Человек хочет умереть. Он ждет, что вы сделаете ему инъекцию.

Теперь уже страшно *мне*. Господи, сделать инъекцию. Что я должен вколоть? Где это можно сделать? Пытаюсь поговорить с Яарсмой. Он считает, что мы слишком торопимся. «Возможно, это вообще не рак. Туберкулез тоже возможен. Ты же этого не исключаяешь».

Сообщаю ему мнение Лангенбаха по поводу рентгеновских снимков. При столь быстром распространении не может быть никаких сомнений.

– Хорошо, – говорит он, – мы с этим согласны, но всё же – почему человек должен уже теперь умереть? У него действительно такие сильные боли? Он же еще передвигается на своем роликовом кресле, сам видел сегодня.

Спрашиваю Яарсму, кто мы такие, чтобы решать за него? «Единственно, что я знаю, это то, что он хотел бы умереть более или менее мужественно, а не ползти к могиле, скуля, как собака, которую переехали».

– Ну, ты скажешь...

– Но, чёрт возьми, разве не так?

По отношению к смерти мы порой ведем себя как шаловливые школьники, окликаемые на школьном дворе классным руководителем: «Ван Беккюм, ну-ка иди сюда!» Мы, притворяясь обиженными, подмигивая и хихикая, переглядываемся друг с другом: «Я, менеер?»

Иное дело Тёус Боом. Заходить к нему при моей нерешительности становится всё труднее. Когда я вхожу к нему и спрашиваю, как дела, он говорит:

– Паршиво, ты еще долго будешь ждать?

Я говорю, что еще должен обсудить всё с коллегами.

– И когда же наконец ты это сделаешь?

– Уже сегодня, хотя нет, завтра. Завтра у нас еженедельная встреча.

– Что ж, буду надеяться.

Хоть бы меня это никак не касалось, возможно, это всё-таки туберкулез, почему я назначаю эти дурацкие лекарства, ведь, заказывая их в аптеке, я прокладываю лыжню, которая ведет прямо... и почему так быстро, почему всё это лежит на мне? Чувствую, что чем дальше, тем больше теряюсь в запутанном лабиринте.

На следующий день Яаарсма снова высказывается в пользу отсрочки. Скрытая тактика: ему так и так умереть и нам не обжечься. Чтобы он очень уж не отчаивался, Яаарсма предлагает преднизон: «Он сразу же почувствует себя лучше. Иисус тоже всегда прибегал к преднизону. От преднизона и труп запоет, правда, ненадолго. И пусть он побеседует со священником». И в заключение добавляет: «В конце концов, ведь так и не знаешь наверняка, действительно ли у него рак».

Яаарсма боится. Он разводит болтовню, и меня охватывает злость. Я тотчас же иду к Тёусу сказать, что готов.

– Наконец-то, я рад.

Впервые за долгое время мы сидим вместе с ним, смеемся и выпиваем. Он тоже позволяет себе стаканчик, хотя я знаю, что никакого удовольствия он уже давно от этого не испытывает. С широкой ухмылкой он поднимает стаканчик:

– Твое здоровье, старина! – И мы оба смеемся.

– Тёус, кого нужно позвать? – спрашиваю я чуть позже.

– Хм, вот ты и спрашиваешь... Не хочу никого пропустить, но...

– Не нужно на меня смотреть, это твоя смерть.

– Не хочу, чтобы все пришли. Позвони моим ребятам, они всё устроят как нужно.

И они решают, пусть присутствует старший.

На следующий день сообщаю коллегам о своем плане дать Тёусу умереть сегодня вечером. Яаарсма хмурится, но не возражает. Де Гоoyer изучает мой страх. Если бы кто-нибудь из них осмелился произнести *преднизон* или *окончательный диагноз*, я бы на него просто набросился.

В семь часов нужно всё это сделать. Около пяти сижу в своем кабинете и смотрю в окно, на весну. Внутри у меня всё как с цепи сорвалось. Яаарсма, прощаясь, просовывает голову в дверь: «Ну что ж, хороших выходных?» И исчезает. Я бросаюсь за ним, и мой голос раскатывается по лестничной клетке:

– Яаарсма, Яаарсма, так ли не могли вы единого часа бодрствовать со мною?<sup>[28]</sup>

Он возвращается.

– Послушай, Антон. Здесь я тебе не могу помочь. Возложи это на Боманса<sup>[29]</sup>. Но и мешать тебе не буду. Поэтому я уйду. Но я вовсе не спал, коллега.

Без десяти семь, с ампулами в нагрудном кармане, начинается мое медленное восхождение вверх. Лучше подняться по лестнице, потому что в лифте можно столкнуться с ван Пёрсеном, дежурным вечерним санитаром, скорее всего гомиком, из тех, которые о себе того не знают. Поискал бы в себе самом, отчего это в нем всё кипит и пузырится, так нет – полон неумного любопытства к тому, чем дышат другие, по какой причине всегда оказывается в ненужное время в ненужном месте. Досадуя на искореженное либидо ван Пёрсена, я споткнулся о ступеньку и чуть не упал ничком прямо на лестницу. Я покрылся холодным потом от ужаса при мысли, что, упав, мог разбить ампулы. И слова бы не успел вымолвить, как весь опиум и кураре проникли б в меня, и ушел бы тогда я, а не Тёус.

Нервничаю всё больше и больше. Из-за того, что приходится всё делать на ощупь, если это смерть по заказу.

Сократ превратил смерть в нечто разумно наглядное. Хотя его друзья уже были готовы поддаться панике после того, как он выпил из чаши с ядом, ему удается их успокоить тем что он может попросить Критона принести в жертву петуха.

Но Сократ мог позволить себе подождать в передней. Он спокойно потирал руки в предвкушении прекрасного общества, которое ожидало его в потустороннем мире. Тёус Боом видит это несколько по-другому. Я спросил его, куда он, по его мнению, попадет после смерти. «К червям», – сказал он с тем злобным удовлетворением, с которым прихлопывают докучное насекомое. Морской волк. Попробуй-ка здесь соблудности ритуал.

Но как умер Сократ на самом деле? Единственно, что у нас есть, это текст, позднее высосанный из пальца Платоном.

Для Тёуса у меня только ампулы, моя дрожь и его непреклонность. Если он только не скажет вдруг: «Нет, нет, может, лучше подождем еще недельку, как ты думаешь?» Никак не думаю, меня бы это просто взбесило.

Поднявшись наверх, еще раз, стоя на тихой, безопасной лестничной площадке, оглядываюсь вокруг; чуть помедлив, делаю шаг в коридор и вхожу в палату. Никто ничего не спрашивает. Тёус, выпрямившись, сидит между двумя горами подушек. Милая старая обезьяна, ужасно старая, ужасно больная.

– Подойдите, ребята, – обращается он к своим детям. Они по очереди обнимают его.

– Па, спасибо за всё, всё будет хорошо, – произносит один из них.

– И тебе спасибо, Геррит, ты хороший парень.

Старший сын остается в палате. Мы запираем дверь. Все остальные ждут в коридоре. Достая свои шприцы, не в силах унять дрожь и чуть не плача, взволнованный этим прощанием. Прежде чем наложить жгут на предплечье, спрашиваю голосом, сорвавшимся в дискант:

– Ты готов, Тёус?

– Да, мой друг. И спасибо тебе, что ты это делаешь. Ну, не будем бояться?

Это его последние слова. Сын держит в своих руках его руки. После инъекции он сразу же отключается и начинает дышать глубоко и спокойно. И весь оседает. Мы осторожно укладываем его и шепчем друг другу, что можем сесть. Мы напряженно смотрим на него. Не знаю, что чувствует сын, но я хочу только, чтобы Тёус как можно быстрее расстался с жизнью. Его дыхание становится мало-помалу всё более легким, но когда он делает более сильные вздохи, я начинаю



терять уверенность. Правильно ли я попал в артерию, не промахнулся ли, достаточная ли доза?

В коридоре тоже не всё спокойно: слышится невероятное дребезжанье кофейной тележки, а немного спустя появляется и ван Пёрсен. Нервничающая снаружи группка отгоняет и того и другого от двери, за которой мы ждем смерти Тёуса.

Наконец его дыхание делается поверхностным, он лишь чуть-чуть, словно пробуя, хватается ртом воздух. Я хорошо знаю эти попытки, они могут продолжаться минут десять, иногда с невозможно длинными паузами. Через четверть часа я объявляю, что он мертв, и его сын начинает плакать. С некоторым триумфом я выхожу за дверь с новостью: «Он умер». Я испытываю среди всех этих плачущих людей громадное облегчение.

Час спустя на выходе все-таки встречаю ван Пёрсена:

– А, вы еще здесь? Надо же, Боом умер. Вы уже знаете? Ничего себе, и как это вся семья почувствовала, что уже близко?

– Что почувствовала?

– Ну, что он умрет сегодня вечером. Они даже принесли его лучший костюм, в котором его похоронят.

– Ван Пёрсен, очевидно, и в небе и на земле есть много такого, что *Volskrant*<sup>[30]</sup> и не снится<sup>[31]</sup>. Ах, да что я тебя донимаю? Надень на него костюм – на том и спасибо.

## Танатофилия

Поступил Тейс Крут, 38 лет. У него БАС, боковой (латеральный) амиотрофический склероз, или прогрессирующая мышечная атрофия. Если бы мы всегда переводили подобные термины, от медицинской науки мало бы что осталось. Всё равно что введение живого разговорного языка в католическую церковную службу: врач должен был бы изворачиваться, подобно священнику, пытаясь сообщить простыми словами, чем именно он занимается.

БАС – болезнь расслабления нервной системы, не затрагивающего функции высшей нервной деятельности, так что вы можете до последнего вздоха смотреть в глаза этому монстру. И нет средств с ним бороться. Возможным первым симптомом может стать то, что вдруг начинаешь иногда спотыкаться. Причина этого – ослабление мускулатуры ног, которое затем распространяется всё выше и выше, захватывая мышцы плеча, предплечья, кистей рук, рта, языка, весь глотательный и речевой аппарат, пока не распространится на область грудной клетки, сделав невозможным дыхание.

Весь процесс занимает от двух до четырех лет. Похоже на медленное действие змеиного яда. Болезнь, при которой тебя охватывает чувство, словно некое злое существо намеренно выдумывает что-то особенно ужасное. У животных такая болезнь длится недолго, потому что они не помогают друг другу. Домашним животным приходится хуже, потому что они не могут избежать нашей помощи. «Если бы они могли от нас не зависеть...» – язвит неунывающий Яаарсма.

В книге *Brain's Diseases of the Nervous System* [*Заболевания нервной системы*] Брейна (имя отнюдь не вымышленное<sup>[32]</sup>) я, среди прочего, прочитал о латеральном амиотрофическом склерозе: «Opinions vary upon what the affected patient should be told. There is no doubt that a responsible relative should be told the truth, even if one stresses the variability of the clinical course of the condition, emphasizing that some cases are more benign. It has been my custom to tell the affected individual first that the condition is well recognized, if of unknown cause, and to explain something of research now in progress. In order not to destroy all hope, I believe it is best to say that the condition progresses slowly up to a

point, but then usually becomes arrested, and may even subsequently improve spontaneously, while making it clear that no one can predict when and if arrest will occur. Comparatively few patients seem to be aware of the deception even to the end» [«Мнения разделяются относительно того, что следует говорить заболевшему этой болезнью. Нет сомнений, что достойному доверия родственнику должна быть сказана правда, однако следует подчеркнуть изменчивость хода заболевания, особо отмечая, что в некоторых случаях оно бывает менее тяжким. Я предпочитал прежде всего сказать самому больному, что заболевание это хорошо нам известно, хотя причины его мы не знаем, и объяснить, что исследования в этой области продолжаются. Чтобы не лишать пациента надежды, думаю, лучше всего заверить его, что заболевание медленно развивается до определенной стадии, а затем обычно останавливается и может вновь наступить улучшение, разъясняя при этом, что никто не в состоянии предсказать, когда процесс может остановиться и остановится ли он вообще. Вероятно, сравнительно немногие пациенты способны осознать, что это обман, и так вплоть до конца»].

Кстати, о подходе «повернуться к людям спиной». Так можно было писать в 1950-х годах. Прежде всего: хитросплетения лжи в конце пути могут оказаться очень коварными, во всяком случае, если бы такое позволили себе сказать в 1994 году. Пожалуй, прекрасный рецепт, чтобы заставить человека обезуметь от страха. Звучит как: вас не расстреляют, хотя, может быть, всё же или, пожалуй, всё-таки нет, я и сам не знаю. Но очевидно, тогда такое было возможно. Самое удивительное, что Брейн берет на себя труд хоть что-то сказать о щекотливом положении, в которое попадает в такой ситуации врач. Однако прежде чем смеяться над чепухой, которую врачи рассказывают своим пациентам об их болезнях, нам следовало бы подумать о тех глупостях, которые мы веками рассказываем друг другу о смерти.

Тейс Крут, во всяком случае, принадлежит к тем немногим, кто сразу же раскусили бы тактику Брейна. Больше того: он, вероятно, единственный, кто с облегчением принимает правду о своей болезни. Кое-что предшествовало этому облегчению.

Тейс достаточно импозантный молодой человек, пусть бесцветно одетый в серо-стального цвета брюки и темный мешковатый свитер.

Он выглядит так, словно всё еще ходит в четвертый класс средней школы. Он из семьи, в которой посещают подготовительные вечерние курсы<sup>[33]</sup>. Отец его был более или менее занят в банке. Мать была в молодости эсперантисткой – «мертвый язык», довольно ухмыляется Тейс. По воскресеньям плотно задергивали занавески и отключали дверной звонок, чтобы исключить любые визиты. Зимой родители сразу же после ужина принимались готовиться ко сну: вынимали зубные протезы, надевали домашние туфли и облачались в согретые на печке пижамы. Когда после семи кто-то звонил, стояла мертвая тишина. Никому не открывали. Словно прятавшиеся во время войны, все замирали, как мыши, пока шаги незадачливого посетителя не затихали вдали. Тейс рассказывает всё это без малейшего намека на Реве. Нет, *De Avonden* [Вечера] Герарда Реве<sup>[34]</sup> он не читал, только книги о шахматах. В 16 лет он ушел из гимназии, потому что там над ним издевались, и с тех пор жил на пособие, тратясь только на алкоголь. Жизнь эта то и дело прерывалась курсами лечения у психиатра из-за «депрессий» – он опять ухмыляется – и нескольких несерьезных попыток самоубийства.

К тому же он никогда не пытался завоевать симпатию какого-либо человека или животного. Никогда не работал, кроме давнишней работы в течение двух дней в качестве транспортного рабочего в одной крупной больнице. Жизнь всегда казалась ему темным туннелем, по которому он все время ползет и где единственной возможностью кажется продолжать ползти дальше. Его инертность невероятна. Она не имеет ничего общего с предположительно завоеванным бездействием мастеров дзен-буддизма, но представляет собой скорее какую-то тину, в которую он погрузился без малейшего сопротивления. Когда он узнал, что у него БАС, у него камень с души свалился. Туннель оказался гораздо короче, чем он опасался.

«There are only two tragedies in life, – сказал Оскар Уайлд, – one is not getting what one wants, and the other is getting it» [«В жизни есть только две подлинные трагедии: одна – когда не получаешь того, что хочешь, и другая – когда получаешь»].

Но это не относится к Круту. Теперь, когда его столь долго и с трудом тащившееся за ним желание умереть наконец-то вроде бы близится к исполнению, он не отступает. Многие говорят: «Я хотел бы умереть», но, предложи им тут же, на месте, большую дозу, они с

криком обратятся в бегство. Такая непоследовательность, безусловно, более человечна, чем танатофилия Тейса. В телефонном разговоре с коллегой, с которым я говорил о Тейсе, у меня вырвалось: «Собственно, по-моему, довольно жуткий малый». На что немедленно последовал ответ: «Я разговариваю с врачом?» Ну конечно, ведь мы бесстрашные парни.

После того как я познакомился с Тейсом, со мной захотела переговорить семья мефроу Буассевен. Старая дама, ей 93 года, после тяжелого кровоизлияния в мозг неподвижно лежит в постели, больше уже не говорит, глаза у нее закрыты. Я ее раньше не видел. Откинув одеяло, вижу по пятнам на ногах и серовато-синюшным пяткам, что это вопрос нескольких часов.

Ее nearest if not dearest<sup>[35]</sup> – племянник 67 лет, лысеющий, приятной внешности господин, любитель шерри и тенниса, с высокомерным тиком в движениях головы, словно то и дело хочет сказать: «Да? Да? Что вам угодно?», и неродная невестка, как она сама себя называет; характер семейных связей в такие моменты не столь уж важен. Оба изъясняются весьма манерно.

Я сообщаю им о скорой кончине их тети. Они и сами уже это увидели. Они говорят о ней:

– О, знаете ли, она всегда была такой предприимчивой, такой живой, такой интеллигентной женщиной! Бегло говорила на восьми языках.

– Ну, впрочем, – смягчает он, – бегло – это уж слишком. Ты всегда преувеличиваешь, Гююсье. И потом, восемь языков, ну откуда же восемь? Хотя, чёрт возьми... – и начинает перечислять. – Смотри-ка, французский, немецкий, английский, нидерландский, латынь, греческий, итальянский, норвежский, чёрт возьми, она и вправду говорила на восьми языках, но не бегло же, ведь это нелепо, бегло говорить по-латыни, надо же такое представить! Чушь какая-то.

Я призываю их вернуться к действительности.

– Да, дело плохо, – говорит племянник. – Но разве нам нужно здесь оставаться? Мне кажется, насколько я понимаю, она ведь не знает, что мы здесь. Как вы думаете? И потом, я действительно считаю, не следует на это смотреть, на разрушение, гибель, какой печальный спектакль, я этого просто не вынесу. Я хочу, чтобы она осталась в

памяти такой, какой была раньше. О, если бы вы только знали, какая это была женщина!

И они оба уходят. Он к своему «пежо», она к своему «ситроену». «Ночью не звоните, пожалуйста, – говорит он еще, – сделать ведь уже ничего нельзя». Это приблизительно то, что я и сам говорю людям, которые в отчаянии хотят оставаться рядом с умирающим, но у которых на это нет сил, – тогда как в отказе этих двух играть роль наблюдателей у смертного одра налицо явная избалованность.

У выхода встречаю ван Йеперена, помощника бухгалтера в Де Лифдеберге, который уже не один год воюет со своим шефом, Брамом Хогерзейлом.

– У Брама рак, – сообщает он мне, – слышал сегодня утром.

Ван Йеперен уже давно пытается сбросить Брама, и сейчас ему явно стоит немалых усилий сдержанно реагировать на известие о несчастье, которое обрушилось на его врага. Но ван Йеперен на этом не останавливается, и то, что он произносит, приводит меня в изумление. Он говорит мне с полной серьезностью: «Обязательно пойду на похороны». Видно, что он и вправду встревожен. Его слова говорят о чувстве вины, которое нелепым образом опережает события.

## Свечка на краю бездны

Брама Хогерзейла должны оперировать сегодня утром. На прошлой неделе он мне позвонил и со всей серьезностью просил к моменту операции поставить за него свечку в часовне. Он знает, что некогда я прислуживал во время мессы.

Было уже половина второго, когда я вдруг вспомнил об этом. От страха и стыда меня прошибло холодным потом. Я тут же бросился в часовню. К счастью, там никого нет, ведь врач, который возится там со свечками, может дать повод к всевозможным вопросам: Всё ли в порядке дома? Ведь не удалили же кому-то не ту почку? Кончилась святая вода из Лурда?

Меня преследует мысль, что операция могла уже закончиться и в самый критический «момент опухоли» моя свечка так и не была зажжена. Поспешно ставлю свечку и с ужасом вижу, что мне нечем ее зажечь. Бегу по коридорам в свой кабинет за спичками. Не решаюсь их у кого-нибудь попросить, потому что тогда пришлось бы всё объяснять. Теряю драгоценное время. Чтобы искупить свою вину, зажигаю две свечки – одну от имени Яаарсмы. Хогерзейл его тоже просил об этом, но нерешительность Яаарсмы всегда одержит победу. Теперь замечаю, что немного не хватает денег. Ничего, заплачу завтра.

Мысль о «моменте опухоли» не покидает меня. Я представляю себе, что после вскрытия брюшной полости должен наступить момент, когда хирург окажется с глазу на глаз с опухолью. Как миссионер – с первым аборигеном. И исход этой встречи должен будет принять благоприятный оборот под воздействием моих свечек. Однако шанс упущен, из-за того что я слишком поздно опомнился да к тому же и не заплатил. Не перестаю чувствовать себя виноватым.

Позже, днем, думаю: ну что за вздор этот «момент опухоли»? Многие месяцы, если не годы тому назад один-единственный нуклеотид в ДНК Брама слегка сместился и безбидным движением своей задней части толкнул тележку, которая, сначала очень медленно, покатила не в том направлении. И свечка на краю бездны должна была остановить мчащуюся вниз машину? И всё же ни за что не хочу знать, когда именно его оперировали.

При посещении Греет ван Фелзен мне довелось услышать, как в свое время она потеряла ногу. В 1916 году, девятилетним ребенком, она попала под трамвай, и ей полностью ампутировали левую ногу. «Она висела буквально на куске кожи, и ее просто отрезали. Боли я не чувствовала, но звук ножниц никогда не забуду. Девятилетняя девочка, можешь себе представить? У моей кровати сидела медсестра и рыдала. И я спросила ее: „Ведь она снова вырастет, правда?“ – „Ну конечно, деточка!“ – сказала она, продолжая рыдать, и мне было ее так жалко».

Юность Греет была невероятным нагромождением горестей, какие можно встретить разве что в самых душещипательных детских книжках 1930-х годов. Через год после несчастного случая ее родители умерли в течение двух месяцев от туберкулеза. После этого началась жизнь в различных приютах. «Годами я каждый вечер плакала по своей маме. Я не понимала, почему она ушла. Я не могла понять ее смерть».

Греет попала в сиротский приют, под начало монахинь, одно из тех мест, в которых девочки во время купания в замутненной мелом воде должны быть в рубашках, чтобы не видеть друг друга. Греет постоянно со всеми ссорилась, но благодаря своей невероятной строптивости ей более или менее удалось вырасти человеком. Немалое достижение в окружении, которое, пожалуй, концентрировало в себе самое нездоровое из всего того, что было больным в Преизобильной Римско-католической Жизни: кучка всем недовольных стерв, опустошенных из-за постоянного отвержения своего тела и души, должна были заботиться о сиротском доме, полном беззащитных детей, которые все имели за собой подобные удары судьбы, что и Греет. Дети постоянно получали побои, в наказание их лишали еды или запирали на ночь в темный чулан.

В учреждении были очень строгие правила. Замутненная мелом вода для купания – только один пример различных методов давления, которое сегодня может рассматриваться не иначе как форма организованных мучений. В те годы в Нидерландах царила отвратительная атмосфера, которую можно было ожидать разве что в Германии, и даже там – в самых brutальных формированиях нацистской партии. Так, детям в сиротском доме Греет не разрешали надевать фуфайки, хотя зимой они коченели от холода. Однажды Греет от тети, которую она навестила, получила фуфайку и тайно надела ее,



перед тем как ложиться спать. На нее донесли, и ее вытащили из постели. Всю ночь она должна была провести в неотопливаемом кабинете старшей сестры, разумеется, после того, как у нее отобрали фуфайку и на ней осталась только уютная ночная рубашка. «Наутро я буквально посинела от холода».

Ко всему этому нужно добавить еще одну крохотную деталь. У нее отобрали костыль. «Потому что с костылем я могла бы ходить, чтобы согреться. А попробуй-ка согреться, когда только ползаешь. О, эти монахини были такие подлые. Конечно, так нельзя говорить, но думаю, что большинство из них попали в ад».

– Нет никакого ада, Грета.

– Нету, иногда это очень жаль, правда?

Несмотря на увечье, Грета прожила интересную жизнь. Покинув сиротский дом, она долгие годы руководила пошивочной мастерской и при этом совсем неплохо зарабатывала. Замужем она никогда не была.

– Но не думай, что я всё еще девственница, – говорит она с некоторой гордостью.

С церковью она распрощалась незадолго до начала войны. На исповеди поведала молодому священнику о своем сексуальном приключении, сказав в заключение:

– Но я об этом не сожалею. Я хочу, чтобы это случилось снова.

На что священник ответил:

– Это свойственно человеку.

Немного позже она опять встретила этого священника. В День святого Сильвестра она посетила свой сиротский дом. Было вполне приятно, время от времени даже подносили выпить стаканчик, и тогда священник наклонился к ней со словами:

– Ну и когда же моя очередь?

Сегодня Грета посетил ее племянник Херман. Грустный человек лет пятидесяти пяти, в свое время со страхом бросивший обучение на священника. За несколько недель до посвящения в сан он, под громкие причитания, покинул семинарию ради изучения нидерландистики. Это был весьма своеобразный шаг, и кажется, что и сегодня, спустя 30 лет, ему всё еще трудно встать на ноги. У него нет ни жены, ни детей, он живет на пособие и небольшие пожертвования своих родственников и друзей, которые таким образом хотят погасить некий долг. Тонкие

черты его лица носят следы алкоголизма, который не вяжется с его костюмом. В этом человеке – надгробие, под которым, предположительно, скрывается скорбь. Но о чем?

Когда я вхожу в палату, они сидят рядом и рассматривают фотографии. Фото, которые привозят из отпуска. Из Аушвица. Или Освенцима, как Херман с волнением произносит. Он вовсе не выскочил оттуда, потрясенный, через считанные секунды. Нет, он неделю, если не больше, прожил в здании Главных ворот.

Не боится ли он, что его печаль пройдет, и поэтому он снова ее вызывает? Я не решился его об этом спросить. Или это неудовлетворенность из-за того, что он не испытывает преследований? Есть люди, которые тоскуют по лагерному синдрому, потому что слишком мало получают от жизни. Но Херман не таков. В качестве ответа на мои осторожные вопросы он показывает мне нежное стихотворение с трогательной фотографией убитой в газовой камере девушки, чей портрет можно увидеть в лагере.

Что Грета привлекает в Аушвице, более понятно. Полная нетерпения и не вполне здорового любопытства, она ерзает, сидя на стуле, пока Херман с раздражающей медлительностью листает свою книгу путевых впечатлений. При виде фото здания Главных ворот она спрашивает: «А, так это их здесь мучили?»

В ее вопросе звучит чуть ли не вождление. Катастрофилия. Чувство, которое заставляет многих людей срывать с места, если где-то поблизости произошла дорожная катастрофа; или жуткая радость, которую доставляет детям муха с оторванными крылышками. Когда я был маленьким, меня захватывало представление, должно быть разыгрывавшееся в машине «скорой помощи», которая после несчастного случая уезжает с места происшествия со своим страшным грузом. Прелесть профессии врача состоит в том, что ты можешь находиться в этом зловещем месте, и никто тебе не скажет: «А ты что здесь делаешь? Ну-ка вали отсюда!»

Херман рассказывает, что в Аушвице целый день подъезжают и отъезжают туристические автобусы. Посетители хотят наконец-то заглянуть в машину «скорой помощи», думаю я. Ведь никто же не приезжает в Аушвиц ради того, чтобы избавиться от юдофобии?

– А ты не думаешь, что Аушвиц или такой фильм, как *Schindler's List*<sup>[36]</sup>, может стать предостережением? – спрашивает Херман почти

риторически.

Я говорю, что это сомнительно.

– Представь, что у кого-то хобби распиливать щенков пополам цепной пилой. И если об этом сделают захватывающий фильм, ты пойдешь его смотреть?

– Я – нет.

– Нет, потому что знаешь, что щенки существуют не для того, чтобы их распиливать надвое. Будешь ли ты после такого фильма еще больше в этом уверен?

Убежден, что люди смотрят фильм *Список Шиндлера*, чтобы успокоить себя вопреки самим себе. Подавленные, они выходят из кинотеатра и с удовольствием выставляют эту свою подавленность напоказ. Ценой стоимости билета в кино морально они сразу же оказываются на высоте, можно сказать, рядом с Визенталем<sup>[37]</sup>.

Но у Хермана есть еще доводы:

– Я не сомневаюсь, что люди с неярко выраженными пронацистскими симпатиями, посмотрев такой фильм или после посещения Аушвица, оставят свои идеи.

– Не думаю, что люди вообще поддаются воспитанию в подлинном смысле этого слова, – парирую я. – Чему вообще можно научить людей? Один плюс один равно двум, сначала подуть на чай, а потом уже пить. Но чему-то большему?

Греет уже надоели все эти разговоры о недоступных машинах «скорой помощи» и щенках.

– Хватит, покажи-ка ему снимки газовых камер.

Еще раз спрашиваю Хермана, почему в 1994 году кто-то мог захотеть прожить пару недель в Аушвице?

– А почему ты работаешь в больнице? – спрашивает он в свою очередь.

– Ну, есть много чего, что меня здесь удерживает. Погоня за деньгами, любопытство, инстинкт врачевания, страх смерти, лень, если пошарить вокруг да около; ну и чтобы не осложнять ситуацию, не буду касаться своих проблем с морфином – и так слишком много говорят об этом.

– Ну что ж, бойко и без утайки, – говорит Херман, – но каковы же все-таки истинные причины?

Прохожу весь ряд снова.

– Инстинкт врачевания, пожалуй, мы вычеркнем, сейчас на это вряд ли есть спрос. Я имею в виду то, как это делал Иисус: плюнуть, взять немного песка, смешать, смазать этой кашицей веки, скорбный взгляд в небо – и готово. Проиллюстрировать гравюрой Рембрандта<sup>[38]</sup>.

Херман смеется, но ведь я, перед тем как стал изучать медицину, действительно думал, что и вправду смогу делать нечто в этом роде. Этот вид врачевания, или что-то вроде, встречается в нашем деле исключительно редко и под силу только весьма ограниченному сообществу, членом которого можно стать лишь после многолетней инициации, которая чаще всего выкорчевывает наиболее интересные участки твоих больших полушарий.

– Деньги тоже вычеркни. Я зарабатываю ровно столько же, сколько мой зять, учитель истории. Остаются любопытство и страх смерти. Вот тебе и весь мой медицинский моторчик; кузова, правда, нет, но зато есть педали газа и тормоза.

– А любовь? – спрашивает Херман. – Разве ты не должен хоть немного любить своих пациентов?

Об этом нужно подумать.

– Вероятно, для врачебного сословия было бы хорошо, если бы я, глубоко вздохнув, согласился. Конечно, с людьми приходится страшно много возиться, но любовь? Сомневаюсь.

Я объясняю, что никогда не испытываю такой грусти, чтобы судьбу своего пациента принимать столь же близко к сердцу, как судьбу своего ребенка или своей жены. Разве что испытываешь легкий приступ паники при мысли, что это могло бы случиться с тобою самим. «Напоминает мне историю с комнатой ожидания. В комнате ожидания, где довольно много больных, сидит мужчина. Когда злобный сигнал наконец звучит для него, он оживленно посматривает по сторонам и произносит: „А мне туда и не нужно! Я просто сижу здесь, чтобы почувствовать облегчение“. Другая сторона паники: счастье, что это не я».

– Ну а что тогда означает для тебя смерть пациента? – спрашивает Херман.

– Это означает заполнение кучи бумаг и принятие решения о том, кто позвонит старшему сыну. Кроме того, вздыхаешь с облегчением, что смерть уже позади. Иногда испытываешь удовлетворение, что удалось ему или ей помочь умереть достойно, потому что, как правило,

это дело нелегкое. Но для того и работаешь в таком учреждении, как наше.

В больницах медицинский персонал часто не может скрыть раздражения. Недовольство проявляется в форме самоупреков: «Если бы я сразу дал лекарство». Или упрекают больного: «По-моему, вы никогда этого не принимали. И почему вы пришли так поздно?» Или же слышится какое-то жестокое удовлетворение: «Я же сказал: в печени полно метастазов». Но любовь?

– Еще раз перечитаю биографию Альберта Швейцера<sup>[39]</sup>, – вздыхает Херман.

Я говорю, что одну вещь всё же возьму обратно.

– А именно?

– Облегчение, которое испытываешь в комнате ожидания. Собственно говоря, это чувство возникает редко. Чаще всего думаешь: скоро и моя очередь.

Оставляю Греет и Хермана и по пути замечаю в уголке работающий телевизор. Мало-помалу до меня доходит содержание черно-белой программы. Передают интервью Би-би-си с Бертраном Расселлом<sup>[40]</sup>, взятое в 1958 году. Да, всё правильно. Расселлу тогда было 88 лет. Какой-то незначительный разговор, но всё-таки я смотрю, потому что никогда еще не видел фильма о нем. Представляете, увидеть вдруг фильм с Кантом? Расселл рассказывает эпизод из своей юности. Году в 1889-м у них на обеде присутствовал Гладстон<sup>[41]</sup>. Расселл тогда жил у бабушки, время от времени она устраивала приемы. После обеда дамы удалились, мужчины могли теперь покурить и выпить, и семнадцатилетний, донельзя смущенный Расселл остался наедине с величественным Гладстоном. Гладстон не сделал ничего, чтобы облегчить положение юноши, но произнес слова, которые Расселл, как я думаю, превосходно их имитируя, неожиданно глубоким голосом цитирует: «This is very good port. I wonder why they gave it to me in a claret-glass?» [«Превосходный портвейн. Но почему мне налили его в бокал для кларета?»].

Не правда ли очаровательно, что такая безделица через сто лет вдруг выпорхнет к тебе из телевизора, который забыли выключить?

## Человеческое, выше границы леса

Утренний отчет. Перелистываю случившееся за ночь. Менеер Крут – навязчивое состояние, мефроу Питерсен тошнит, менеер Мейер умер. Напротив Яаарсма прихлебывает кофе и, не совладав с внезапным приступом кашля, прыскает прямо перед собой. Не переставая кашлять, так что лицо его приобретает багровый оттенок, кивком головы указывает мне на письмо дочери мефроу Хенегавен, которое бегло проглядывал:

– Ну что за баба, чёрт бы ее побрал, теперь дошло дело и до адвоката.

Быстро просматриваю письмо. (Яаарсма, не пренебрегай своими сосудами мозга. Не напрягайся так, когда кашляешь, какаешь или трахаешься, и всегда читай точно, что написано.) «Послушай-ка: „... и к тому же вы, кажется, не заметили, что адвокат всегда попадает к матери лишь к девяти часам, хотя мы договорились, и вы сами при этом присутствовали, что...“ – читать дальше?»

– Что за дурацкое наименование, так же и для спиртного?<sup>[42]</sup> – говорит он, прокашлявшись.

Яаарсма рассказывает о женщине, в соседнем заведении по уходу, которой 106 лет и которая вполне в здравом рассудке. Мне кажется, в том, что касается человеческих порывов, тогда живешь в некоторой степени, так сказать, выше границы леса; в этой пустыне тебя уже не трогают мелочи; ты обретаешь ангелоподобный статус, когда остается только жажда знаний, и картина мира едва ли еще окрашивается антропоморфизмами.

– Нет, мой дорогой, – возражает Яаарсма, – в этом возрасте единственным удовольствием остается *olfactoria digestio flatus*, вдыхать собственные ветры. Хвала тому, кто при этом сумеет выказать свое удовольствие, если, конечно, у него хватит сил, чтобы устроить турбуленцию, встряхивая одеяло.

– Спасибо, Яаарсма. Всегда на солнечной стороне – это, должно быть, твоя натура: неисправимый оптимизм.

Тейсу Круту хочется умереть. Так он говорит, но я ему нисколько не верю. Потому что рассуждает он об этом как-то уж очень беспечно. Он не задумывается над вопросами: как? где? когда? или о том, кто это сделает? И к тому же еще эта тягостная жизнь, которую он вел. Он говорит о желаемой смерти примерно в таком тоне: «Что, и спросить нельзя?» Пытаюсь ответить тем же.

– Тейс, если ты хочешь здесь умереть, тебе сначала предстоит экзамен на допуск. Если провалишься, получишь пожизненно.

Он криво усмехается.

– И что за экзамен?

– Этого никто точно не знает. Но председатель комиссии уж точно известен.

– Кафка, конечно, – отзывается он с усмешкой.

– Хм, я думал, ты читаешь только книги о шахматах. Собственно говоря, в мыслях у меня был Скелет в плаще с капюшоном, Безносый с косой, собственной персоной. Но и Кафка, ясно, тоже о'кей. Но как бы то ни было, серьезно, Тейс, это и правда экзамен, и для меня тоже. А ведь до сих пор ни ты, ни я не прочитали условия ни одной задачи.

Рядом с Тейсом сидит менеер ЛаГранж, который в свои 86 лет о смерти вовсе не думает. Из-за повышенной чувствительности кожи мы его больше не бреем, у него отросла роскошная борода, и его можно принять за пророка. Он похож на одного из трогательных стариков Рембрандта и целыми днями сидит бормочет над книгами. То и дело мусолит их, общупывает от начала к концу; это можно было бы назвать чтением, если бы обслюнявленными пальцами и нервной моторикой он в конце концов их полностью не искрошил. На прошлой неделе он мусолил *Woestijnen van water* [Водные пустыни] Й. В. Ф. Верумейса Бюнинга<sup>[43]</sup>, автора его поколения, а сегодня *Six Years with the Texas Rangers 1875 to 1881* [Шесть лет с техасскими рейнджерами, 1875–1881] Джемса Б. Гиллетта<sup>[44]</sup>. Где он их выкапывает, ума не приложу.

ЛаГранж уже шестнадцать лет в Де Лифдеберге, и причем по недоразумению. Яаарсма уже не раз разыгрывал передо мной эту сцену. В один прекрасный день ЛаГранж прибыл в Де Лифдеберг из дома престарелых для реабилитации после перелома ноги. Через три месяца его «инспектировала» директриса, чтобы решить, не пора ли его отправить обратно. Чтобы проверить его умственные способности,

она попросила его снять башмаки и поставить их в холодильник. Подумав: «Она, видно, сбрендилла, но не упрямясь, а то она тебя здесь не оставит», – он покорно снял ботинки и поставил их в холодильник. И директриса тут же его забраковала, раз он не знает, что нужно делать со своей обувью.

Его сосед – менеер Гёуртсен. Застаю его перед зеркалом, он плачет. Как раз собирался побриться и показывает на свое левое ухо. Уши у него такие громадные, каких, пожалуй, и до самого Урала не встретишь. Вчера его осматривал дерматолог в связи с подозрительным пятном, появившимся на левом ухе. Врач немедленно взял «обширную пробу ткани», как выражаются в этих кругах. В результате огромная дыра в ухе. Гёуртсен не перестает жаловаться.

– И я должен теперь всю свою жизнь быть с таким ухом? Это же ужас!

Вслух я этого, конечно, не говорю, но думаю: «И что ты ноешь по поводу всей своей жизни? Тебе и осталось-то всего каких-нибудь несколько месяцев». Ведь ему 96 лет. Но конечно, человек смотрит на это совсем по-другому, ибо «Unser Leben ist eben so endlos wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist» [«Наша жизнь столь же бесконечна, как безгранично поле нашего зрения»]<sup>[45]</sup>.

Незадолго до ухода домой встречаю Брама Хогерзейла. Дела у него неважные, что, собственно, меня и не удивляет после моего фиаско со свечками. К тому же я до сих пор так и не заплатил, вспоминаю я. Ему назначили облучение.

– В январе вернусь на работу, – объявил он повсюду.

Сегодня он снова здесь, чтобы участвовать в репетиции церковного хора. Основное ядро хора состоит человек из семи, которые ежегодно с начала декабря репетируют в часовне. Уже при входе Брам сразу же схватывает мелодию *Hark! The Herald Angels Sing*<sup>[46]</sup> и, напевая, приближается к небольшой группке хористов. Те, увидев его, испуганно прекратили пение. На мгновение воцарилась странная тишина, потом все заговорили друг с другом.

– Хотя все они по отдельности милейшие люди, – рассказывал он мне потом, – нельзя сказать, что они обрадовались, когда я к ним подошел.



Распроставшись с ним и несколько раз пожелав ему всего наилучшего, иду в часовню, чтобы наконец заплатить за те свечи. Зажигаю еще две новые и на этот раз плачу сразу.

Теперь, когда я чувствую себя не в такой спешке, как в прошлый раз, более спокойно разглядываю симпатичный облик часовни. Готика XIX века. Не слишком оригинально. Стиль не более чем цитата. Но здание действует на меня успокаивающе. Приходит на память Анни Ромейн-Ферсхоор<sup>[47]</sup>, рассказывающая, как с мужем Яном и сыном Бартом посетила собор в Лане<sup>[48]</sup>. «Мы осматривались несколько отрешенно в этом обширном пространстве с его колоннами, оформленными пучками стрел. „И что, разве это красиво, все эти газовые трубы?“ – спросил Барт. Мы не могли решиться сказать да, и тогда я вдруг осознала, насколько исторической стала готика и что изумление перед нею, хотя и было заложено в нас далеко отстоящими от нас временами, всё-таки очень сильно связано с уважением к табу, которое накладывает благочестие».

Бедная, бедная Анни. Примерно ста страницами ранее она цитирует Тухольского<sup>[49]</sup>: «Den Flanellenen ist alles Flanell» [«фланелевому – всё фланель»].

## Провалился

У Тейса Крута, естественно, есть еще и домашний врач. Звоню ему и сообщаю, что Тейс хочет умереть, что у нас в палате это невозможно и что он должен опять вернуться к себе домой. Я хотел бы обсудить с ним как с коллегой, как следует поступить, и хотел бы избежать того, чтобы внезапно оказаться рядом с трупом – к тому же еще на чужой территории, где мне совершенно незачем находиться, так что в конце концов придется отвечать на вопросы полиции, как в точности обстоит дело. Я спросил его, не смогу ли переговорить с ним лично.

Он как будто не возражал, но не прошло и часа, как он мне перезвонил. Пусть с опозданием, жребий брошен: «Лучше не приходите, я никоим образом не хочу в этом участвовать. Я бы не хотел также, чтобы в документах был упомянут сам факт нашего разговора. Для меня это в высшей степени странное предложение. У меня нет никаких дел с этим человеком, я его не видел уже несколько месяцев. Я считаю всё это неестественным: сначала вернуться в свою квартиру, чтобы затем там умереть. Нет, я не хочу в этом участвовать».

От самого кандидата я тоже не ожидаю никакой помощи. Свои последние часы он представляет себе следующим образом: мы заранее договариваемся, и вечером я тайком приношу ему бутылочку с убийственным содержимым. Он проводит этот вечер, как и все прочие вечера: бесконечное число малодушно выкуренных сигарет, немного телевидения и в заключение пиво. Потом он просто ложится в постель и залпом выпивает означенную бутылочку. Я обращаю его внимание на то, что всё это он делает один, и спрашиваю, не хочет ли он с кем-нибудь попрощаться или чтобы при этом кто-то присутствовал.

– Нет, – говорит он, – патронажную сестру вы не хотели, потому что я едва ее знаю. Да и потом, эта бутылочка... Где мы ее оставим?

– Тейс, не валяй дурака. Дело не в том, что я думаю о патронажной сестре или что мы будем делать с этой треклятой бутылочкой... а, ладно.

Вскоре мне предстоит встреча с его родителями.

В коридоре меня останавливает менеер Маленстейн. У его жены опухоль мозга, и сегодня днем он был с ней в поликлинике, где ей

делали ультразвуковое исследование печени. Врач обсудил результаты с коллегами, и, как сообщает Маленстейн, теперь они уже втроем рассматривали, «буквально пуская слюни, замечательные внутренние органы моей жены. Разумеется, с мыслями о возможности использовать их для пересадки. В конце концов, ведь у нее опухоль мозга. Да, сказали врачи, внутри у нее всё, как у молодой девушки».

Высказываниям, которые люди приписывают врачам, подчас просто невозможно поверить. С гордостью показывает он мне ее карту донора органов, и свою тоже. Он работает в области электроники и кое-что понимает в устройстве человеческого тела, по крайней мере, относительно того, что поврежденная электропроводка в голове его жены не затронула рабочие узлы в других местах организма. Разумеется, никто не пускал слюни, больше того: если бы такое действительно кому-либо пришло в голову, менеер Маленстейн был бы взбешен подобным бесстыдством.

Встречаюсь с родителями Тейса. Милые, несколько флегматичные люди. Он в громадных роговых очках, говорит об эвтаназии<sup>[50]</sup>, словно рифмуя ее с оказией. Она полагает: «Вы же не позволите убить его, как собаку?» – еще один вариант больного домашнего животного. Им было бы легче, если бы можно было просто положиться на естественный ход вещей.

Люди увлекаются словом *естественный*, в нем слышится что-то домашнее и уютное, но что они при этом действительно имеют в виду, постичь вовсе не просто.

У Яарсмы есть план, как провести эвтаназию совершенно открыто. После свершившегося просто-напросто позвонить в органы правосудия.

– И если я наступлю на мину, ты, по крайней мере, будешь знать, что тебе лучше не ходить в эту сторону, – отзываюсь я не без злости.

Тейс всё же где-то отыскал character witness<sup>[51]</sup>: мефроу Улмстейн, социального работника. Она уже некоторое время на пенсии, но по просьбе Тейса и моей охотно совершает путешествие в Де Лифдеберг. Она знает Тейса уже пятнадцать лет и разговаривает со мной в его присутствии.

Она рассказывает, что ее всегда возмущало, если кто-либо с талантом и характером Тейса не достигал или не хотел достигнуть

чего-нибудь в своей жизни. И оборачиваясь к Тейсу:

– Твоя жизнь – едва ли не худшее из всего, что я знаю. Думаю, тебе самому было бы легче, если бы она кончилась. Но я не верю, что ты был бы в состоянии принять ту дозу, которую тебе приготовит доктор.

И материнским тоном добавляет:

– Дорогой Тейс, который год где-то лежит приготовленная для тебя жизнь. И только ты знаешь, почему не приходишь ее забрать.

Она полагает, что то же самое будет и с его смертью. Что он так же мало осмелится принять в ней участие. Что хотя он и получит из моих рук приготовленную для него смерть, он, вероятно, так ничего и не сделает.

– Ибо то, что ты вполне всерьез предлагаешь – вечером в общей палате принять тайком смертельную дозу, – настолько ужасно наивно и звучит настолько по-детски перед лицом такой реальной и серьезной вещи, как смерть, что я думаю: он этого не понимает, он не имеет ни малейшего представления о вещах, о которых говорит.

Мне нечего к этому добавить. Тейсу я говорю, что позже снова к нему загляну, и с удовольствием выхожу проводить мефроу Улмстейн к автобусу.

– Я совсем не помогла ему, как вы думаете?

Отвечаю, что мне она, во всяком случае, помогла.

– Вы ведь не сделаете этого, правда? – спрашивает она, поворачиваясь ко мне.

– Нет, конечно, не сделаю.

Когда я вернулся в палату к Тейсу, он сразу же спрашивает:

– Значит, ничего не вышло? Ну конечно, я как раз подумал, что это было бы слишком уж просто, с бутылочкой. И потом, куда мы ее денем?

– Тейс, объявляю тебе в последний раз. Какое-то время я старался выяснить, насколько сильно ты хотел умереть. Но я так и не понял. Впрочем, и ты тоже. Ты прав, из этого ничего не выйдет. Карты легли так, что я не буду с тобой договариваться ни о дне, ни о часе, так что о бутылочке и речи быть не может.

– Выходит, на экзамене я провалился? – спрашивает он, и, как я вижу, с тем же облегчением, что и я.

В обед ван Пёрсен рассказывает мне, что с ним приключилось на прошлой неделе во время ночного дежурства. Он работал на девятом этаже. Было четверть одиннадцатого. Нужно было помочь мефроу ван Беемстерен. Если, как он, работаешь в больнице ночью, то со временем знаешь все звуки, которые там бывают. И вот он слышит, что вроде бы без всякой причины закрылись все защитные двери. Одним махом он очутился в длинном коридоре, где в зловещей тишине они только-только сомкнулись. Он в страхе ринулся в офис, чтобы по телефону спросить у портъе, что случилось. И только хотел взяться за трубку, как увидел дым и, как он твердо помнит, пламя, которое металось в окне.

В панике он снова бросился в коридор. Сбегая вниз по лестнице, через несколько ступенек встретил коллегу с другого этажа. Тот ему объяснил, что загорелась корзина для бумаг и скатерть в кабинете на восьмом этаже. Огонь уже почти потушили, и лучше бы ему вернуться обратно на свой пост. И только когда он повернулся, чтобы пойти обратно, ему пришло в голову, что он ни на минуту не вспомнил о пациентах.

Ван Пёрсен рассказывает об этом, словно речь идет о каком-то курьезном промахе. Малый, как бы это выразиться поделикатней, не ахти какой тонкой выделки. Его счастье, иначе пришлось бы ему, как лорду Джиму<sup>[52]</sup>, каяться до конца дней своих.

## Болезнь Тейса Крута

Между тем у Тейса появилась идея прославиться своей болезнью. До того как умрет, он хочет убить несколько человек из своего мутного прошлого. Он надеется таким образом удостоиться заголовков вроде: ПАРАЛИЗОВАННЫЙ, БУДУЧИ ЖЕРТВОЙ, СОВЕРШАЕТ ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО. Речь идет об одноклассниках его гимназических лет, которые жестоко над ним издевались.

Он наслаждается предвкушением радости, переживая это в форме бесконечных сомнений, хватит ли у него сил убить кого-либо ударом ножа, несмотря на ослабевшие мышцы. Разглагольствует о том, как раздобыть адреса своих жертв, которые, конечно же, все уже давно переехали. И не лучше ли достать огнестрельное оружие, потому что нажать на курок у него хватит сил, однако не будет ли отдача слишком сильной, так что он всё-таки промахнется? Это не моя вина, но нужно ведь как-то прервать этот бред: «Тейс, возьми где-нибудь напрокат лазерное оружие или нейтронную гранату, они бесшумные, и узнай, не могут ли потом бесплатно предоставить тебе психиатра для последующего наблюдения».

Он хочет добиться известности, чтобы потомки назвали болезнь его именем, потому что для каждого с диагнозом БАС, да еще на такой стадии, как у него, убить трех человек будет потрясающим достижением! БАС должен был бы получить название *болезнь Крута*.

– Да ему и собственное имя изменить ничего не стоит, – лаконично замечает Мике.

– Лу Геригу это ведь удалось, – особо подчеркивает Тейс. Он говорит, что это был прославленный бейсболист, который в 1941 году умер от бокового амиотрофического склероза, и что БАС называют в США *Gehrig's disease* [болезнью Лу Герига].

– Но в последний момент я, разумеется, сдам тебя полиции и в вознаграждение смогу попросить у феи дать мне выбрать новое название для этой болезни, и тогда я выберу, скажем, *Iammussodomosus*<sup>[53]</sup>. Ну а теперь, дети, быстро в постель.

– Вы не принимаете меня всерьез?

– С чего ты взял?

– Но ведь так на самом деле было, с Лу Геригом.

Его довод, что он может сделать всё, что угодно, «потому что долго мне сидеть не придется, через год я умру», меня пугает, и еще вопрос – удастся ли мне удержать его шутками.

Про Лу Герига всё правда. *Encyclopaedia Britannica* сообщает, что жил он с 1903 по 1941 год. Указывается, что он был «дольше всех активный игрок в американском бейсболе и один из лучших нападающих. С 1 июня 1925 года до 2 мая 1939 года *Iron Horse* [Железный Конь] играл на первой базе Нью-Йорк Янкиз в 2130 матчах. Достижение, которое никогда не было достигнуто ни одним другим игроком». Статья в энциклопедии заканчивается так: «Приятный, уравновешенный человек, Гериг оставался немного в тени своего товарища по команде – ослепительного Бейба Рута, сразу за которым он шел в очередности отбивающих. В 1939 году, когда стало известно, что Геригу грозит смерть от одного из видов склероза, он был избран в *Baseball Hall of Fame* [Зал славы бейсбола]».

И всё же впечатляет, какое смешение мотивов стоит за идиотскими планами убийства, которые вынашивает Тейс: месть за прошлое и желание придать смысл своим страданиям тем, что, совершив убийство, он свяжет свое имя со страданиями БАС и тем самым покажет, как плохо было, что именно он, Тейс Крут, должен был погибнуть от этой болезни. Ведь она погубила также и Лу Герига.

Болезнь Крута?

Когда к концу дня я заглядываю к мефроу ван Схевенинген, она уже забыла, зачем я был ей нужен. Эта маленькая хрупкая женщина, как настырная мышка, хрумкает последние жалкие крошки своей жизни. Где-то в середине 1920-х годов она, молодая стенотипистка, села на колени к менееру ван Схевенингену, да так там и осталась. Тогда она вовсе не была хрупкой, но подкупающе полненькой, что и запечатлела фотография на громадном телевизоре. На стене ее палаты висят два рисованных портрета – ее и мужа, просто замечательных, сделанных в ноябре 1944 года. Дата наводит на размышления. В ван Схевенингене виден победитель в войне: внушительная, ни с кем и ни с чем не считающаяся голова на толстой бычьей шее. У меня перед глазами возникают карикатуры из учебника истории средней школы. Возможно, что рисунки сделал благодарный скрывавшийся, который

всё еще каждый год присылает им из Израиля громадную индейку к рождественским праздникам.

Детей у них нет, но зато много денег. После замужества ее жизнь состояла преимущественно из шерри и тенниса. Она всегда полагала, что ее доходы и ее грандиозная недвижимость предопределяли ее культурный статус, который она теперь, в последние из своих дней, всё еще неуклонно поддерживает.

– Ну, мефроу ван Схевенинген, что у нас на сегодня?

– Ах, менеер доктор, я очень много читаю, как вы понимаете.

На мой вопрос, что же она читает, отвечает:

– *De Telegraaf*, и *Story*, и *Privé*<sup>[54]</sup>, и вообще всё такое, понимаете? Но заниматься я уже не могу, знаете ли. Это мне уже не под силу.

Последнее относится к ее делящейся уже многие годы бесплодной возне с итальянским языком. На интересе к этому языку она возвела хрупкое зданье, по которому блуждала с учебниками грамматики и, как ни странно, с Данте в переводе Кэри<sup>[55]</sup>. Он занимает прочное место между вещами, которые она каждый день раскладывает перед собой, и я каждый раз задаюсь вопросом, знает ли она, что это перевод на английский.

Она с такой охотой говорит о «*de ambiance van de renaissance in Florence*»<sup>[56]</sup>, что это наводит на мысль, что, вообще-то, она думает, что это французский шансон.

Брам Хогерзейл опять забрел к нам на денек. Просто так, зашел посмотреть. Но о работе нечего и думать. Он смертельно устал, и ему всё еще не дает покоя тот факт, если это факт, что домашний врач так поздно направил его на обследование.

– Врачи в больнице говорят, это просто срам, что пришлось ждать так долго...

Врачи говорят...

У меня не хватает мужества позвонить его домашнему врачу и спросить, как именно обстояло дело. Нужно ли было бы это выяснить? Снова отправиться на поиски «момента опухоли»? Абсурд.

Брам не может избавиться от страха. Он принял участие в исследовании влияния некоего лекарственного средства при метастазировании опухолей кишечника. Половина испытуемой группы получала лекарство, вторая нет.



– И конечно, я опять-таки попал в группу, которая не получала.

Я всегда думал, что пациентам как раз этого-то и не сообщают. Возможно, снова что-то новое в онкологии: пациентам, которые получают изучаемое средство, говорят, что они его не получают. Тогда можно быть совершенно уверенным, что всякий эффект плацебо исключается. Вслух я этого не говорю, иначе он совсем потеряет голову.

Однако всё это уже позади. Сейчас ему проводят экспериментальную терапию гипертермией. При этом в течение нескольких сеансов резко повышают температуру тела – предположительно со смертельным исходом для раковых клеток. Курс лечения комбинируют с возобновлением облучения.

– Единственно, что я замечаю после гипертермии, – это что боль сильно увеличивается. Иногда мне кажется, что опухоль – это зверь, который приходит в бешенство, когда они что-либо с ним делают. Сначала они пытались его заколоть, потом его облучали, потом пробовали отравить, а теперь хотят изгнать, всё сильнее разводя огонь в печке. Но единственный результат, что эта наглая скотина чем дальше, тем больше меня терзает.

Победить Рак. Миллиарды, которые швыряют в эту бездонную бочку, и Окончательный Прорыв, который, согласно прессе, уже сорок лет, как вот-вот наступит. Студентом я думал, что медицина просто обманывает общественность. Но это куда сложнее. Пациент настаивает: «Ну пожалуйста, скажите же, ведь у вас что-то есть против рака», – и врач, который думает, что и правда у него что-то имеется, сдается. О Прорыве, разумеется, и речи быть не может.

Ну а люди продолжают сорить деньгами. Яарсма на прошлой неделе был на медицинском конгрессе. За обедом кто-то с нарастающим волнением читал собравшимся вокруг коллегам сообщение из газеты: «Завещание о восьми миллионах гульденов для KWF [Koningin Wilhelmina Fonds]. Как стало вчера известно в Лейдене, вдова фон Шмидт из Альтенштадта завещала всё свое состояние, около восьми миллионов гульденов, Фонду Королевы Вильгельмины, занимающемуся борьбой против рака».

– Восемь миллионов гульденов для KWF. Ребята, ради бога, плесните еще глоток. Хоть плачь!

## Циники, верующие, ученые, и разница между человеком и животным

Меня навещает Андре, мой друг студенческих лет. Андре листает специальный медицинский журнал. Я вижу, как он спотыкается о дурацкие объявления. Залитая солнцем престарелая супружеская чета в добром согласии мастерит античный кораблик, с текстом: «Гипертония, естественный подход». Снова это словцо «естественный». Чтобы человек стыдился собственной смерти?

– Что же это за наука такая – медицина? – ехидно спрашивает Андре.

На мгновение задумываюсь, тем самым давая Андре, помимо своего желания, возможность задать следующий вопрос.

– Никогда не жалеешь, что после философии посвятил себя медицине?

Его вопрос раздражает меня.

– Ты имеешь в виду «скатился»? Ты хочешь сказать, что после всех этих лет в разреженной атмосфере высот спекулятивного мышления я сижу в грязевой ванне реального мира. Нет, не жалею. Теперь, когда уже слишком поздно, я могу тебе ответить, ведь дело идет к шестидесяти.

Всё же пытаюсь сказать ему нечто существенное о, так сказать, аптекарской стороне нашей профессии. На вилле медицины полно расшатанной мебели, и время от времени спасаешь положение тем, что раз-другой хлопнешь как следует то тут, то там, чтобы отошедшие ножка или подлокотник снова стали на место. Беда в том, что люди всё еще продолжают сидеть в этих «креслах», или как там их вообще называть. Это далеко не маловажный факт. Я даже думаю, что это один из самых непостижимых фактов нашего ремесла.

Меня всё еще поражает, что в специальных журналах наталкиваешься на объявления, которые опускают тебя на уровень домохозяек, с их стиральными порошками. А ведь это говорит о чем-то очень существенном. Ослер<sup>[57]</sup> однажды сформулировал в одном из своих афоризмов, что решающее различие между человеком и животным – «склонность глотать таблетки», дословно не процитирую.

Изготовители таблеток хорошо это знают и на этом зарабатывают миллиарды. Феномен гораздо более непрозрачный, чем можно было бы предположить. Стоит только подумать о том, как рекламируют стиральные порошки по телевизору. «Эксперты» какой-нибудь лаборатории Джайроу Гиерлуза<sup>[58]</sup> проверяют действие порошков А и В; при этом было «научно установлено, что...» и т. д. Это наука из разряда травести, та самая «наука», которая глубоко под корой головного мозга устанавливает простые соединения (ни одного кортикального нейрона, который стал бы ворчать) и получает аплодисменты врачей и пациентов.

Сейчас фармацевтическая промышленность, после того как она более ста лет упражнялась, достигла невероятной изощренности в том, чтобы «выдавать спинальные рефлексy за кортикальные». Она с удовольствием распространяется на своем псевдонаучном жаргоне о действии производимых ею пилюль. Всё, что она возглашает, часто вполне доказуемая дребедень. И тем не менее ученого-биохимика, несмотря на всю его правоту, не принимают всерьез.

Думаю, так происходит из-за того, что супружескую пару, которая благодушно что-то там себе мастерит, при наличии «естественного» подхода к их кровяному давлению, невозможно загнать в надежное ограждение из биохимических параметров. Биохимик прав, заговаривая об их уровне кальция, и все же производитель таблеток своими разговорами о благословенном старом времени побеждает. Почему? Потому что эти лопухи не в состоянии отличить парковку от кальция и, стало быть, не могут раскусить биохимию навязываемого им вещества, но сразу же сдаются перед цветом пилюли и уверением, что она «натуральная» или, еще того лучше, «научная».

Ну а что врач? Который для этого столько лет учился? Чего нам, врачам, не хватает, чтобы не прописывать всю эту бесполезную ерунду? Для ответа на этот вопрос мы должны украдкой бросить взгляд на историю медицины. С незапамятных времен люди прекрасно справлялись с незатейливым врачеванием: я имею в виду переломы, раны в сражениях и т. п. Никогда никому не приходило в голову, что в рану лучше всего было бы втирать нечистоты или как следует попрыгать на сломанной ноге. Для прочих недугов, не будем настаивать на дефинициях, имелся обширный арсенал трав, с которыми от случая к случаю попадали в цель. Кроме того, вызывали

рвоту, понос, отворяли кровь, молились, благословляли, приносили жертвы, совершали паломничество, вырезали, выкалывали, изгоняли злого духа, выкуривали, выжигали, вычитывали, перекладывали на соседку, на животное, отгоняли, накладывали руки, показывали луне, магнетизировали, месмеризировали, электризировали, гипнотизировали. И вот мы очутились в XIX веке.

Всякий мало-мальски информированный врач будет утверждать, что наша наука обрела почву под ногами в целом к середине XIX века. Болезни положили под микроскоп, открыли бактерии, поначалу обвинили их почти во всем, стали по возможности от них защищаться, а позже и активно с ними бороться. Далее изобрели анестезию, и военный лекарь превратился в хирурга. В академических терминах: патофизиология, бактериология, анестезиология и антибиотики; эти понятия пополнили в какой-то степени концептуальный арсенал, который называется Современной Медициной.

Наша наука сходна в этом отношении с автомобилем, машиной, которая около 1890 года уже повсюду тархтела почти в своей окончательной форме и к которой с тех пор не добавили ничего существенного, если не считать стеклоочистителей, сигналов торможения, автоматической трансмиссии и централизованной блокировки замков. Возможно, я чересчур упрощаю, но это не важно, потому что Невообразимый Прогресс после 1900 года уже не требует от нас, чтобы мы о чем бы то ни было беспокоились.

А вот на чем действительно следует сосредоточиться, так это на факте, что и до 1850 года, в течение тысяч лет, уже существовало врачевание. Поэтому мы должны работать не только с результатами 150 лет научных исследований, но и с запутанным наследием предшествующих 15 000 лет. Ибо эти 15 000 лет, когда врач выступал в образе жреца, предсказателя, астролога, толкователя, шамана, чародея, торговца надеждой, нельзя просто так взять и забыть. В приступе дурного настроения современную медицину можно было бы рассматривать как длительную борьбу, чтобы убежать от этих 15 000 лет, сводя всё, что разыгрывалось между целителями и больными, к модному словечку *плацебо* и оттаскивая нас на разреженное высокогорное плато молекулярного врачевания. Там почти не найдешь докторов и вообще нет пациентов. Все они обитают в беспорядочно заселенных долинах, глубоко внизу. Ребята-таблеточники живут на

полпути, на склонах. Это законченные циники. Мы определяем циника как человека, который вас крестит, зная, что креститься бессмысленно. Верующий совершает крещение. Ученый крещения не совершает.

Но сейчас все мы верующие, все ученые и (в XX столетии) все циники. Может быть, это и неплохо, но вносит путаницу, так как врач изучает медицину на высокогорном плато, в то время как его практика находится в долине, усеянной обломками многочисленных онтологий, истрепавшихся за истекшие 15 000 лет. От этого не ускользнуть. «Плацебо» – последний упрямый призрак старого времени, который всё еще бродит по закоулкам нашего тела. До сих пор нам не удалось при помощи молекул изгнать этот призрак из нашего организма. И как раз в этом бессилии к нам «на помощь» приходят ребята-таблеточники.

Журнальные объявления, таким образом, предназначены для долины. Они приходят с середины горы и указывают мелким шрифтом и стрелками на высокогорное плато. Насколько сильно различаются диалекты долины и высокогорного плато, заметно прежде всего, если послушать, как люди сами объясняют свои болезни. Вот пример из романа *De koperen tuin* [Медный сад] Симона Вестдейка<sup>[59]</sup>:

«Разговаривая со студентами старших курсов, я рисовал себе картину болезней сердца, которую пытался связать с мучениями моей матери. Я представлял себе этот ее замысловато устроенный, с ранних лет измученный орган как боязливый кулак, сжимающийся и разжимающийся тысячи, сотни тысяч раз подряд, presto, prestissimo, а в самые спокойные из ночей еще allegro con brio, чтобы затем вдруг раскрыться в ладонь, протянутую руку смерти – королевский жест, который никто не смог бы отвергнуть.

«...» Еще более прекрасными, еще более волнующими и загадочными были поздние приступы слабости, столь же непредсказуемые, сколь и неконтролируемые, когда кулак раскрывался в ладонь, которая еще несколько недель или месяцев так и оставалась протянутой, пока смерть из последних сил удерживали на расстоянии инъекциями камфары, кофеина, строфантина, дигиталиса – на каждый палец руки».

Сила воображения Вестдейка во всяком случае никогда не дала бы расколоть себя электрокардиограммой. И Кафка описывает болезнь в том же духе – в одном из писем к своей тогдашней возлюбленной Милене Есенской он обрисовывает собственный туберкулез легких:

«...Und denke nur an die Erklärung, die ich mir damals für die Erkrankung in meinem Fall zurechtlegte und die für viele Fälle paßt. Es war so, daß das Gehirn die ihm auferlegten Sorgen und Schmerzen nicht mehr ertragen konnte. Es sagte: „ich gebe es auf; ist hier aber noch jemand, dem an der Erhaltung des Ganzen etwas liegt, dann möge er mir etwas von meiner Last abnehmen und es wird noch ein Weilchen gehen“. Da meldete sich die Lunge, viel zu verlieren hatte sie ja wohl nicht. Diese Verhandlungen zwischen Gehirn und Lunge, die ohne mein Wissen vor sich gingen, mögen schrecklich gewesen sein» [«...И думаю только об объяснении, которое тогда возникло для заболевания в моем случае и которое подходит ко многим случаям. Похоже было, что мозг больше не мог переносить возложенные на него боль и заботы. Он сказал: „Сдаюсь, а если найдется кто-либо, кого интересует сохранение целого, пусть облегчит мне ношу, и тогда это еще протянется какое-то время“. Тут же откликнулось легкое: ему, видно, нечего было терять. Эти переговоры между мозгом и легким – я о них и не знал, – должно быть, были ужасны»].

Типична для Кафки непредсказуемость результата: легкое и мозг ведут жуткий разговор у него за спиной.

Более близкий пример. Тридцать лет тому назад моя мать умерла от цирроза печени. По различным причинам при этой болезни в брюшной полости образуется большое скопление жидкости, оставим сейчас в стороне биохимию. Поскольку ее живот с течением времени всё более распухал, мы ясно видели и понимали из слов врачей, что он заполнен водой. И какая картина возникала у нас о том, что будет дальше?

«У нее крепкое сердце, и это протянется еще какое-то время. Но как только вода дойдет до сердца, тогда уже всё...» Полный идиотизм, но и ребенком я прекрасно понимал, что сердце утонет в этой жидкости. Я не мог избавиться от этой картины, и, когда я как-то вечером лежал в постели, мучительно размышляя об этом, мне стало еще страшнее, после того как я понял, что сцена утопления разыгрывается в крошечной тьме, потому что внутри тела полная темень. Ясно, здесь нечего говорить о молекулах.

Наша залитая солнцем пожилая чета из рекламного объявления живет, вместе со своей любимой лодкой, в долине, где легкие тайком

беседуют с мозгом, где сердца тонут, протягивая раскрытую ладонь смерти.

– Это своеобразное место, – обращаюсь я в заключение к Андре, – и оно заслуживает, чтобы ты лучше к нему относился, а не пренебрегал им самым постыдным образом. Можешь постараться никогда больше с таким недовольством не перелистывать наш клубный журналчик?

– Постараюсь, Антон. Я, пожалуй, пойду?

– Хорошо. На следующей неделе займемся Ницше и головной болью.

## Страшный герой

Умерла мефроу де Ваал. В последние дни жизни впечатляющее обаяние этой представительницы старинного патрицианского рода отступило под воздействием моих лекарств, из-за чего она, какая-то скомканная, словно витала в подушках. Но после смерти и того, как Мике умело и нежно обмыла и одела умершую, она и мертвая снова предстала в своем прежнем величавом достоинстве.

Я был у нее за два дня до смерти, и, к моему изумлению, ей удалось освободиться от своего разбитого тела, которое терзало ее тысячью болей, и она ясным взглядом посмотрела на меня и спросила: «Ты мне поможешь?» Я десяток раз сказал «ДА», и кивком головы показал «ДА», и вложил «ДА» в пожатие ее руки, и, наконец, поскольку она совершенно оглохла, написал: «ДА».

В пятницу ее хоронят, по ее просьбе без церковного ритуала. «Это из-за моего брата». Ее брат-близнец Ханс умер в возрасте 54 лет в глубокой деменции, она с трудом переживала его духовный упадок.

Во время войны его схватили немцы и должны были отправить в Германию. Она долго расспрашивала, звонила по телефону, надоедала, пока не узнала, что он находится на Эутерпестраат, и немедленно отправилась туда, чтобы передать ему пару одеял и еду. Но к нему ее не пустили. И тогда она заявила приблизительно в таком роде: «Я отсюда не уйду, пока не увижу его, чтобы с ним попрощаться». Немецкому офицеру в конце концов это до того надоело, что он вытащил пистолет. Но он не знал Анс де Ваал: дрожа от страха, она гордо расстегнула блузку и обнажила грудь со словами:

– Sie sind ein furchtbarer Held, um eine wehrlose Frau zu drohen, warum schießen Sie nicht? [Вы страшный герой, чтобы угрожать безоружной женщине, почему же вы не стреляете?].

Офицер растерялся, потому что другие немцы в караульном помещении, забавлявшиеся ее дерзкой отвагой, хихикали за его спиной. Ее золовке, которая рассказывала мне эту историю, удалось вытащить Анс оттуда. Но Ханса повидать им так и не дали.

Пережив множество ужасов, после войны Ханс стал жертвой деменции, которая за пять лет свела его в могилу. Ничего не осталось от любимого брата, супруга, отца, энтузиаста, учителя истории. «Как



мог Бог это сделать?» Она не раз задавала мне этот вопрос. Я не умел ответить ничего другого, кроме того, что Бог этого не делал, не добавляя, однако, при этом, что Он никогда ничего не делает, не делал и не сделал бы по той простой причине, что Он... не добавляя того, что было бы не чем иным, как пустой болтовней перед лицом ее ужасных мучений.

Хендрик Терборх, наш священник, тоже этого не знал. На мой вопрос, не мог бы он что-нибудь сказать о ее брате, он смущенно ответил: «Я так часто пытался, но что тут можно сказать? Я не могу заставить ее отказаться от мысли, что Бог приложил к этому руку».

Я спросил его, к чему же тогда Бог прикладывает руку? Дилемма ведь кажется такой простой: либо Он заботится о нас, но почему-то довольно-таки бестолковым образом, либо Он вовсе о нас не заботится. Мефроу де Ваал решает в пользу последнего, но это ее и печалит.

– Не могу вам сказать, насколько близко к сердцу я принимаю всё это, – говорит Терборх. – Нет, я не ловец душ, я просто думаю: если мое послание даже здесь ничего не значит, то тогда где же? Ведь я очень высоко ценю эту женщину.

– У тебя самая тяжелая задача здесь, в этом доме, – успокаиваю я его. – Мне просто нужно объяснить, как люди страдают: сердце превратилось в изношенный насос, который протекает. И если вся эта жидкость скапливается в легких, вы чувствуете, как она вас душит. Вот и всё. А ты должен разъяснить *почему*. Хм... знаешь ли ты вообще, почему люди страдают?

– Нет, конечно, не знаю, – звучит смиренный ответ. – Хотя существуют формулировки, говорящие о «безоружном всемогуществе Бога перед лицом Зла», но я могу только сказать, что обладаю твердой верой, доверием к тому, что так или иначе мы находимся под защитой нашего Господа. И это доверие черпаю я из Библии.

Я замечаю, что так и не знаю, что здесь самое грустное: что Он существует и бросает нас на произвол судьбы, что Он существует и нас терзает или что Он вообще не существует.

– Ты забываешь возможность того, что Он существует, но не может достичь нас. Словами поэта: «...dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt zoals ik U» [«...что, в таком же отчаянии, Ты меня ищешь, как я Тебя»] [\[60\]](#).

Впрочем, я никак не могу себе представить, чтобы этот ветхозаветный Крикун, сотворивший мир за шесть дней, не смог до меня добраться. Разве что в том смысле, что слон не может добраться до бактерии. Ну а если бы они могли друг до друга добраться, что бы они сказали друг другу?

Мефроу Маленстейн, над внутренними органами которой пускал слюни эхоскопист<sup>[61]</sup>, совсем уже дышит на ладан. В четыре часа дня меня к ней позвали. Она страшно мучается, ее дыхательные пути забиты мокротой, от которой она тщетно пытается откашляться. Муж сидит рядом, держит ее руку в своей и плачет. Я быстро делаю ей инъекцию морфина в надежде, что всё это продлится недолго.

Уже в коридоре менеер Маленстейн наскакивает на меня:

– Я никак этого не ожидал! Разве я мог об этом подумать? Ведь она задыхается, чёрт возьми, сделайте же что-нибудь!

– Менеер Маленстейн, она почти в коме, кашель чисто рефлекторный, – пытаюсь я его успокоить, – вы не должны думать, что он ее душит, это скорее вопрос...

Мике приходит ему на помощь.

– Антон, женщина ужасно страдает, – говорит она резко.

Что, они хотят, чтобы я взял и убил ее? Тот самый случай, которого, я всегда думал, смогу избежать, впрыснув хорошую дозу морфина, чтобы он «не дал» ей проснуться.

Никогда не прекращай жизнь на основании косметических показаний, то есть из-за того, что присутствующим больно смотреть на страдания. Вот мое правило.

Несмотря на это, я прямо направляюсь к аптеке за кураре. Возвратившись к мефроу Маленстейн, вижу, что лицо у нее стало землистым. Нужна ли ей эта инъекция? Чтобы было наверняка, я всё же делаю укол. Через час всё должно быть кончено.

Хорошо, что я не сказал этого вслух, потому что и через час совсем ничего не кончено. Еще раз проверяю, что же это была за инъекция. С раствором, видимо, было что-то не так. К тому же его следовало хранить в холодильнике. Я поступил вопреки своей второй заповеди: «Никогда не делай ничего в спешке».

Договариваюсь о плане инъекций морфина. Мефроу успокаивается, менеер тоже. Я – нет, но всё же отправляюсь домой.

Мысль об изъятии органов для пересадки не покидает менеера Маленстейна, и он напоминает мне, чтобы я позвонил и поставил в известность бригаду по трансплантации.

Я плохо спал эту ночь. Мне снился бельгийский коллега, юркий, кругленький человечек, который тоже возится со своей мефрой Маленстейн. Он придумывает хитроумный план, по которому мы укладываем наших двух пациенток в глубокий жёлоб или что-то вроде этого, так что вполне можно обойтись одной-единственной инъекцией. Практично, не правда ли? Такое только во сне увидишь.

Когда на следующее утро прихожу в Де Лифдеберг, слышу, что мефрой Маленстейн всё ещё жива. Ее муж всю ночь не отходил от нее. Когда я вхожу, он тихо сидит рядом и держит ее руку. Из-за действия лекарств она часто подолгу не дышит; я посчитал, что иногда пауза длится до шестнадцати секунд. Когда я снова хочу выскользнуть из палаты, менеер Маленстейн решительно встает и выходит вместе со мной в коридор. Он хватает меня за плечи и говорит:

– Прошло уже почти двадцать часов. Может она теперь наконец умереть?

Она действительно находится в глубокой коме, но меня не оставляют сомнения. Страдания в наше время более чем когда-либо принимают косметический характер, но ведь человек от них умирает. Подготавливая необходимые принадлежности, я мысленно прокручиваю всю ситуацию. Трижды спускаюсь и поднимаюсь на лифте, потому что сначала забываю взять жгут, потом нужную иглу для инъекции и снова забываю взять жгут.

Наконец, уже наверху, никак не могу найти кровеносный сосуд, и менеер Маленстейн тогда чуть оживает:

– С ней не так просто справиться. У нее столько отваги, если бы вы только знали.

Сделать инъекцию в руку не удастся. В конце концов ввожу дозу, или большую ее часть, в паховую артерию. Менееру Маленстейну говорю, что вернусь через четверть часа. Я не могу долго оставаться в этой палате, чтобы не вызвать подозрения у окружающих. Маленстейн совершенно спокоен и не видит ничего страшного в том, чтобы остаться здесь одному.

Пятнадцать минут превращаются в полчаса, и когда я снова вхожу в палату, то застываю от ужаса. В палате мертвая тишина. Женщина

неподвижна, и на лице у нее подушка. О господи, пронзает меня мысль, неужели от отчаяния он ее задушил? И как я мог оставить его 22 часа сидеть здесь? Конечно, он не доверял этому последнему лекарству: ничего удивительного после вчерашнего.

Я закрываю дверь и запираю ее. Менеер Маленстейн спокойно сидит и смотрит на меня. И только приблизившись на несколько шагов, замечаю, что подушка лежит у нее на груди, поддерживая ее нижнюю челюсть. У меня вырывается вздох облегчения, на что он мягко замечает:

– Вижу, что и у вас с души груз свалился. Всё кончено, доктор.

Я спрашиваю, сообщил ли он уже кому-нибудь о ее смерти. Нет, ведь я должен был через пятнадцать минут вернуться. Так что он просто сидел и ждал. Обычно люди в подобных случаях сразу же выбегают в коридор, потому что умирающий – это совсем не то что умерший. Труп внушает страх. Но не ему. Он получше уложил ее, поправил ей челюсть, слегка ее причесал, сложил ей руки, умыл ей лицо и наконец положил на грудь эту проклятую подушку, чтобы рот оставался закрытым. Не часто бывает, чтобы так трогательно относились к умершему. Мужественный человек, ничего не скажешь.

– Вы уже связались с бригадой по трансплантации? – спрашивает он.

– Да, они будут в полдень, – говорю я.

У меня не хватает духу сказать ему, что после того, как я дал им описание ее медленной смерти, они хотят взять у нее только немного кожи.

В *Анналах* Тацита читаю о смерти Децима Валерия Азиатика, в правление императора Клавдия, в 47 году от Р. Х. Согласно Тациту, Азиатик умер по наущению Мессалины, которая заручилась поддержкой Луция Вителлия. В качестве знака особой милости Азиатик мог сам избрать для себя вид смерти. «Немногим друзьям, убеждавшим его тихо угаснуть, воздерживаясь от пищи, Азиатик ответил, что отказывается от оказанного ему принципсом благодеяния: проделав обычные гимнастические упражнения, обмыв тело и весело пообедав, он напоследок сказал, что для него было бы гораздо почетнее погибнуть от коварства Тиберия или от вспышки ярости Гая Цезаря, чем из-за того, что его оболгали женщина и мерзостный рот

Вителлия, и затем вскрыл себе вены, осмотрев, однако, до этого свой погребальный костер и приказав перенести его на другое место, дабы от его жара не пострадала густая листва деревьев: таково было его самообладание в последние мгновения перед концом»<sup>[62]</sup>.

Сравните это с нашей боязливой возней в мрачном алькове, в поисках щели, через которую мы смогли бы тайно протолкнуть умирающего наружу.

Явственность, открытость, почти будничность, с которыми умирали многие римляне – и по гораздо более банальным причинам, чем болезни, которым всё же всегда присуще что-то судьбоносное и трагическое, – нам трудно постичь. Но что может быть более невыносимо, чем необходимость умереть только потому, что ваша смерть на руку тому или другому дворцовому гаду?

Поражает спокойствие, с которым исполнен был приговор. Всё говорит о том, что тогда совершенно точно знали, как следует вести себя в подобных случаях. В романе Роберта Ранке Грейвса<sup>[63]</sup> *Claudius the God* [Божественный Клавдий] Азиатик вызывает врача, чтобы тот перерезал ему артерию на ноге, пока он будет лежать в ванне. Тацит подчеркивает перенос погребального костра не напрасно. Это доказательство того, что Азиатик остается хозяином положения, в котором легко было впасть в панику. Ритуал может защитить от внезапного приступа отчаяния или страха. Так, можно было бы себе представить, что история Азиатика вырастает в прочную схему, в основе которой лежит символическое распоряжение о переносе погребального костра, причем этой поправкой готовящийся умереть дает понять, что ничто не должно пострадать из-за его смерти. Проблема только в том, что такое ты не можешь себе придумать. Придумать можно электробритву с тремя плавающими головками, но не ритуал.

В сфере, где отсутствуют ритуалы, мне приходит на помощь небольшой перечень необходимых действий, который я держу у себя голове. Так что я не стою около умирающего, подобно тому, кто забрел в супермаркет и осматривается не спеша, соображая, всё ли он уже взял, перед тем как подойти к кассе. Я научился разъяснять ряд необходимых мер также и другим участникам. Например, я заранее говорю: «Я приду в полседьмого и сначала подам вам руку. Потом я

позову вашего сына и приведу медсестру», – и так далее. Таким образом надеешься перебросить висячий мост через пропасть.

Ритуал может сочетаться с индивидуальным талантом, с тем, что называют внутренней культурой. Некоторые всегда знают, что следует делать или говорить в необычной ситуации. Мне вспоминается сцена освобождения из тюрьмы Оскара Уайлда. Он приветствует Аду Леверсон<sup>[64]</sup> словами:

– Sphinx, how marvellous of you to know exactly the right hat to wear at seven o'clock in the morning to meet a friend who has been away! You can't have got up, you must have sat up [Сфинкс, просто чудо, что вы так верно выбрали шляпку, чтобы в семь утра встретить друга после долгой разлуки! Не может быть, что вы уже встали. Должно быть, вы не ложились].

Не было и нет ритуала для эвтаназии, какой мы ее знаем, потому что это нечто весьма редкостное в истории. Думаю, что нужда в выработке ритуала становится всё более неотложной, так как необходимо соответствовать значительно улучшенному прогнозированию. Только на основании имеющегося прогноза можно принимать решение в этом вопросе. В прошлом предсказать ход болезни на месяцы или годы вперед было невозможно. Лишь в определенных ситуациях на поле битвы или при политических передрягах, как в случае с Азиатиком (и многими другими в античности), было ясно дальнейшее. Но при нынешней диагностике нет ничего необычного, если мы можем сообщить приговор за год до казни. Иногда это возможно даже за много лет вперед, но тогда мы окружаем его пеленою надежды.

## Арджуна и Озеро

К нам поступила мефроу Хендрикс. Трогательная женщина, в точности мать Рембрандта с портрета Герарда Доу<sup>[65]</sup>. Муж ее – вылитый святой Иосиф, каким я представлял его себе в детстве: отважный страдалец, и он никогда не злится.

У мефроу Хендрикс метастазы в мозге после того, как годы тому назад у нее отняли грудь. При таком ходе болезни я бы обезумел от страха: это всё равно как если бы тебе сказали, что на рентгеновском снимке у тебя в голове обнаружили живую крысу, в самой ткани мозга, и что малейшее движение крысы рушит тончайшую сеть из миллиардов волокон, в которых так или иначе содержится твое Я. Уже от одной мысли об этом я не мог бы пошевелиться.

Действительная картина болезни вовсе не столь драматична. Женщина просто заметно апатична. Задать ей вопрос – всё равно что бросить камушек в глубокий колодец. Сколько ни прислушиваешься, стоя у сруба, не услышишь умиротворяющего всплеска со дна.

«Сколько у вас детей? Есть ли у вас сыновья и дочери? Внуки?» Всякий раз она смущенно смотрит на мужа, словно хочет попросить у него прощения, сама не зная за что. Он видит ее смущение и защищается от моих вопросов. «Зачем вам всё это нужно, позвольте спросить? Разве всех бумаг не достаточно?»

Единственная их дочь с мужем тоже здесь. Она преподает французский язык в университете в Г. Родители много лет держали овощную лавку и с трудом оплачивали ее обучение. Видно, что всё это ее глубоко трогает: «Кажется, я распускаю нюни, но они были ко мне так добры. В эти ужасные пятидесятые годы я всё же могла учиться. Я не смогу пережить того, что отец скоро останется один – после того как он все эти годы изо дня в день всегда был с нею».

Прибыл доктор Шарль ван де Берг. Нет, не как новый сотрудник, а как пациент. Болезнь Паркинсона. С речью дело обстоит совсем худо, и руки снуют туда-сюда в каком-то изломанном танце на обслонявленных коленях. Как только мы остаемся одни, он пытается мне что-то сказать. Из его бормотания, которое до меня доходит, я не

хочу разобраться то, что страшусь услышать: что-то о смерти. «Успокойтесь и попробуйте – ваша жена вам поможет – высказать яснее ваше намерение». Он смотрит на меня без всякого выражения. Ничто не выдает больного паркинсонизмом так, как его лицо. Такие больные смотрят на вас с совершенно пустым лицом, на котором самое большее – можно прочесть какой-то глупый вопрос, но что находится за слепым фронтоном, извлечь не просто.

Справа от нас телевизор, на экране разворачивается сюжет из *Махабхараты*. Арджуна или один из его братьев говорит с Озером, которое, собственно, не что иное, как Брахман... или его отец, неважно. Арджуна должен отгадывать загадки.

Озеро: «А что такое величайшее чудо?»

Арджуна: «Каждый день Смерть наносит удары, а мы живем, словно мы бессмертны. Это и есть величайшее чудо».

Из нашего разговора ничего не выходит, и мы оба невольно обращаемся к телеэкрану. После ответа Арджуны он поворачивается ко мне, и его взгляд проясняется.

– Да, – сразу же отзываюсь я, – до чего же наша Библия туманная и унылая в сравнении с этим мгновением просветления? Вы не находите?

Его лицо как-то меркнет, и он снова пытается заговорить, но я ничего не понимаю из его бормотания. Он бывший домашний врач. Если мой коллега мог дойти до такого состояния, это поистине страшно: выходит, и врачи могут попасть в пасть этого монстра. Врач, перешедший на сторону болезни, – но ведь раньше ты сражался на *нашей* стороне?

Когда я прихожу на следующий день, Де Гоoyer встречает меня словами: «Антон! Господи, да ты же совсем седой! – таким тоном, словно говорит: – У тебя пахнет изо рта, ты не собираешься с этим что-нибудь делать?»

Он сообщает, что мефроу Хендрикс ночью умерла. Ее дочь и зять хотели бы еще раз ее увидеть. Сначала мы с Мике идем в морг, чтобы привести ее в надлежащий вид. Это не слишком трудно. Она аккуратно лежит в гробу, и мы ставим его на носилки. Покрытые большим лиловым покрывалом, они кажутся катафалком, а совсем не ящиком на тележке.



Приводим дочь с зятем. Стоя рядом с открытым гробом, дочь нашептывает причитания, обращенные отчасти к нам, отчасти к матери, – в смерти черты лица ее заострились, и она уже не напоминает мать Рембрандта.

«У нее волосы не так уложены», – говорит дочь. Мике порывается тут же поправить, но дочь ее останавливает. «Нет, не будем больше ее трогать, она уже обрела покой. Господь знает, как мало покоя у нее было при жизни. Я ведь никогда не знала, до чего они были бедны. Когда я в первый раз пригласила к нам домой моего нынешнего мужа, тогда он просто был моим другом, я позвонила им, чтобы их предупредить. Они испугались до смерти, потому что у них в кошельке был всего один рейксдальдер<sup>[66]</sup>. Несмотря на бедность, мама всегда убеждала меня поступить в университет. Она знала, как я этого хотела. Что я там делаю, она не очень понимала. Единственное, что она мне как-то сказала насчет моей учебы, были ее слова о фотографии Флобера: что у него слабый подбородок и что он воюет со своей лысиной. Я взбесилась и пыталась объяснить, как глупо говорить такое.

Я была молодая, я боготворила Флобера, ей было бы лучше его не трогать. Именно ей, которая за всю свою жизнь не прочитала ни одной буквы. Ужасно, что иногда говоришь своим родителям. Разве она виновата, что все эти годы надрывалась в этой богом забытой овощной лавке и не могла заметить у Флобера ничего другого, кроме подбородка и лысины?»

Она заплакала. «Нет, я никогда не знала, насколько они бедны. И она ведь была совершенно права насчет головы Флобера. У него действительно маленький подбородок, а его прическа и вправду состоит из уморительных прядей, которыми многие мужчины стараются прикрыть плешь».

Когда мы идем по коридору, выйдя из морга, она говорит: «Ее смерть, это так важно для меня. Моему мужу шестьдесят, мне пятьдесят шесть, и до этого времени наши родители были живы. Но теперь? Это начало конца...».

Мы прощаемся. Ее муж, который до сих пор почти всё время молчал, вдруг крепко жмет мою руку и желает мне «успехов... в этом...», окидывая коротким взглядом всё здание и явно задаваясь

вопросом: и как только вы выдерживаете в этом склепе?

Снова разговаривал с доктором ван де Бергом. У него есть клавиатура на батарейках, и напечатанные им нужные буквы одна за другой появляются на выползающей бумажной полоске. Увидев, что я захожу к нему в палату, он тут же начинает печатать. Непослушный палец тычется туда-сюда, то выше, то ниже буквы, которую он ищет. После долгих стараний на бумажной полоске появляется: «... я хотел сказать вам... я хотел вас спросить... мое состояние... я не исключаю самоубийства... я хочу умереть...».

Он совершенно не знает, как это сделать. В нашу первую встречу я уже предполагал что-то в этом роде, но тогда я от этого уклонился. После долгой паузы он добавляет: «...слишком долго ждал...».

Клавишами он орудует, в общем, вполне прилично, и пока мы с ним ведем диалог, у меня всё время – да, да, прошу прощения, – вертится в голове вопрос, почему на выползающей справа бумажной полоске не стоит «liw ki» вместо «ik wil»<sup>[67]</sup>.

Говорю ему, что не нужно отчаиваться и что вместе мы преодолеем все трудности. Иногда подобные вещи говорят чисто автоматически, и когда я уже встаю, чтобы уходить, он вдруг, всхлипывая, хватая меня за руку. Меня пронизывает страх. Не из-за его слез, но из-за моего отсутствия, из-за того, что я размышлял об очередности появления букв на бумажной полоске, в то время как он выбивался из сил, стараясь выразить мне свое отчаяние, а на моем лице читалось «внимательно слушаю».

Рассказываю Яаарсме о положении ван де Берга, о машинке, из которой выползает «ik wil» вместо «liw ki». По его мнению, аппарат потрясающий.

«Это напоминает мне замечание коллеги, доктора Бока, который после морского плавания в Англию поделился со мной, что был поражен тем, что волны, на другой стороне канала<sup>[68]</sup>, не откатывались от берега. И на его середине он не увидел никакого разделения, где волны, если можно так выразиться, были бы расчесаны в ту или другую сторону. Сюжет вполне для Магритта<sup>[69]</sup>, не правда ли?»

Тут же Яаарсма рассказывает историю о депрессии мефроу де Гроот. Но действительно ли здесь речь идет о депрессии? Пригласили для консультации нашего психиатра: «Впрочем, – говорит он, – это мог

быть и фронтальный синдром. Нужно понаблюдать пару дней в психиатрической больнице». И мефроу де Гроот помещают в соответствующее учреждение. Через шестьдесят дней ее возвращают обратно. Заключение после двух месяцев наблюдений: «Женщина страдает депрессией, притом что также нельзя полностью исключить фронтальный синдром». Шестьдесят дней в психиатрической клинике стоят 60 на 800 гульденов, итого 48 000 гульденов.

Вспоминаются два ветеринара из романа *Naked Lunch* [Голый завтрак] Берроуза<sup>[70]</sup>. Скот болеет ящуром. Они извлекают из этого пользу, лучше сказать – также пользу и для себя.

Один говорит: «How long will the epidemic last?» [«И сколько продлится эпидемия?»]

Другой отвечает: «As long as we can keep it going» [«Столько, сколько мы сможем дать ей продлиться»].

## Болезнь, шныряющая в поисках пациента

Поздним вечером, когда меня донимает желудочная кислота и я злой, как чёрт, сижу перед телевизором, звонит телефон. Тоос плохо. «Похоже, – говорит ван Пёрсен, – она отходит».

Прыгаю в машину, корю себя за второй стаканчик: ясно, что от меня пахнет. На полу в машине нахожу мятную пастилку со следами песка. Все-таки лучше, чем ничего.

И как это могло с Тоос случиться так быстро? Вчера днем я заходил к ней, и всё вроде было в порядке.

Вхожу в ее палату и вижу, что она уже умерла. Проклятие. С той самой минуты, когда меня застал телефонный звонок, я всё время пытаюсь избавиться от давящей тяжести: всё ли я сделал, всё ли учел, не из-за меня ли это случилось, почему я этого не предвидел, не доказательство ли это моей небрежности? Я чувствовал себя так, словно из-за моей неловкости что-то ценное выпало у меня из рук и разбилось.

Теперь я горько смеюсь над той идиотской властью, которую без всяких оснований мы приписываем медицине, но тогда, испытывая неуверенность и подавленность, я находился в том состоянии духа, за которое сейчас упрекаю других и которое заключается в том, что мы безудержно переоцениваем власть медицины над жизнью и смертью. Как будто мы можем предвидеть каждую смерть и поэтому ее предотвратить или, по крайней мере, указать, каким образом в будущем можно будет ей воспрепятствовать. Иными словами, галлюцинаторный абсурд по-настоящему причинно-зависимых.

После рассказа ван Пёрсена, как это произошло, мне становится немного легче. Весь вечер всё было в порядке. В полдвенадцатого она позвонила, чтобы ей дали горшок. Ее посадили. Через пять минут вернулась сестра. С Тоос уже было не о чем беспокоиться.

На следующий день у меня и вправду камень с души свалился. Ее брат, громадный шестидесятилетний мужчина, с лицом кирпичного цвета, мрачно поведал мне, что внезапная смерть – странная особенность их семьи. Четверо из его девяти братьев умерли подобным образом, иногда при совершенно невозможных обстоятельствах: один на пляже в Италии (в 44 года), другой во время

полового акта (в 46 лет), третий на праздновании дня рождения (в 46 лет), четвертый – отмечая День поминовения<sup>[71]</sup> (в 51 год). Как это случилось с его братьями: с одним в Италии и с другим – в постели, он точно не знает, но что касается Луи, брата, умершего на дне рождения, тот спросил вдруг: «Почему вы заменили все краски?» – и сразу же обмяк в кресле. Скорее церебральное, чем сердечное, подумал я: эти краски. Хотя нет, мгновенная смерть. Инсульт никогда не вызывает смерть за секунды. Пожалуй, всё-таки сердце?

С Тео произошло то же самое: во время ежегодного Дня поминовения он упал. Окружающие подумали, что это обморок, и уложили его поудобнее, успокаивая себя тем, что «это каждый год вызывает у него столько воспоминаний...». Но он был мертв.

Меня вообще-то приободряют все эти истории, и я думаю: вот видишь, ты здесь ни при чём. Но облегчение приходится держать при себе, потому что перед глазами сейчас же встает, говоря словами Беетса<sup>[72]</sup>, «один из тех счастливицков, коим частые намеки родичей, друзей, но прежде всего врачей, дали заметить, что живут они под большим подозрением того, что с ними некогда случится удар, но вопреки всему, побуждаемые собственной природой, продолжают они всё делать по-прежнему, есть, пить и толстеть, что немало вредит им, вызывая припадки и всяческое волнение крови...».

Когда я захожу к ван де Бергу, текст уже приготовлен. Его жена объясняет: для него просто невыносимо на моих глазах возиться с клавиатурой. Конечно, под моими взглядами ему гораздо труднее справляться с клавишами, это в природе самой болезни: при паркинсонизме всякое сильное чувство усиливает дрожание. В спокойном настроении больной паркинсонизмом прекрасно может пить горячий чай из чашки – до той самой минуты, пока в его комнату не войдет считавшийся умершим брат из Америки.

Читаю текст ван де Берга, который его жена склеила из отдельных полосок:

«уже много лет приход смерти стал в моей жизни стимулом, чтобы скорее что-то прочитать, или пережить, или посетить: иначе я уже мертв.

потом еще немного времени, в оправдание, что больше ничего не хочу ни читать, ни переживать: ведь я умираю.

и вот смерть уже здесь. наконец. вы нам поможете?»

Мне кажется, больших сложностей здесь не будет. Ван де Бергу хорошо известны формальности, и он позаботился о том, чтобы все бумаги были в порядке. И всё же спрашиваю его жену, всё ли уже улажено.

«Что вы имеете в виду?» – спрашивает она в свою очередь. Я объясняю, что хотел бы знать, насколько это в его манере, почему он всё чаще говорит об этом.

Тогда она рассказывает мне о его болезни. Он впервые признался самому себе, что что-то не так, когда у него возникли трудности при письме. На свадьбе их старшей дочери из-за переполнявших его чувств он не смог поставить свою подпись. Получилась только корявая линия. «На следующий день он позвонил в ратушу и попытался договориться, чтобы всё-таки еще раз попробовать расписаться. На сей раз в спокойной атмосфере, в пустом зале, без всех этих взглядов у себя за спиной. Но чиновник не видел в этом смысла и отказал по чисто формальным причинам».

Чиновник, разумеется, не мог знать, что ван де Берг хотел скрыть симптомы болезни, как след, который возьмет шныряющая повсюду болезнь и сможет тогда до него добраться. Он думал, рассказывает она, что болезнь не смогла бы его найти, если бы он сумел скрыть симптомы. Он разозлился на чиновника, не мог найти слов, и телефонная трубка выпала из его трясущихся рук. Он разрыдался и окончательно понял, что заполучил болезнь Паркинсона. Или, как он часто говорил: болезнь заполучила его. Этому предшествовали полтора года мучений. Он сам однажды сказал: «Не каждый, кто со стороны слышит о чём-то подозрительном в отношении себя, сразу же решится это проверить».

Это было пять лет назад. В последние месяцы он был, по ее словам, попеременно то в отчаянии, то в состоянии заторможенности. Впрочем, сейчас он несколько оживился, потому что переговоры о его конце всё-таки начались. «Ну вот, я вам много чего рассказала, так о чём вы, собственно, спрашивали?» Когда я повторяю свой вопрос о том, говорил ли он уже раньше о прекращении жизни, она отвечает,

что да, и не раз. Правда, совсем недавно он думал, что жизнь его всё еще не настолько обесценилась, чтобы с нею покончить. Но теперь, пожалуй, пора.

После этого разговора я должен был встретить группу студентов-интернов, у которых среди дня практикум по диагностике. Меня охватывает дрожь при мысли, что я вынужден был бы примкнуть к ним, чтобы проходить всё это снова. Неужели медицине учили настолько плохо? Ну нет, *плохо* не совсем точное слово. В том, как мы это учили, было что-то постыдное. Вроде того, как если бы любой, желавший стать речным шкипером, должен был бы для каждого моста и шлюза Европы выучить наизусть имя тестя смотрителя и на экзамене за сорок секунд назвать двадцать имен, в которых три раза встречается буква «а». Будет считаться, что он выдержал экзамен, если окажется, что более 50 % из им названных еще живы.

Мучения, собственно говоря, были уже позади, если вечером, накануне экзамена, ты уложил весь учебник у себя в голове. Однажды я столкнулся с сокурсником как раз в этой фазе. Вышагивая к кафе на углу, он выглядел так, словно аршин проглотил, и умоляюще поглядел на меня, указывая себе на голову и давая понять, чтобы я был осторожней, потому что там всё уже разложено по полочкам и от одного неожиданного впечатления или движения всё может рассыпаться. Примерно такая картина. На следующее утро вы выкладываете свои знания, словно это некие геометрические фигуры, и вы снова свободны. И каждый раз процедура совершается в пластиковой обстановке, напоминающей зал ожидания международного аэропорта.

Ну а сколько раз мне снилось, что я проваливаюсь на государственном экзамене! Восседающий за огромным письменным столом профессор Де Граафф (которого позже я встречу у Али Блум) медленно снимает очки и грустно указывает мне на дверь.

Но для этих юношей и девушек всё здесь полно смысла. Они оживлены и с удовольствием окружают отобранных для них пациентов – новшество в повседневной рутине. Но только не для мефроу Рамселаар, которая явно ничего не понимает, потому что, когда седьмой по счету интерн собирается ее осматривать, она спрашивает меня, отчаявшись, ее душат слезы:

– Что, вам всё еще ничего не понятно? О господи, неужели я так и не выздоровею? Доктор, я поправлюсь?

Она думает, что мы, будучи в полной растерянности относительно ее случая, пригласили самых лучших врачей, чтобы совместными усилиями броситься на разгадку ее болезни.

Сегодня Тоос уже в нашей часовне. В гробу, под стеклом. Возможность с ней попрощаться, и многие этим воспользовались. Мы все хорошо ее знали, и врагов у нее не было, быть может, за исключением мефроу Зейдфелд. Она не один год боролась с привычкой Тоос бросать в окно хлеб и остатки пищи, из-за которых пронзительно кричавшие чайки выделывали головокружительные пируэты, стараясь хватать куски на лету.

Кое-кто решается подойти ко мне как к ее лечащему врачу, выражая подкрепляемое настоящим кивком головы желание получить объяснение, как всё это произошло. Я реагирую с наивозможной учтивостью и шепчу им, что здесь, вероятно, имел место случай идиопатической проксимальной флюксии кальция с последующей интракардиальной анархией.

– Ну а на человеческом языке? – не унимается очередной «менеджер по кадрам».

– Это одна из очень редких болезней, неизвестная в разговорной практике, – отвечаю я.

В одном из своих прославленных цветастых платьев Тоос просто великолепна. Мне как-то неловко на нее смотреть, потому что никогда ни на кого не смотрят с таким бесстыдством, как на умершего. Те, кто уже насмотрелись, непринужденно наблюдают с чашечкой кофе, как смотрят другие.

Присоединяюсь к Яаарсме. Одна из коллег, врач-физиотерапевт, плачет. Моя первая мысль, что, по-видимому, она еще не слишком долго в этой профессии. Но Яаарсма поясняет: «Она плачет не из-за этого. Эта неожиданная смерть, видимо, всколыхнула другое горе. Думаю, слезы медиков вторичны, если их льют, когда находятся на работе. Чаще всего что-нибудь не так у них дома».

Яаарсма рассказывает мне о смерти брата, случившейся несколько лет назад. Сначала он это не очень прочувствовал, до него никак не могло дойти, что его брат умер. Так продолжалось до дня похорон. Все



стояли, окружив вырытую могилу, он смотрел на гроб, один из членов местного Ротари-клуба стал бубнить какую-то жалкую речь, и тогда его взгляд устремился в сторону, а с ним вместе и его мысли. Он вдруг спросил себя: Смерть-Пьерляля<sup>[73]</sup>, эта жуткая белая кукла, он всегда угрожал Яну Клаассену, – откуда он взялся? Всё еще занятый этой мыслью, он снова хотел взглянуть на гроб, и тут его охватил ужас: гроб исчез, его уже опустили в могилу. И только тогда до него дошло, что его брат умер, и он заплакал.

vk.com/occultumlibris - t.me/occultumlibris

## Адрес Бога

Наутро, когда я вхожу в свой кабинет, там уже сидит Эссефелд.

– Проблемы, отец мой?

– Очень болит нога.

Он разувается и снимает носок: рожистое воспаление в начальной стадии. От священника пахнет, как в пасторском доме моей юности: сигарами, ладаном, потом, алкоголем, бриллиантином. Алкоголь? Всего лишь четверть десятого. Как это понять?

– Лосьон, – говорит он и делает жест, показывая, как смачивает лицо после бритья. Эссефелд пьет. Из-за женщины? Скорее из-за Бога, думаю я.

Из опасения, что вдруг будет слишком мало народу, я тоже иду на похороны Тоос. Погребение берет на себя фирма *Бекенстейн*. Кургузый пиджачишко на одном из носильщиков. Очевидно, его подцепили по дороге где-нибудь на скамейке в парке или в каком-то кафе и потащили с собой, невзирая на отговорки, что он-де одет неподобающим образом. К тому же в спешке он застегнулся не на те пуговицы, так что выглядит слегка не в своем уме. Если ему пиджак маловат, то некоторые из его коллег вышагивают в одежде не по росту, с подвернутыми штанинами. Один из них влез во что-то такое, что и вовсе не поймешь что, похоже на грязно-серый комбинезон, из-за чего он совсем уж выпадает из рамок. У главы похоронного заведения, на котором, впрочем, визитка, до того красная физиономия, что ему больше пристало бы присутствовать на свадьбе, чем на похоронах. Словом, кошмар.

Брам Хогерзейл тоже пришел на церковную службу. Передвигается он с трудом, еле волочит ногу.

– Эта штука вгрызлась мне в таз, – шепчет он мне. И продолжает, окидывая оценивающим взглядом представителей фирмы *Бекенстейн*. – Не хотел бы, чтобы они меня хоронили. Да-да, прими к сведению. Хочется выдержать в стиле свой последний выход, – говорит он со злостью.

Спрашиваю, пойдет ли он после мессы на кладбище.

– Нет, хорошенького понемножку. У меня такое чувство, что я на генеральной репетиции.

Он не скрывает горечи. Ван Йеперену, который взволнованно пожимает ему руку, он говорит:

– Ну вот и встретились на похоронах, а ведь я не умер.

Ван Йеперен просто онемел, когда такое услышал.

В словах Брама звучит вопрос: почему никто из вас мне не поможет? Но попробуй сказать ему что-нибудь приятное, и он на тебя тут же набросится.

Звучит сильно укороченная григорианская месса. Опять без *Dies irae*. Всё скомкано. Люди продолжают просачиваться в часовню, вплоть до момента, когда уже приступают к *Agnus Dei*<sup>[74]</sup>. Эссефелд начинает проповедь довольно самонадеянно: он обозначит и выстроит по ранжиру все наши сомнения. Вечная Жизнь. Что это такое? Откуда мы о ней знаем? Никто ведь не возвращался обратно. Может быть, это сказки?

Он делает паузу. Мы все смотрим на него в ожидании, и в наступившей тишине кажется, словно ему вдруг открылось, что он не просто сможет выдернуть всего лишь несколько малоприметных ворсинок, но бесхитростно потянет за ту нить, которая угрожает распустить всё вязанье. Без какой-либо связи с предыдущим он возглашает, что искать Бога нужно не на небесах, а в самих себе и что совершенно невозможно представить, что вся любовь, которую Тоос давала и получала, теперь навсегда исчезнет. «Этого не может быть, дорогие мои!» – восклицает он угрожающе. Сроду не видел, чтобы реальные факты можно было отпугнуть такого рода угрозами, и уж во всяком случае не Безносого, когда он замахнулся косой.

Во время разрешительной молитвы он проходит вплотную ко мне, и от него снова несет перегаром, к алкоголю примешивается запах ладана. С какого горя он пьет? Он настолько завладел моими мыслями, что брызги святой воды, которой он окропляет гроб, представляются мне слезами, и впервые за много лет я молюсь: «О Боже, пожалуйста, будь, и сделай хоть что-нибудь для Эссефелда».

Позже, когда я захожу к ван де Бергу, он сразу же показывает мне письмо от своего брата. Это пространное сочинение, написанное после того, как тот узнал о желании Шарля «наложить на себя руки». Письмо

пестрит омерзительными выражениями такого калибра, который, насколько возможно, обрисовывает эту ситуацию как отталкивающую. «Всё дело в том, что Господь не напрасно посылает нам жизненные испытания, и мы не должны уклоняться от таковых испытаний, ибо они даются нам для нашего совершенствования. Если бы всем нам удавалось по возможности уклоняться от множества ударов судьбы, это не привело бы к успеху, ибо мы всё равно нуждаемся в Божественном очищении, и нам не подобает препятствовать Господу, посылающему нам испытания. Господь питает чад своих также и голодом. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его<sup>[75]</sup>. Мы должны лобызать розгу, коей Господь желает пороть нас». Подписано: Маартен.

Прочитав про розгу, не могу удержаться от смеха. Ван де Берг не смеется.

– Вам никогда не приходилось читать что-нибудь Герарда ван хет Реве?<sup>[76]</sup> – спрашиваю я. Он смотрит на меня с недоумением и печатает «нет». Ну и бог с ним.

– Посеял ли ваш брат у вас сомнения в решении умереть? – спрашиваю я.

Он печатает: «Да».

Я уже и раньше испытывал некоторое беспокойство, глядя на его книжную полку, где, помимо Иды Герхардт<sup>[77]</sup> и беллетристики последних десяти лет, стояла книжонка этого Муди<sup>[78]</sup>, где говорится, что при наркозе и в околосмертном состоянии человек выходит из своего тела, устремляясь в темный туннель, в конце которого ему подает знак некто, похожий на ангела. Одна из тех сомнительных книжек, полных приправленных астрологией текстов, иллюстрируемых видениями и поразительно напоминающих снабженные картинками католические молитвы пятидесятых годов. Поскольку я понимал, что в свое последнее пристанище он взял с собой только те книги, которые для него действительно дороги, присутствие здесь этой книжки меня особенно покорило.

А теперь еще и письмо, которое, как бы то ни было, для него – серьезное обстоятельство. Не знаю, что я должен делать с таким мерцающим желанием смерти. Меня это раздражает. Хочет ли он теперь умереть или нет? И если он опять начнет свое «А что, если нам?..».

Меня осеняет идея:

– Знаете, что мы сделаем? Мы спросим Хендрика Терборха, нашего священника. Согласны?

Он плачет, печатает: «да», – и, прощаясь, я беру его влажную дрожащую руку.

Хендрик тотчас же приходит к нему. Разговор он начинает с вопроса:

– Вы верите в Бога? – И они быстро приходят к решению, о котором я, естественно, и мечтать не мог:

– Давайте вместе помолимся и спросим Господа, что вам следует делать.

Нынешняя религия выше моего разумения. Представьте себе, что кто-то говорит на полном серьезе: «Сегодня вечером я задержусь – сначала мне нужно принести жертву Зевсу». Что вы на это скажете? Но строки Гомера всегда прекрасны: «Бог сребролукий, внимли мне: о ты, что, хранящий, обходишь Хризу, священную Киллу и мощно царяшь в Тенедосе... Слезы мои отомсти аргивянам стрелами твоими!»<sup>[79]</sup> И язва поражает лагерь греков: Аполлоновы черные стрелы. Безумно красиво и безумно давно, но попробуйте представить себе, что сегодня кто-нибудь в это верит!

То, во что люди некогда верили, мы рассматриваем ретроспективно, как картины, развешанные ими на стенах. Но былой образ мира не висел тогда на стене подобно картине. Мир прошлого и был в прошлом миром.

Возьмем фрагмент из Плутарха, где описывается эпизод битвы при Платеях (479 до Р. Х.). В этом последнем сражении греко-персидской войны Павсаний был предводителем греков. Перед наступлением принес он жертвы богам, «а так как предзнаменования были неблагоприятны, приказал спартанцам положить щиты к ногам, не трогаться с места и ждать его знака, не оказывая пока неприятелю ни малейшего сопротивления, а сам продолжал приносить жертвы. Меж тем вражеские всадники рванулись вперед; стрелы их уже достигали цели, среди спартанцев были убитые и раненые. Стрела сразила и Калликрата, как рассказывают, самого красивого и самого высокого из греков, и, умирая, он промолвил; „Не смерть меня печалит (для того я и ушел из дома, чтобы отдать жизнь за Грецию), но горько умереть, ни

разу не переведавшись с врагами“. Тягостное то было зрелище, и поразительна выдержка воинов: никто не старался защититься от наступающего противника, но, получая рану за раной и падая в строю, они терпеливо ждали доброго знака от бога и своего полководца»<sup>[80]</sup>.

Так продолжалось некоторое время, и, когда первые воины пали, прорицатель закалывал одно жертвенное животное за другим, с отчаянием «перелистывая» внутренности животных в поисках знака, который сулил бы надежду; знака в виде особого расположения внутренностей или необычного числа печеночных складок, что должно было свидетельствовать об одобрении богов и могло предвещать хороший исход битвы для спартанцев.

Нет, это вовсе не та картина, которую можно было бы повесить на стену. Но если мне не понять, что печень овцы может сообщать нечто важное, мне так же не понять, каким образом ван де Берг может спросить Бога, хорошо ли будет ему свести счеты с жизнью.

Такие вещи я воспринимаю слишком буквально и не прочь был бы получить информацию насчет адреса Бога. Я бы заглянул к Нему, чтобы вслед за ван де Бергом обсудить с Ним кое-какие вопросы. Спрашивать об адресе Бога, конечно, бессмысленно, и эта идея вполне в духе моей нерелигиозности, которую, с точки зрения Яаарсмы, можно сравнить с чем-то вроде немзыкальности.

– Не бойся, – утешает меня Яаарсма, – могила всё равно никуда не уйдет.

– Речь не о могиле, – говорю я, – речь о том, чтобы понять людей, которые рассчитывают через нее перепрыгнуть.

Назавтра мефроу ван де Берг заводит разговор о письме Маартена. В ее глазах это низость:

– Как если бы человек спотыкался и за это ему отрубили бы ногу. Шарль так упорствует в том, что больше не хочет жить, и вот нá тебе, приходит это письмо. И, как назло, от Маартена, вечно он тут как тут...

Она рассказывает, что на свадьбах и праздниках, будучи навеселе, он постоянно приставал к ней, о чем она никогда мужу не говорила, потому что смотрела на это сквозь пальцы и не хотела ронять образ Маартена в глазах его брата.

– Если бы я это сделала, у Маартена письмо застряло бы в глотке. Звучит не слишком любезно, но это именно то, что я думаю. А здесь я уже ничего не могу изменить, пусть поговорит с Богом.

Что касается Его адреса, вот история, которую мне довелось слышать в Африке. В прежние времена существовал мост, который вел от земли к хижине Бога, так что люди могли заглянуть к Нему, дабы обсудить свои нужды. Люди шли и шли. Толчая была несусветная. И до того Ему надоели неурожаи, больные дети, изменившие жены и украденный скот, что Он мост разрушил. С тех пор люди больше не могут к Нему попасть и им приходится пытаться свое счастье, молясь и принося жертвы.

Подобная ситуация с адресом Бога была и у нас. Боги древних греков обитали на Олимпе, в море и под землей, а иудеи даже имели Его при себе в Ковчеге Завета. Конечно, ван хет Реве может утверждать, что Библия выдерживает любые толкования, кроме буквальных, однако «буквальные» толкования мы видим повсюду, и эта буквальная религия мне понятна, пусть она и неверна. Проблема возникает, когда буквальное толкование отбрасывают как бессмыслицу и в действие вступает процесс улетучивания: теология.

Богословы на вопрос «где живет Бог?» отвечают совсем иначе. Например, так: в лице ближнего.

Если сравнить Бога с Дональдом Даком – я не имею в виду ничего дурного, – то можно было бы сказать, что их достоверность, в общем-то, одинакова и утверждение, что первый из них живет в лице каждого, ровно того же уровня, что и утверждение, что второй живет по соседству с миллионами американцев.

Но оба утверждения относятся к типу «запоздалых лукавых высказываний», потому что только в раннем детстве мне действительно нравился Дональд Дак, и только будь я ветхозаветным иудеем, я действительно мог бы приносить жертвы Яхве. Если я хочу приносить жертвы Яхве сегодня, я обрекаю себя на богословское словоблудие или впадаю в мистику или в социологические банальности. Это та сеть, в которой, по-моему, барахтается «нынешняя религия». Но нет, люди говорят, что должны испрашивать совета у Бога. А если бы вам захотелось узнать, каким образом Он им отвечает, они отвергли бы ваш вопрос как недопустимую грубость.

Но что мы скажем, если кто-то задержится сегодня вечером, потому что сначала ему нужно было принести жертву Зевсу?

На следующий день Хендрик говорит мне, что теперь всё в порядке. Он имеет в виду беседу с ван де Бергом.

– Что именно?

– Он принял решение. Теперь он знает, чего хочет.

– И что же Бог на это сказал?

– Антон, прекрати.

– Sorry! – Ну ясно, нынешняя религия.

Но в чём же разница между этим «вопрошать Бога» – и тем «читать» по внутренностям козы, обязанность, которую возлагали на своих жрецов древние греки?

Когда я вхожу в палату ван де Берга, он приветствует меня подобием широкой улыбки, которая больше напоминает гримасу; от волнения он не может печатать.

– Ну что, сомнения позади? – спрашиваю я осторожно.

Я беру его руку, и он слегка тянет меня к себе, будто хочет сказать что-то на ухо, но он целует меня.

– Да, я понимаю, – говорю я.

– Ему хотелось бы завтра вечером, – добавляет его жена.

Впереди беспокойная ночь: то и дело просыпаешься, один сон за другим. Всю ночь шастаю по больнице: передозировка – как нож, зажатый в зубах; постоянно выискиваю огрехи в принятом мною решении. Вижу метровые бумажные полосы с непонятным текстом из вандеберговой машинки, которые по ошибке прочитываю как просьбу об эвтаназии. Но когда я наконец отыскал его и сделал инъекцию, никакого эффекта. Он смотрит на меня выжидающе. Другие присутствующие тоже устремляют на меня свои взгляды. Вижу себя самого, замершего с проклятым шприцем в руке. И делаю укол не ван де Бергу, а Али Блум. Знаю, что перепутали пациентов, но все подбадривают меня. Чувствую, что-то не так. И сын Али Блум это знает. Вижу, как его плечи содрогаются от рыданий.

Когда на следующий день вечером иду в палату ван де Берга, я довольно спокоен. Как раз когда я собираюсь войти, навстречу мне из палаты выходит Терборх, это придает мне уверенности: паники с



Божественной стороны, по крайней мере, можно не опасаться. И всё же я со страхом и с трепетом ступаю на этот висячий мост.

Как только вхожу внутрь, меня энергично приветствует собака, черная, короткошерстная, неопределенной породы, но для меня – настоящий Анубис<sup>[81]</sup>. Я ужасно пугаюсь и не могу удержаться от вопроса: «Он тоже должен быть здесь?» – на что ван де Берг внятно отвечает: «Jazeker»<sup>[82]</sup>.

Сегодня в обед мы с ним условились, что, войдя, я с ним обменяюсь рукопожатием, после чего сразу же введу лекарство, чтобы ни одному из нас не дать повода для слов: «Как поживаете?» – и тем самым пусть даже для короткого разговора, который каждый из нас, может быть, не захочет прервать вопросом, не пора ли уже... – из страха причинить боль другому.

Всё проходит безукоризненно. Сосуды у него хорошие. Вскоре после инъекции одна из чаек, которых Тоос так любила, садится на подоконник, тут же с криком срывается в глубину, снова взмывает вверх и устремляется в даль вечернего неба. Я пытаюсь следовать взглядом за птицей, пока она не растворяется в сумерках. Жена ван де Берга смотрит вместе со мной, а сам он, уже мертвый, сидит между нами. И тогда мы оба поднимаем взгляд вверх.

– Он и вправду исчез вместе с чайкой, – тихо произносит она.

И потом, еще тише:

– О господи, теперь у меня ничего больше нет.

Вместе с сестрой мы укладываем его на кровати. Жена звонит детям, я – окружному врачу. Он прибывает только в половине двенадцатого, на ходу извиняется, хватается за досье и передает меня двум следователям, полноватым мужчинам за тридцать, с животиками, туго обтянутыми сорочкой. Они сердито жуют резинку и курят. Им никак не удается выбрать между вежливостью и грубостью.

– Здесь можно курить? Вы врач, можете подтвердить? Как долго вы знали этого человека? Действительно ли у него была настолько запущенная болезнь Паркинсона? Жена при этом присутствовала? Сколько ей лет? Не могла ли она еще подождать? Мы можем на него посмотреть?

Мы поднимаемся наверх, где они могут его увидеть. Они пожимают плечами и уходят. Завтра мне предстоит писать отчет. Между тем

окружной врач переговорил с прокурором. Тот разрешил выдать тело.  
Эта формулировка всегда чуть-чуть отдает Пилатом<sup>[83]</sup>.

## Тело – не старый автомобиль

От умирающих мы требуем прямолинейности, придерживаться которой продолжающие жить совсем не обязаны. У мефроу Сибел рак груди с метастазами. Она умирает, в курсе всего и открыто об этом говорит.

«Вот и мое последнее лето», – сказала она на прошлой неделе. Хорошо, так и нужно говорить, считает сестра Мике, выражающая явное недовольство, услышав от мефроу Сибел в воскресенье: «Нужно, чтобы доктор поскорее посмотрел мою ногу, потому что если это не пройдет, то как я пойду домой?» «И как она может такое говорить? – восклицает сестра. – Она уже никогда не пойдет домой».

В понедельник от мефроу Сибел мы слышим: «У меня была тяжелая, но прекрасная жизнь», – а во вторник: «Сестра, ради бога, закройте дверь. Здесь ужасный сквозняк, не успеешь оглянуться, как схватишь воспаление легких». Ее озабоченность заставляет меня вспомнить собственную реакцию на дыру в ухе Гёуртсена<sup>[84]</sup>.

Подобная озабоченность обреченных на смерть для тех, кто продолжают жить, кажется странной, потому что они думают: она ведь скоро умрет, не всё ли ей равно, будет у нее воспаление легких или нет? Можно подумать, что умирающий едет в своем собственном теле, как в старом автомобиле, который он вскоре навсегда оставит где-нибудь на обочине. И словно он, прекрасно зная, что его автомобилю скоро конец, хочет всё-таки поменять старые шины на новые.

И часто воспринимают как знак, что всё это не всерьез, если кто-либо, попросив об эвтаназии, тем не менее глотает таблетки или ищет причину возникновения новых болей: стало быть, ясно, что он или она умереть вовсе не хочет. На самом же деле люди никогда не живут устремлением к смерти, разве что в последние несколько минут при самоубийстве. Де Гоoyer рассказывал мне об одном молодом человеке, который приехал на мотоцикле к высокому зданию на севере города, чтобы затем броситься вниз с пятнадцатого этажа. И его поразило, по моему совершенно неоправданно, что этот молодой человек ехал в шлеме.

Чаще всего мы вступаем в смерть, пятась: листая газету, борясь с болью или с удушьем или злясь на непогашенный свет в коридоре.

Наверху меня ждет сын менеера де Йонга. Его отец умер. Как и отец, сын тоже обаятельный человек. Между ними произошло странное недоразумение. Каждый год сын покупал отцу *Библейский календарь*, книжечку, где на каждый день предлагался текст для духовного размышления. Отцу неловко было сказать сыну: «Мальчик мой, оставь эту христианскую возню, мне больше нет до этого дела». Сыну тоже не было до этого дела, но он думал, что этими многолетними жестами сможет положить конец их дискуссии на религиозные темы. Отца смущало, что он вообще не прикасается к этим книжкам, и он как-то спросил меня, не могу ли я забрать их себе.

– Нет-нет, у меня никогда не возникло бы желания в них заглядывать.

– Но всё же лучше, если они будут нечитанные лежать у вас, чем валяться здесь у меня.

И вот год за годом я забирал у него эти книжечки. До последнего времени они всё еще стояли у меня в кабинете, потому что я не решался их выбросить, пока Яаарсма, знавший об их происхождении, не указал мне, что для моих посетителей они станут причиной уже третьего недоразумения.

Сын говорит о смерти как о низвержении во тьму.

– Смерть невозможно себе представить. Как бы нам хотелось жить вечно! Хотя наша собственная судьба, после того как нам исполнится восемьдесят пять или девяносто лет, нас не интересует, но мир, судьба мира нам всё еще интересны.

Он называет несколько вещей, о которых ему было бы любопытно узнать и после своей смерти: дальнейшее развитие России, автомобили, институт брака, космические полеты – «как хотелось бы это знать». Путешествия во времени – заветная наша мечта, думает он, но забвение, вскоре предстоящее непосредственно его отцу, – вот истинное проклятие. И даже не проклятие. Смерть неотвратима. С умершими нельзя ни говорить, ни вновь их увидеть. Невыносимо, что мы совершенно исчезнем. Недавно ему попалась пожелтевшая фотография его дедушки и бабушки. Он почти их не знал. Ясно, что теперь, после того как умер его отец, никто о них никогда больше не

вспомнит. «А их родители? О них вообще никто ничего не знает. Разве это не страшно?»

«Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement» [«Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор»], – говорит Ларошфуко<sup>[85]</sup>.

Сын боится увидеть своего умершего отца, потому что его мать после смерти выглядела ужасно. Я иду первым, и мне кажется, здесь всё в порядке. «Действительно, вы правы, он лежит так хорошо, я вполне могу на него смотреть», – говорит сын, стоя рядом со мной у тела своего отца. Он плачет. «Знаете, отец всегда с такой любовью относился ко мне. И даже теперь он со мной, и мне не так тяжело».

В коридоре вижу Питера Моленаара, нашего физиотерапевта, он занят серьезным делом. «Учит ходить» молодую пациентку Анс ван Беккюм, перенесшую менингит. Она стоит прямо, а он – перед ней на коленях, охватывая рукой ее ягодицы. Там, где либидо не может ходить, ему приходится ползать. Непарализованной рукой она опирается на перила вдоль стены, а лицо Питера находится примерно на высоте ее лона. Чтобы побудить ее идти или, по крайней мере, думать, что она может идти, он передвигает ей ноги, удерживает в равновесии ее таз, держа руку на ее ягодицах, и делает с ней почти кажущийся шаг, упираясь при этом головой в ее лono. Мике бросает беглый взгляд на всю эту сцену и заключает:

– По-моему, он от этого просто балдеет.

Но Питер полагает: это же у всех на виду, никто ничего не подумает – да и что тут такого, – и взгляд его серьезен и сосредоточен.

## Инсульт

У мефроу Тен Кате после тяжелого инсульта серьезное поражение мозга. Сегодня утром она схватила меня за рубашку и затряслась от смеха. И снова схватила и опять засмеялась. В таких случаях обычно тоже смеешься. Пытаясь отыскать хоть какой-нибудь смысл в ее поведении, я подумал, что этой насмешкой она хотела указать мне на странность моей одежды: старомодной сорочки с пристегивающимся воротником, которую я, конечно, ношу и без воротничка и без манжет. В ее глазах я выгляжу этаким господином прежних времен, который неизвестно зачем выскочил на улицу во время бритья. Впрочем, маловероятно, чтобы что-либо связанное могло возникнуть в ее полуразрушенных мозговых полушариях.

Муж неизменно приходит к ней на час два раза в неделю. На его поцелуй она не реагирует, но его руку не отпускает. Он рассказал мне, что после инсульта она единственный раз выговорила более или менее членораздельно слова, которые можно было понять как «печальная история».

В свое время он принимал участие в процедуре передачи суверенитета Нидерландской Индии. Он улаживал какие-то детали вместе с политиками KVP (Католической народной партии). На ее тумбочке стоит фотография, где он вместе с другими важными персонами, и со школьным портфелем в руке, спускается по трапу с самолета. Этот портфель он носит до сих пор.

Мне казалось, что она никогда уже не сможет заговорить, пока не услышал недавно, как с ней возится сын ее соседки по палате. Этот мужчина под шестьдесят, очевидно не обремененный общественными обязанностями в виде профессии, жены, друзей, ребенка или собаки, сидит каждый день около десяти утра в комнате ожидания со своей матерью и тремя другими наполовину парализованными бедолагами и старается разговаривать с ними. Страна слепых...

– Давай, Каатье, чуть-чуть посчитаем.

Она смеется, и непонятные слезы текут у нее по щекам.

– Ну давай, девочка, давай, Каатье, – тоном, словно он хочет покормить уток.

– Ну давай, ну-ка скажи: «десять», ну скажи: «девять».

Она бормочет что-то похожее на «восемь», и вся компания визжит от восторга; при этом сама она тихо плачет.

Подготовиться к инсульту нельзя. В 9 часов звонишь дочери в Арнем, а в 10 минут десятого лежишь на дне невообразимо глубокой ямы, абсолютно не понимая, как можно было там очутиться. Некоторым нужны годы, чтобы составить себе картину из стен, между которыми они оказались. Другие не идут дальше осознания того, что лежат в очень глубокой яме. Конечно, есть и такие, которым удается выкарабкаться. Но у нас в Де Лифдеберге таких не встретишь.

Апоплексический удар, ишемическая атака, мозговое кровоотечение, инфаркт мозга – картина заболевания самая ужасная из всего, что я знаю. Существуют, однако, *per definitionem*<sup>[86]</sup> заблуждения относительно нее, прежде всего у самой жертвы. Я говорю «*per definitionem*», потому что картина этой болезни плохо поддается описанию. Наиболее заметны возможные паралитические явления: искривление рта, искажение речи, затрудненная походка, если пациент вообще оказывается способен ходить. Собственно, это самые незначительные поражения, которые могут возникнуть в подобных случаях. Наиболее серьезная сторона инсульта – искажение восприятия мира.

Попробую привести (слишком) конкретный пример подобного искажения. Представьте себе, что ночью, пока вы спали, вашу голову совершенно безболезненно отделили от туловища и затем, оставив почти незаметный шрам, снова задом наперед приставили к туловищу, так, что, глядя вниз, вы ниже подбородка будете видеть декольте между собственными ягодицами. И что вы сможете делать в такой ситуации? Подумать хотя бы о том, чтобы пойти в ресторан, отправиться в кино, в театр, на день рождения, на похороны, приласкать ребенка, почитать книгу, выбрать программу по телевизору, поесть, попить, пописать, покакать, заняться любовью, что-нибудь себе приготовить, пойти погулять, написать письмо, с кем-нибудь поболтать, поспорить, принять гостей, купить одежду, написать письмо, позвонить по телефону, вообще ходить, кого-либо поцеловать, ездить на велосипеде, вести машину. Всё это невозможно.

И такое может случиться совершенно внезапно. Утром просыпаешься, укрытый с головой одеялом. В первый момент кажется,

что твоя голова покоится на груди у жены. Именно *покоится*, потому что ты никогда не спишь в таком положении. Как не вспомнить тут Грегора Замзу?<sup>[87]</sup> И на сей раз по праву, ведь этого беднягу к чему только не притягивают, так что и в слишком длинной очереди к какому-нибудь ведомственному окошку, как полагают, кроется что-то кафкианское.

Я не очень складно об этом рассказываю, потому что описываю странное ощущение, но речь идет именно об очень странном переживании. Если у кого-то голова находится ниже спины, но при этом он сохраняет способность перерабатывать всю поступающую информацию о внешнем мире, то такая проблема несколько не схожа с проблемой пациента с инсультом, потому что, хотя у него голова находится там, где ей положено, из той информации, которая ему предлагается, он совершенно не в состоянии составить связную картину. Видя пациентов, перенесших инсульт, понимаешь, сколь поспешно мы рисуем себе некую картину мира, основываясь на информации, забрасываемой к нам через «врата восприятия».

Йооп Буххотен был первым пациентом, на примере которого мне стало ясно, что я совершенно не понимаю, что такое инсульт. Он ужасно любил сельдь. Однажды его тесть с возмущением пожаловался мне:

– Больше я не приношу ему рыбы. Всё равно он съедает только половину.

И только через несколько дней я понял, в чём дело. Мике разрешила ему на кусочки банан и поставила перед ним тарелку. Он съел только левую половину, потому что правой стороны он не видел. То же самое было и с селедкой, которую его тесть любовно разрезал ему на маленькие кусочки. Если бы тарелку повернули так, чтобы стороны поменялись местами, он бы съел всё, что там было.

Мне не понятно, каким Йооп видит мир. Я не мог бы составить цельную картину и сказать: смотрите, вот как он всё это видит. Слепоту в половине поля зрения (гемианопсию) при инсульте нельзя сравнивать с тем, что будет, если прикрыть одно из стекол очков у здорового человека, ибо в этом случае человек замечает, что чего-то недостает. Итак, вроде бы можно сказать: посмотри же как следует! Но Йооп, с его гемианопсией, не замечает, что ему чего-то недостает. Его



поле зрения по-прежнему не имеет границ. То, что он видит, нельзя представлять как картину, наполовину закрытую черным.

Де Гоoyer возражает, что мир человека с нормальным зрением тоже нельзя вообразить, «потому что ведь и для нашего зрения нет рамок». Тут не с чем спорить, но невозможность представить себе мир человека с гемианопсией не исчезает.

И не забудьте, я говорил только о том, как такой человек видит банан или селедку, а что это значит в отношении лица, тела, книжной строки или вещей, лежащих на полках платяного шкафа, вообще невозможно представить. Паралич в сравнении с этим вообще не проблема.

В полдень выхожу прогуляться к близлежащему кладбищу. На одном из надгробий читаю:

**Макс**

**4-9-1948 12-2-1972**

**Он беззащитен был, сгорел на собственном огне**

Надпись почти не разобрать. Ступаю на надгробие, чтобы разглядеть заросшие мхом буквы. Вообще-то, не следовало бы наступать на надгробие. Внезапно вздрагиваю в испуге, когда прямо над собой слышу какое-то шуршание. Две белки играют друг с другом.

Чуть дальше, в углу кладбища, вижу детскую могилку. Раньше она никогда мне не попадалась.

**Нашему дорогому Хилоо**

**1945-1946**

**Мы хотели вырастить цветочек**

## Теперь он в саду у Господа

Настоящее детское надгробие, узенькое, с небольшим камнем у изголовья. Мне это кажется отвратительным, притом что я ведь просто хотел хоть немного насладиться наступающей осенью.

Вернувшись, встречаю Яаарсму:

– Где был?

– На кладбище, – бормочу я.

– Ага, теперь ты, по крайней мере, знаешь, ради чего стараешься.

Чуть позже знакомлюсь с мефроу Линдебоом, статной дамой 96 лет, вдовой нотариуса. Она сообщает, что декальцинация костей у нее – отдаленные последствия пребывания в японском лагере для интернированных; с 1930 по 1946 год она жила в Нидерландской Индии.

Осторожно выражаю сомнение: хотя мне и доводилось слышать разные мнения относительно нарушения костного обмена веществ, но заключение в японском лагере как причина такого явления – это что-то новое.

– Вам ведь неизвестно, молодой человек, что там нам не давали еды, – парирует она.

– Если бы вам действительно не давали еды, вы бы продержались не больше шести недель, а сколько времени вы провели там, позвольте спросить?

Оказывается, три года.

– Выходит, всё-таки вас там кормили.

Я невольно преуменьшил серьезность пребывания в японских лагерях, потому что тогда вроде бы напрашивается вывод: там было, пожалуй, не так уж и плохо. Разумеется, я не имел и не мог иметь в виду ничего подобного.

Пытаюсь оставить в покое концлагерь и перейти на другую, более нейтральную, тему:

– Вы позвольте мне высказаться в самом общем виде о том, как отражаются исторические события в книгах по истории и в мыслях людей, которые при этом присутствовали?

– А кто вам мешает?

Звучит не слишком обнадеживающе.

– Бомбардировка Роттердама унесла примерно двадцать тысяч жизней, всегда говорила мне моя тетя. Она жила в Схидаме<sup>[88]</sup>. На самом деле погибло семьсот человек, может быть девятьсот, но уж никак не двадцать тысяч. И тогда выходит, что историк, в данном случае Лу де Йонг<sup>[89]</sup>, мог бы сказать, что бомбардировка Роттердама была, собственно говоря, не столь ужасной. Но он не имеет в виду ничего подобного. И всё же он не говорит ни о каких двадцати тысячах.

– Девятьсот человек – во всяком случае, как мне кажется, оценка слишком заниженная, – говорит она резко.

– Ну хорошо, – прерываю я, – давайте вернемся к Нидерландской Индии. Рюди Коусбрук<sup>[90]</sup> написал книгу о различных аспектах жизни интернированных в Японии, и...

– А говорит ли он хоть что-нибудь о костной декальцинации в лагерях? – коварно спрашивает она.

– Да нет же, разумеется нет, но в своей книге он старается вместо вымышленных пресловутых двадцати тысяч установить реальные девятьсот или семьсот, отнюдь не предполагая при этом, что всё было вовсе не так уж плохо.

Что касается лагерей на территории Ост-Индии, объясняю я осторожно, Коусбрук даже пытается выяснить, почему число 20 000 вообще могло появиться на свет.

– Но этот менеер Коусбрук, могу вас уверить, в то время еще под стол пешком ходил, – поясняет она пренебрежительным жестом, показывая его рост: сантиметров сорок от пола, – и о жизни в лагере едва ли может помнить хоть что-нибудь, имеющее значение для истории. А если вернуться к моему состоянию, эти толстые ноги, так и оставшиеся со времен интернирования, – и этого вы у меня не отнимите, – точно прошли японский лагерь, где мы пухли от голода.

Вечером отправляюсь проведать Брама Хогерзейла. Утративший новизну квартал на южной окраине города. Словно въезжаешь на велосипеде темным влажным октябрьским вечером в гигантский мавзолей. Внутри всё выглядит безупречно. Светлый интерьер, ни пылинки, ни соринки. Пожалуйста, не курить. Как-то всё зашнуровано,

точь-в-точь его дождевик, который он всегда застегивает до самого верха.

Он сидит только на одной ягодице. Эта тварь, объясняет он, вцепилась ему в другую. Он всякий раз с укором отзывается о своей стоме<sup>[91]</sup>, если неподконтрольные газы вырываются оттуда сквозь его безупречный серый костюм. Говоря словами Пруста, одной ногой он стоит в могиле<sup>[92]</sup>. Двигается он ловко, как всегда, но лишь временами. Видно, что он смертельно устал.

Он рассказывает о своей единственной в жизни любви.

– Молодой индеец<sup>[93]</sup>. Я был тогда машинистом на торговом судне. Пятидесятые годы. То, каким я был, тогда было опасно, в те годы.

Сначала я даже не понял, что он имеет в виду. Постепенно до меня дошло, что он говорит о своем гомосексуализме: «То, каким я был».

Спрашиваю, неужели он никогда не говорил об этом со своими братьями или сестрами. Они все семеро о нем очень заботятся и даже составили расписание, чтобы по вечерам не оставлять его одного.

– Признаться им, что я педик?

Он почти выплевывает это слово. Пожалуй, мы не будем об этом. Тема быстро меняется.

Он больше не ходит в церковь. «Я вижу ее по телевизору».

К счастью, у него есть одно желание: новый музыкальный центр. Он уже несколько недель просматривает рекламные брошюры и проспекты и примерно знает, чего он хочет.

– Если я это переживу, куплю его обязательно, – говорит он, но я тут же парирую:

– Да сразу же и покупай, а потом и будешь думать, переживешь или не переживешь.

Неизвестно, подозревает ли Брам, что в моем посещении слышится звук погребального колокола. Будь у него грипп, я бы не сидел здесь. После большого куска кекса, довольно крепкого кофе и наскоро пропущенных двух стаканчиков у меня начинается жуткая изжога, и я более или менее вскорости убегаю домой.

## Рождество без Бога

В лифте перебрасываюсь несколькими словами с Вилмой. Знаю, что она уже давно носит с неосуществленным желанием иметь ребенка. Ей предстоит обследование на фертильность, и она говорит, что проводит лечение гормонами, в течение которого желательно предохраняться. «Как будто я могу забеременеть от Дика, с его соплями!» Нет, от этого, пожалуй, не может.

В музее Лейдена я видел великолепный римский шлем. Золотой... ну, скажем, серебряный с позолотой. Мечта подростка. Был найден в Дёрне<sup>[94]</sup>, датируется 319 годом и, вероятно, принадлежал римскому центуриону, который утонул там в болоте. Взбудораженный, рассказываю об этом Де Гоoyerу. Он перебивает:

- А нашли вместе с черепом?
- Странный вопрос, тебе не кажется? – спрашиваю я Яаарсму.
- Да, собственно. Впрочем, это, конечно, к делу не относится, но у меня есть для тебя еще один череп.

У Яаарсмы в кабинете уже не один год стоит череп. И с чего это он вдруг решил от него избавиться?

- Да вот на прошлой неделе мне кто-то сказал, что это детский череп, – объясняет он. – Я совсем не против держать *memento mori*<sup>[95]</sup> у себя в кабинете, но такое? Нет, лучше не надо.

Теперь, после того как он это сказал, и я вижу, что это череп ребенка. Мне он тоже не нужен.

- А давай отдадим его Де Гоoyerу, – предлагает Яаарсма, – с запиской: «Привет из Дёрне, шлем следует».

Жюль Беккинг, который у нас почти уже шесть недель, похоже, относится к тем большим СПИДом, которые угасают чрезвычайно медленно. Такой пациент лежит целый день в постели, много курит, ничего не ест, со скукой просматривает газетные новости; хотя и говорит «Доброе утро!», когда к немуходишь, но разговор не заводит, сам никогда не касается никакой новой темы и в конце концов предстает каким-то неясным контуром, словно лодка в тумане. Но

когда поздним утром я захожу к нему, где-то в нем явно загорается лампочка. На вопрос, как он себя чувствует, говорит, что больше не может и что хочет умереть.

– Ты застал меня врасплох, – говорю я.

Он продолжает:

– От смерти я ничего не жду, но «ничего» в тысячу раз лучше, чем это. Здесь я всё больше превращаюсь в животное. Днем и ночью течет из задницы. И потом, посмотри на меня. Ведь я выгляжу отвратительно, просто отвратительно. Больше не могу ни сидеть, ни лежать, всё болит. Сил больше нет. Если бы тогда в больнице моя сестра не велела отсоединить меня от опиумного насоса, я давно уже был бы мертв, но тогда, думаю, она бы с этим не справилась.

Спрашиваю, не лучше ли подождать, пока сделают переливание крови?

– Нет, всё это полумеры, у вас же действительно помочь мне не могут.

– Ну да, если под действительной помощью ты понимаешь...

Но у меня нет никаких шансов закончить фразу.

– Антон, ради бога, брось ты этот глупый фальшивый тон.

– Sorry, просто меня занесло.

– Что занесло?

– Моя профессия, мое призвание, моя оплата, мой страх смерти, но не думаю, чтобы то, что сейчас преследует меня по пятам, было бы тебе интересно.

На следующий день у моей двери стоит Феннеян, сестра-близнец Жюля. Решительная женщина, с прямоугольной головой, небольшого роста, коренастая, в платье из шотландки. Она и вправду имеет дело с лошадьми. Грубоватая, но чувствуется, к брату относится с нежностью. Прямо помешана на нем.

Вчера она узнала, что Жюль высказал желание умереть. Он позвонил ей сразу же после нашего разговора. Это потрясло ее до глубины души. Это выше ее понимания. Что касается морфинного инфузионного насоса, по ее словам, всё было как раз наоборот. По ее версии, именно Жюль не захотел больше никакого морфина, потому что решил, что может от этого умереть.

Медицинская сторона этого ей тоже недоступна. Понимаю ее удивление от всей этой медицины. Постюма, врач из больницы Хет

Феем, вокруг которого, когда он появляется здесь, всё так и начинает бурлить, высказался об этом в прошлый понедельник: «... и тогда мы снова сделаем переливание крови, теперь действительно необходимое, мы больше не можем его откладывать, и ты действительно почувствуешь себя лучше. Видишь ли, тогда как раз пора будет снова взвесить возможность применить цитостатики против очагов Капоши<sup>[96]</sup>, да, об этом действительно стоит подумать». Постюма при разработке подобных планов радостно потирает руки, рождая у пациентов чувство, что мы и впрямь обтяпаем это дело.

– Такие вещи не говорят, когда всё пропало, – считает Феннеян, – ведь такого не говорят, когда уже нет никакой надежды и от этого ему может быть только хуже? Думаю, они же не станут его лечить, если это бессмысленно?

Настолько обезоруживающее высказывание, что я чуть было не рассмеялся, но она произносит это без всякой иронии.

Они же не станут его лечить, если это бессмысленно? Это похоже на аргументацию: «Мы же не стали бы праздновать Рождество, если бы Бога не было?»

– Я так надеялась, что он всё-таки еще встретит весну, – продолжает она. – Наверное, вы думаете, что весной я скажу: неужели он не может подождать до осени? Нет, не скажу. Но чтобы он умер сейчас, это жестоко. Мне так страшно.

Они же не станут его лечить, если это бессмысленно? Я всё время пережевываю эту фразу. Студенты-интерны охотно фантазируют насчет Постюмы, которого они называют Тошнытиком. Увидеть бы однажды, как он самодовольно потирает руки на кладбище и, стоя у могилы одного из своих пациентов, бормочет себе под нос: «А опухоль всё же уменьшилась».

Говорят, что участок на кладбище, где лежат его пациенты, светится ночью: такую дозу облучения получили эти несчастные, пока не умерли. И всё это в безнадежной борьбе с раком.

Два дня спустя Феннеян снова пришла ко мне. Она хочет, чтобы я дал ясно понять Жюлю, что он должен еще немного потерпеть. Вот почему. «После того как он мне рассказал, я уже не знаю, что мне ему сказать. Мне *нечего* ему сказать. Я не могу уже больше говорить с ним об этом».

Пустую будничную рутину, все эти банальные мелочи, которыми целый день мы докучаем друг другу, проглатывает черная дыра его желания смерти. Феннеян чувствует, что ничего не может этому противопоставить, ничего, что неминуемо не показалось бы смехотворным перед холодным дыханием его стремления к смерти.

– Вижу вот, например, букет цветов у него на тумбочке, там уже мало воды, вчера их купила, стоили семнадцать пятьдесят думаю, и боюсь встать и подлить воды, потому что выходит, что я, значит, не уважаю его желание умереть.

Она чувствует себя так, как если бы прямо перед кремацией стала надоедать, что у покойника плохо повязан галстук.

Убеждаю ее не оставлять без внимания ни цветы, ни галстук, потому что Жюль еще жив. Но ведь не может же она около него сидеть молча? Или – оставим цветы в покое – говорить только о том, что Реве называет «Последние Вещи»?<sup>[97]</sup>

– Но тяжелее всего то, что я так хотела бы еще много чего вместе с ним сделать, а он говорит: только не сейчас. И говорит так не потому, что не может именно в эти выходные, но потому, что не сможет уже никогда. Он просто говорит: ах, оставь. Я этого не понимаю, потому что он ведь так хотел жить, когда попал в эту больницу.

Она опять рассказывает о морфинном насосе. Когда она разъяснила Жюлю, что он может из-за этого умереть, он тут же захотел от него избавиться, и дозу морфина стали медленно сокращать. Я уже не пытаюсь вникать в детали того, как такие вещи в точности происходили, сколь бы драматичными они ни были бы, потому что всё равно никогда ничего толком не выяснишь.

Сегодня разговаривал и с матерью Жюля. Маленькая женщина, несколько азиатского типа. Довольно нервная и сначала, когда говорит, будто клацает зубами, и моргает, словно ей глаза слепит солнце. После чашечки чаю дело идет чуть лучше. Ее мужа давно нет в живых. В Де Лифдеберг ее привез сын Эрнст, менее удачная версия Жюля: в этом варианте уже покрывшийся слоем жира, который мало-помалу нависает на многих тридцатилетних, если они курят, едят и пьют, не зная меры. Инертный малый с насупленным взглядом.

Она уверяет меня, что Эрнст «уже давно слишком переутомляется». К счастью, говорит он мало. Но что касается желания Жюля свести



счета с жизнью, он говорит: «Да, мы сыты по горло, сыты по горло, могу вам сказать. Поэтому, что касается нас...».

Фразу он не оканчивает.

– Да, так что же касается вас? Не доведете ли вы свою мысль до конца? – спрашиваю я в раздражении.

Он идет на попятную:

– Нет, пусть мама скажет.

Мать рассказывает о тягостном открытии Жюля своей гомосексуальности. Она говорит о «гомофилии». Это слово всегда связывается у меня с представлением о стерильном пинцете, которым решаются коснуться чего-то очень противного. Она показывает мне фотографию 1955 года: яблоневый сад весной, стоят Жюль с Феннеян, рядом их первая лошадь с жеребенком. Мне нелегко видеть подобные фотографии, на этой стадии. Разве это не то же самое, что сыпать соль на рану?

– Несмотря ни на что, мы были ему хорошими родителями, – говорит она.

Вежливо слушаю. Что тут можно сказать? Она еще раз придет к нему, чтобы уже совсем попрощаться. К счастью, Эрнст не придет: «Точно знаю, что я этого не перенесу».

Мы договариваемся, что я не буду ставить ее в известность о времени смерти сына. Не могу не думать о том, что всё выглядело бы иначе, если бы Жюль был гетеросексуалом и болел лейкемией. Разве это не печально? Не отвратительно?

Ночью мне снится, что я должен бесконечно возиться с ВИЧ-инфицированными пациентами, сплошь покрытыми фистулами и трещинами, из которых постоянно что-то сочится, и мои руки изранены, и я нигде не могу найти перчаток. Но несмотря ни на что, приходится продолжать работу.

В три часа снова иду к нему. Довольно странно, но Жюль совершенно спокоен. Говорит очень мало. Заставляю себя произнести убедительный монолог о смерти, собственном выборе, успокоении, СПИДе, Феннеян, Постюме, матери и что «сегодня вечером, пожалуй, пора». Когда я заканчиваю и, умолкнув, прошу его мне ответить, он, после долгой паузы, вдруг произносит: «Да» – с настойчивостью,

которая, казалось бы, никак не связана со всем предыдущим. «Что „да“?» – хочется мне спросить, но я не делаю этого. Он болен ужасно.

Мы договорились, что Феннеян вечером будет при этом присутствовать. В полвосьмого мы оба входим в его палату. Снова овладевает мною страх перед свинцовой тяжестью минут в интервале между моим приходом с ядом и моментом, когда умирающий лишится сознания. Вряд ли когда-нибудь научусь переносить эту мертвую пустоту.

Не в силах унять дрожь, еще раз объясняю Жюлю, что́ мы будем делать. Наливаю жидкость в стакан. Я отрепетировал, что́ скажу.

– Жюль, ты готов?

– Да.

– Дать тебе руку?

– Дай, – говорит он, к моему удивлению.

Значит, он действительно этого хочет. Испытываемое мною облегчение означает, что до самой последней минуты я всё еще сомневался.

Феннеян поддерживает его, пока он пьет.

Между двумя глотками он опять говорит:

– Спасибо вам за всё, что вы для меня сделали.

И, выпив стакан до половины:

– Вы мне потом вытрете губы?

Жидкость действительно слегка клейкая. Это его последние слова. Через пять минут он уже мертв.

Феннеян садится на постель и кладет его голову себе на колени. Я всё больше прихожу в ужас от бесконечных мук, которые он перенес. Словно только теперь, уже после его смерти, могу наконец хорошо разглядеть следы, которые оставила на его теле борьба с ангелом тьмы. Никогда еще не подступал я буквально вплотную к столь непомерным страданиям. Тело его превратилось в прах, так оно и пахло. Волосы ломкие, тысячами толстых синюшных гусениц ползли по нему узлы саркомы Капоши; голова Жюля с впалыми глазами, веки, бугорчатые, из-за чего мы не смогли их закрыть; странные, болезненные наросты на ступнях и неопикуемый запах, смесь мужского лосьона, съедобной упаковки и жидкого стула. Феннеян оплакивает эти чудовищные останки.

Позже, когда мы не без кривой усмешки стали искать друг у друга, во что бы его одеть для кремации, мы никак не могли найти обуви.

– А что, – недоумевают Феннеян, – без обуви не положено?

– Ну, – говорит Мике, – может, и не так глупо, если он в своих чулках подойдет к святому Петру: понадобится, так прошмыгнет мимо него.

Что касается моего облегчения из-за уверенности, что он действительно хотел умереть, можно было бы сказать, что здесь я здорово запоздал. Действительно, моей самой большой заботой остается пациент, который в самый последний момент скажет: вообще-то, я не уверен. Мике поведала мне такую историю. Это произошло год назад. Мать одной ее подруги была при смерти. Рак кишечника, метастазы в печени. Приняли решение об окончании жизни, но она становилась чем дальше, тем всё более непокладистой. Вечером, в день ее смерти, она сама открыла дверь перед врачом.

– Господи, вы ко мне? – была ее первая реакция. Потом память ее прояснилась, и она приняла свою дозу. Хорошо, всё уже позади. Врач прощается и в дверях говорит дочери:

– Ведь ваша мать хотела этого, разве не так?

На следующее утро просыпаюсь с легкой головной болью. Жюль не отпускает меня, я всё еще чувствую его запах. Чудовищные смертные муки. Никогда еще не встречал такого страдальца.

В полдесятого головная боль заставляет меня вновь лечь в постель, и весь день, до половины седьмого, борюсь с ужасной мигренью, какой у меня не бывало уже долгие годы. Такая головная боль превращается в монстра, который набрасывается на тебя и которого пытаешься стряхнуть с себя осторожными движениями головы и шеи. При малейшем неверном движении его хватка становится крепче, и думаешь только о том, как избавиться, как отвлечься от этой головной боли, иначе она раздавит тебя.

И вдобавок ко всему этому неукротимые позывы к рвоте (так называемая *центральная рвота*, при пустом желудке, когда выделяется только немного слизи). Позывы неизбежно сопровождаются произвольными мышечными движениями, и монстр радостно использует нечаянно выпавший шанс, чтобы с яростью отвоевать утраченные позиции. Обессилен от рвоты, падаешь навзничь и вновь

начинаешь сражаться со своим монстром, раз за разом выдирая из себя его когти.

В такой день всё время клонит ко сну, но залезть под одеяло мешает страх оставить монстра без присмотра на капитанском мостике – тогда всё пропало. Подавленный, истерзанный, то и дело пробуждаешься после коротких дурных снов, уродливых продолжений того, что вертелось у тебя в голове перед тем, как ты задремал...

...Профессор Вагемакер приглашает меня последовать за ним внутрь мозга. Осторожно обходя аксоны, сотнями лежащие на полу, мы вступаем в нейрон. Внушительный вестибюль, медная подставка для зонтиков. Мы уже готовы пройти через матовую стеклянную дверь в белый мраморный коридор, как вдруг решительным взглядом он указывает мне на подставку для зонтиков, на дне которой сидит толстый зеленый сверкающий жук – вирус СПИДа! «Мы видим здесь, – поучает он, – катастрофу en négligé, тирана, дремлющего на троне». Мгновенно увеличивающийся в размерах монстр, разбуженный нашими словами, приходит в движение.

В полседьмого встаю и бреду, избегая лишних движений, в душ, потому что монстр подстерегает повсюду и чуть что готов наброситься снова. Бред, но если наконец головная боль отступает, возникает отрадное чувство, что ты смог вырваться из этих тисков.словно сам разжимал хват за хватом, чтобы дышалось всё легче и легче и, наконец, настолько легко, что отважился встать и пойти под душ. Иногда этому дают название *головная боль расслабления*.

На следующий день звонит мать Жюля. Она рассказывает о последней встрече с сыном, во второй половине дня, уже после разговора со мной. Среди прочего он сказал ей: «Хорошо, что это случилось со мной, а не с Феннеян». На ее вопрос, что он имеет в виду, он ответил: «Мама, Феннеян с такой болезнью ни за что бы не справилась».

«Я думаю, это ужасно, когда так говорят; я и не знала, что он стал таким поразительным человеком. Только подумать, а я ведь его стыдилась».

Ваш сын был героем, сударыня. Я этого не сказал. Ее и так мучили угрызения совести.

## Смерть есть смерть

Херман, племянник Грета ван Фелзен, просит меня достать тенорбил, лекарство, о котором я никогда не слышал. Это для его подруги в Польше. Полистав справочники, обнаруживаю, что речь идет о средстве против варикозного расширения вен. Обычная ежедневная доза стоит 3,50 гульдена. Вроде немного, но это составит 24,50 в неделю, сотню в месяц и более 1200 гульденов в год. Самое милое в этом лекарстве, что ни одна собака не знает, сколько времени вам предстоит его глотать. Вероятно, всю жизнь, потому что пока у вас есть вены, им будет грозить расширение. Если же и при приеме этих таблеток продолжится расширение вен, то и тогда можно не унывать, потому что – кто знает? – а вдруг без этого было бы еще хуже.

«Начнем сначала, – обращаюсь я к Херману, – таблеток против расширения вен не существует, так же как не существует музыки против выпадения волос. Хотя вполне могу себе представить, что от какой-то музыки, скажем, игры оркестра из аккордеонов, кто-то и впрямь облысеет». Херман смотрит на меня, явно чувствуя себя оскорбленным. Люди редко испытывают облегчение, если их лишают иллюзий. И всё же пытаюсь показать, что, пожалуй, не шлюха, а врач является древнейшей профессией. С тех пор как существует человек, существует надежда, и существует торговля этим товаром. Врач или жрец самонадеянно взяли на себя эту работу. Я совсем не намерен дать здесь слово циникам, к каковым себя вовсе не отношу. Я зарабатываю себе на хлеб этой профессией и подлинным циником был бы лишь в том случае, если бы стал утверждать, что вообще всё в ней бессмыслица.

Но конечно, в ней провозглашается бездна бессмыслицы, и различать это особенно трудно тем, кто сами заняты в этой профессии и лихо гарцуют на лошади, которой почему-то не оказывается под рукой именно тогда, когда нужно более тщательно вникнуть в суть товара под названием *здравоохранение*.

«Вся эта неразбериха возникает потому, что клиент с удовольствием дает себя одурачить», – говорю я Херману. Особенность *надежды* как товара состоит в том, что продавец, как только он объявил, что имеет ее в наличии, сразу начинает требовать деньги. И хотя покупателю

придется затем ползти назад по сточной трубе, пока где-то в конце пути он не наткнется на табличку с надписью «Надежда», он проделает это с удовольствием. Помните, что было написано на воротах Дантова Ада? – «Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate»<sup>[98]</sup>.

Или, как говорит Ларошфуко: «L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable»<sup>[99]</sup>.

Множество терапий идут по chemin agréable [приятной тропе], будучи при этом toute trompeuse [обманчивыми]. Проблема врача (или, лучше сказать, должна была бы ею быть, ибо многие медики этим не утруждаются) в том, что, прописывая лекарство, он хотел бы основываться на биохимии, тогда как для пациента это только «таблетки». Простой пример.

Врач: «Какие лекарства назначил вам ваш домашний врач?»

Пациент: «Это были большие красные таблетки».

Врач: «Как они называются?»

Пациент: «Не то теноргил, не то бенордил, не то леноркил, не то денормил, даже не знаю».

Врач: «Но что туда входит?»

Пациент: «Не знаю, но мой брат принимал такие маленькие зеленые таблетки; они помогали гораздо лучше».

Врач: «Но против чего они?»

Пациент: «Ну, у меня всегда было, ну да, всегда, очень часто, у меня было чувство, трудно объяснить, такое чувство, как будто совсем, да, как бы это сказать, трудно объяснить, и у моего брата то же самое, и он принимал такие маленькие ядовито-зеленые таблетки, а я эти дурацкие большие красные. Понимаете?»

Врач: «Нет!»

– Но если таблетки не действуют, – возражает Херман, – они ведь не попадут на рынок. А если они всё-таки добрались до рынка, то ведь их можно было бы никому не прописывать. А если их всё же пропишут, то ведь никто не станет принимать их во второй раз?

– Короче говоря, если Бога нет, то и Рождество праздновать мы не стали бы? Две наиболее переоцениваемые вещи в нынешней модели культуры – это...

– Секс и медицина, – заканчивает Херман. – Ты, кажется, мне уже третий раз говоришь об этом. Но ничего, вспомни максимум Ларошфуко: «Мы прекрасно помним, что с нами произошло, но не помним, кому об этом неоднократно рассказывали».

– Не обижайся, но, может, тогда рассказать тебе о биохимическом обликии Лурда, мудреной амальгаме из свечек, йода, ладана, страха смерти и всевозможных молекул, из чего состоит наша наука? Или отложим до следующей телепередачи, посвященной плацебо?

– Ладно, давай отложим. Ну а теперь я пойду и, насколько понял, без этого тенордила.

Нужно проведать менеера Неомахуса<sup>[100]</sup>, вышедшего в отставку профессора общего языкознания, в свое время защитившего блестящую диссертацию *De lettergreep* [Слог] по всеобщему языкознанию (1937). Он живет в квартале Хёвел. Здесь нет ни домов, ни улиц, только аллеи и виллы. Вхожу в прекрасную, со вкусом обставленную квартиру. И в холле, и в гостиной картины Яна Слэйтерса<sup>[101]</sup>. Мефроу Неомахус встречает меня просто, без церемоний. Вероятно, ей немного за сорок. Она очень привлекательна, ее легкая полнота – зелье, от которого поневоле делаешься беспомощным, что и произошло с Неомахусом за двадцать пять лет до этого. Тогда ему было чуть за пятьдесят, ей – чуть больше двадцати. И он споткнулся о собственную блистательную студентку.

Неомахус – маленький полнеющий господин с одутловатой головой, в которой еще сохранился тоненький слой коры больших полушарий, всё остальное погрузилось в *молчание*. Жена им сыта по горло. Она еле удерживается от того, чтобы его обругать, когда он, услышав вопрос, откашливается и после выразительных жестов, объясняющих дрящующую паузу, так и оставляет вопрос без ответа.

По утрам, когда хозяйка дома, облачившись в костюм из твида, играет в гольф, за хозяином присматривает Элизе, женщина с Антильских островов. И ему хочется поделиться: «Пусть это останется между нами, вы понимаете, но я не могу этого выносить, эту черную».

Здесь утром всё еще читают *De Telegraaf* (из-за крупного шрифта, недавно слышал я такой гериатрический аргумент) и вечером *Handelsblad*<sup>[102]</sup>. Он жалуется, что к нему почти никто не заходит: «... потому что теперь я не вполне...». И погружается в молчание. В ее

глазах вспыхивают жесткие огоньки, когда она пытается взглядом заставить его окончить фразу. Но он простодушно взирает на нее, не понимая, что ее раздражает.

Дело усугубляется тем, что это был многоуважаемый профессор, и окружающие стараются всячески скрашивать ситуацию, скрывая истинные масштабы случившегося. В медицинской корреспонденции говорят об «умеренном слабоумии», хотя он уже не в состоянии и пописать самостоятельно. При острой нужде он впадает в панику, не успевает вовремя вытащить свой хоботок и неминуемо дует себе в штаны, стоя перед унитазом. Она впадает в бешенство и уже не разбила его за это.

Когда она выходит приготовить по чашечке кофе, я остаюсь с ним на короткое время наедине, в беспомощной тишине. Он сидит, маленький, скорчившийся, рядом со мною.

– Как дела, Неомахус? – спрашиваю я.

– Так себе. Да нет, плохо. Она часто ругается. У меня такое чувство, что меня выставили за дверь. Если мы, например, идем в Артис<sup>[103]</sup>, она гораздо больше с детьми, чем я. Как будто она и дети стоят напротив меня, а я живу где-то рядом. О, они так хорошо понимают друг друга, она и дети. То же самое и вечером за игрой. Она отвечает на все звонки. Она делает, впрочем...

Он умолкает. Вероятно, описывает ситуацию своего первого брака, когда собирался уйти от жены.

Он пытается вырваться из собственного молчания и спустя короткое время произносит: «Я хочу покончить с собой».

Я спрашиваю, как он относится к смерти.

– Реалистически, – говорит он. – Нет, это неточное слово. Вы понимаете, что я имею в виду.

– Вы хотите сказать: смерть есть смерть, – пытаюсь я разгадать его мысли.

И он снова на мгновение оживает:

– Вы очень любезны, что это сказали. Кажется тавтологией, но это не так.

Я пружиной распрямляюсь на своем стуле. Тонкая кромка коры мозга, но огонек там еще не погас. У меня мелькнула мысль обсудить выражение «war is war» [«война есть война»] у Виттгенштейна<sup>[104]</sup> как пример еще одной тавтологии того же типа, но мне уже не удастся



пришпорить моего собеседника. Жаль. Возможно, и она каждый день видит у него подобные проблески, вслед за которыми он сразу же гаснет.

Прощаясь, говорю ей:

– Разумеется, мы его примем.

– Ясно как день, – слышу в ответ.

Раз уж я всё равно в городе, заезжаю еще и к Брамму Хогерзейлу, который опять побывал в больнице. Мне сообщили, что он ужасно выглядит; люди охотно говорят подобные вещи. Однако могло быть и хуже.

Его облучали, чувствует он себя не так уж и плохо. Ему дают мало шансов на выздоровление, но сказали, что еще несколько нормальных месяцев он проживет. Месяцев?

У него какие-то странные боли за грудиной. «Такая вроде как боль, которая иногда возникает, если хохочешь до упаду или пытаешься сдержаться, чтобы не разреваться. Понимаешь?»

Отвечаю, что не совсем его понимаю и что, может быть, следовало бы уступить желанию и заплакать.

– Ты опять за свое? – спрашивает он с раздражением. – Я просто растянул мышцу, а теперь каждый донимает меня тем, что у меня всё больше мысли о болезни и смерти. Ну да, я не хочу умирать. Что уж тут говорить?

## Завтрак à la Chamfort

У меня нет прибора, чтобы измерить хандру, но кажется, в последнее время мои дни начинаются гораздо хуже, чем раньше. Словно приходится преодолевать всё более высокую дамбу отвращения, чтобы вписаться в наступающий день. Когда в утренних сумерках, с трудом преодолевая ледяную преграду январского ветра, еду на велосипеде на работу, думаю: собственно говоря, земля – гигантский лагерь смерти. Мы пытаемся убедить себя, что находимся в Вестерборке, тогда как на самом деле знаем, что это Дахау<sup>[105]</sup>. «o to be in finland // now that russia's here»<sup>[106]</sup>.

Вхожу в здание, подстегивая себя изречением Шамфора: «Нужно на завтрак проглотить жабу – тогда до самого вечера ничто уже не вызовет отвращения»<sup>[107]</sup>. Ничего удивительного, что, разговаривая с Арием Вермёйленом, новым ВИЧ-пациентом, я тупо смотрю прямо перед собой. Это во всех отношениях истончившийся молодой человек. Нос, голос, всё его тело какие-то щуплые и тщедушные, словно, с тех пор как заболел, он пытается раствориться в своей чересчур просторной одежде.

Спрашиваю его, как он себя чувствует. Готовясь к обстоятельному ответу, он усаживается поудобней и пускается в пространные объяснения – как тот сосед, что ненароком вас доводит до бешенства, если, не дай бог, заговоришь с ним о погоде.

– Ну как вам сказать, конечно, не могу поручиться, что чувствую себя на все сто, нет, чего нет, того нет, то есть не могу сказать, что чувствую себя, в общем-то, хорошо, точно нет, понимаете? И нужно сказать, что я давно уже не...

Настроение у меня паршивое, так и хочется зарычать ему в ухо: «Конечно, парень, ясно, что дело дрянь. У тебя СПИД!»

В отделении первым делом заглядываю в палату к мефроу Бернард. На вопрос, есть ли еще у нее пожелания на следующий год, отвечает: «Есть. Умереть». Она висит в «железной сестричке» – подъемном устройстве. Была когда-то красивой женщиной, с приятной полнотой, сегодня же ее ягодицы свисают, словно сдувшиеся воздушные шарик. Кожи во многих местах уже совсем не осталось, и ткань, на которой

она лежит, вросла внутрь, оставив глубокие отпечатки, похожие на окровавленный джут. Беккетт сказал бы: «She was bonny once»<sup>[108]</sup>.

По словам Яаарсмы, Беккетт тоже умер в доме милосердия. Я представляю себе, как он, старый, пожелтевший, с эмфиземой легких, пыхтит в своей тихой парижской квартире. Брюзгливая жизнь, выстраиваемая вокруг запрещенных сигарет и недозволенного спиртного. Хотя о его последних днях мне ничего не известно, не могу отделаться от мысли о связи его конца с концом Мёрфи или Малоуна<sup>[109]</sup>. Это наивно, бестактно и, в общем-то, глупо.

Менееру Берендсену 86. Уже почти четыре недели, как он отказывается от еды. Маленький человечек, выглядит как, по моим представлениям, обитатель богадельни у Беетса<sup>[110]</sup>. Детей у него нет, жена давно умерла. Самое худшее из всего, что случилось с ним в жизни, это когда однажды во время войны он всё еще оставался на улице после начала комендантского часа. Всякий раз, когда он об этом вспоминает, его охватывает смертельный ужас, и в первые недели пребывания здесь он сотни раз благодарил меня за то, что мы вовремя его приняли. Де Лифдеберг он считает самым надежным укрытием. Он часто шепчет мне, что раньше работал с евреями, но не хочет, чтобы это стало известно, потому что можешь быть недостаточно осторожным. На мой вопрос, что стало с этими людьми, он заплакал. И зачем я его об этом спросил?

Но теперь такого больше не происходит. За время своего поста он сделался еще меньше и уже совсем не похож на свою фотографию, которая у него на тумбочке и на которой он, вероятно там ему лет пятьдесят, сидит на корточках около прелестного шпица. Со вчерашнего дня он всё время спрашивает о своем единственном брате и его сыне. То и дело повторяет: «Хочу пойти с ними гулять. Хочу пойти с ними гулять».

Сегодня они оба пришли к нему. Они хотели с ним поздороваться, и он протянул свою вялую руку, не переставая причитать: «Хочу пойти с ними гулять. Хочу пойти с ними гулять». Он совсем не узнаёт их.

Его брат очень стар, плохо видит, совершенно глухой и, несмотря на странное приветствие Берендсена, покорно садится рядом с его кроватью. Он смотрит на меня и внезапно кричит: «А ВЫ ЗНАЕТЕ, СКОЛЬКО МНЕ ЛЕТ?» Оказывается, 97. Что касается его, то вполне

можно было бы уже начать умирать. Но Берендсен хочет «пойти с ними гулять». Брат не понимает и кричит сыну: «ТАК ОН ПОМИРАЕТ?» – на что все мы шипим: «Тсс!» – а сын одергивает его: «Отец, ради бога!» – потому что умирание – это особое состояние, вроде того как если бы кто вдруг обкакался, то присутствующие вели бы себя так, словно ничего не заметили. Но брат хочет ясности. Он не для того сюда притащился, чтобы выслушивать эти нелепые «погулять», и остервенело орет: «ТАК ОН ЕЩЕ И НЕ НАЧАЛ?»

– Отец, прошу тебя, просто держи его за руку.

– Хочу пойти с ними гулять, – снова говорит Берендсен.

Его брат орет:

– ДА ЧТО ОН ТАКОЕ ГОВОРИТ?

– Он говорит, что хочет пойти с нами гулять, пусть себе говорит, просто держи его за руку.

– ПОЧЕМУ ОН ХОЧЕТ ПОЙТИ ГУЛЯТЬ? Я ДУМАЛ, ОН УМИРАЕТ.

«Тсс!» – снова шипим мы все, потому что и для того, кто уходит, и для тех, кто остается, не подобает слышать, как такое говорят вслух. Мы облегченно вздыхаем, когда через четверть часа брат с сыном отправляются восвояси, так и не дождавшись, чтобы Берендсен подал им хоть какой-нибудь знак, что он их узнал. Час спустя он умер.

## Из Кортхалса XV в Кортхалс XIV<sup>[111]</sup>

На совещании относительно предписаний по эвтаназии я засмеялся. Яарсма толкает меня в бок и шепотом спрашивает, что здесь смешного. Приступ смеха вызвал не выступавший, а случайно оказавшийся здесь журнал *Margriet*<sup>[112]</sup>. На первой странице читаю:

*Гомеопатия – мини-курс.*

*Включайтесь! Всего три недели!*

*И вы получите Margriet-сертификат по гомеопатии.*

Цель этого совещания – письменно изложить правила проведения эвтаназии, которые затем должны будут стараться соблюдать сотрудники Де Лифдеберга. Члены руководства, сами никогда не вступающие в непосредственный контакт с умирающими, хотят компенсировать (катастрофия) этот изъян преамбулой, в которой добровольно избранный уход из жизни получит солидное метафизическое обоснование. Они хотят не столько говорить о правилах, сколько играть в игру, которую, не будь умирающих, было бы вести несколько затруднительно. Итогом этого неумемного желания участвовать в происходящих событиях стали упреки по адресу сформулировавших ряд правил врачей в том, что они подошли к проблеме слишком холодно, чисто клинически, дистанцированно и рационально.

Путаница заключается в следующем. Если хирургу впервые предстоит отрезать грудь раковой больной (я намеренно намекаю на мясника), вечером он приходит домой в слезах и какое-то время не может прикоснуться к своей жене. Он начинает понимать, что значит *amputatio mammae* [удаление груди]. Но как бы хирург ни переживал, его эмоции мало влияют на выработку наилучшего плана проведения такой операции. Слезы и скальпель следует отделять друг от друга, и мне кажется, присутствующие полагают, что поскольку систематически предписывается, как резать, то и слезы также должны быть упомянуты. Вот на подобных заседаниях они и акцентируют свое внимание на вопросах этики, не слишком вдаваясь в практические

детали.

Герард Бернардс, племянник мефроу Бернардс, в разговоре со мной упоминает своего блестящего сына, который занимается в Америке базисными исследованиями болезней почек и вскоре приступит к обучению по специальности *внутренние болезни*. И тут же спрашивает меня, вообще когда, и не собираюсь ли я, и, собственно, сколько времени, и думал ли я, что останусь здесь навсегда... Завуалированная версия вопроса вроде: «What's a nice girl like you, a promising young man like yourself»<sup>[113]</sup> и тому подобное.

Я всегда теряюсь в подобных случаях и не знаю, что на это ответить. Ведь не скажешь ему, что базисная возня с болезнями почек так или иначе закончится, потому что те, кто задает вопросы почкам, в почках же и получают ответы. Тогда как мы здесь ищем более ясного понимания того, что такое неизбежный для каждого человека переход из *Кортхалса XV* в *Кортхалс XIV*, из кареты «скорой помощи» – в катафалк. Так что племяннику я сказал, что мне даже «очень нравится» такое место работы, как дом милосердия.

## Душа опадает

Менеер Сандерс вернулся к нам после довольно долгого, и в конце концов бессмысленного, пребывания в психиатрической лечебнице («as long as we can keep it going»<sup>[114]</sup>). Явный наш вопрос к психиатру звучал так: «Не идет ли в данном случае речь о дементном синдроме?» Скрытый же вопрос был: «Не сможет ли он остаться у вас на некоторое время, мы по горло сыты его жалобами и причитаниями?» Я, вместе с Мике, приветствую его.

– Ах, менеер Сандерс, как рады мы оба, что вы опять среди нас, – начинаю я бодро, однако мой тон не достигает цели.

– Хоть бы они меня убили.

– Ау, there's the rub<sup>[115]</sup>, – говорю я, – они действительно вас убили. Я Петр, а рядом, э-э, был Гавриил?

Но он не смеется.

– И всё же мы попытаемся о вас позаботиться, чтобы вам угодить.

– Не выйдет, – бросает он резко.

На этот раз моей нарочитой приветливости приходит конец, и я злюсь.

– Знаете ли, а что если вы ошиблись планетой? Может такое случиться? Земля вам что-то не очень подходит. – В последний раз пытаюсь поднять его настроение.

– И что вы несете всякую чепуху? Да я вообще в планеты не верю.

У Грета ван Фелзен работает телевизор, когда я вхожу к ней в палату. Тучный пастор как раз начинает с Евангелия. Она хочет выключить телевизор, но Херман и я кричим ей, пусть оставит. Это рассказ о том, как дьявол подступил к Иисусу, когда Тот был в пустыне. В конце концов Сатана показывает Иисусу «все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонись мне»<sup>[116]</sup>.

– А для тебя было бы это искушением? – хочу я узнать у Грета.

Она спрашивает, что я имею в виду.

– Ну, вся эта власть, которую дьявол сулит Иисусу.

– Нет, на что мне все эти царства?

– То есть тебя не прельстишь?

– Меня – нет.

– Нет? – переспрашиваю я в изумлении. – А если бы предложение гласило: тебя не переедет трамвай, нога будет в целости и сохранности, твои родители не умрут от чахотки, ты выйдешь замуж за прекрасного парня и у тебя будут чудесные дети?

– Антон! – восклицает Херман, в ужасе оттого, что я взялся беречь ее раны.

– Прекрасно! – кричит Грёт. – Сначала ногу! И я опять смогу бегать и прыгать!

– Сатана мигом бы это сработал, – говорю я. – Смотри, Сыну Божьему требовалось посулить чуть ли не полпланеты, а такие простофили, как ты и я, сразу сдаются ради ноги или чтобы обеспечить себе домашний уют. Я, например, я бы... хотя постой, я угадал твоё желание, теперь угадай мое.

– Может, что-нибудь насчет женщин? – пробует Грёт.

– Ба! Нет, выше пояса! – говорю я.

– Важное открытие в медицине, – почти уверен Херман.

– Ты имеешь в виду нечто такое, в чем действительно нуждается человечество? Боже сохрани, за кого вы меня принимаете? И в наказание возьмемся за Хермана. Посмотрим, чем мы сможем тебя... Представь себе, что ты получил бы возможность путешествовать во времени и в 1931 году смог бы побудить Гитлера снова взяться за акварели. Навсегда. Мы сделаем его счастливым до глубины души оформителем витрин большого универсального магазина в Берлине. Разве не здорово? Не то чтобы мы спасли всё человечество, но миллионы людей уж точно.

– Отлично, я – за! – говорит Херман, – ну а теперь ты.

– Да мне нужно не так уж и много. Всего лишь прославиться, но так, чтобы никто этого не заметил и чтобы я мог себе жить, как раньше, ясно?

Проводя ректальное исследование ван Ставерену, я вспомнил о том, как мы, будучи детьми, иной раз просовывали руки в песок, всё дальше и дальше, чтобы они там где-нибудь встретились. К ван Ставерену Костлявый уже проник с другой стороны и сидел внутри его, потому что, войдя, мой палец тут же наткнулся на явно злокачественное образование: touché<sup>[117]</sup>.



– Он самый, доктор? – сразу же спрашивает он. – Нужен будет искусственный вывод?

За ланчем мы говорим с Де Гоoyerом о пальцевом исследовании. В бытность мою ассистентом домашнего врача мой коллега Герритсен рассказывал, как один пациент из близлежащей практики каждый год, когда приходилось замещать его домашнего врача на время каникул, являлся к нему для ректального исследования. «Ну, боялся рака; понятно, с геморроем, но главное – словить кайф».

– Ты не думал, что тебя просто использовали? – предположил я.

– Хм, использовали... – он пожал плечами.

Была у Герритсена такая привычка. Ему вообще была свойственна лаконичность.

А когда Де Гоoyer практиковал в гинекологии, ему в подобной ситуации пришлось куда хуже. Он рассказывает, всё еще краснея при этом, как однажды делал осмотр одной дамы лет шестидесяти, которая любезно попросила его побольше смазать перчатки: «Знаете ли, я довольно сухая».

Когда он ввел ей два пальца, она глубоко вздохнула, и он услышал: «О-о-о, если бы, если бы вы только знали, о господи, как давно уже, что меня кто-нибудь...». Он испугался до смерти, сейчас же отдернул пальцы, пробормотал что-то насчет того, что «всё в порядке», и от смущения красный как рак выскочил в коридор.

Уж раз мы заговорили о пальцевом исследовании, могу рассказать о случае с Беенхаккером. Он всё время жаловался на якобы мучительные проблемы с пищеварением и каждую неделю требовал ректального вмешательства, чтобы таким образом освободиться от кала. В этом было что-то либидное, хотя это и было либидо, которое еле ползает, потому что уже не в состоянии бегать. Мике, с ее чувствительнейшей антенной на либидо, сразу его раскусила, пришла в бешенство и наотрез отказалась проводить ему эту процедуру сама или позволить делать это кому-либо другому. Несмотря на вопли Мике в адрес Беенхаккера, я однажды подумал: «А мне-то что до этого?» После того как он в сотый раз попросил меня проделать указанную операцию, я всё же поддался его настояниям. Мике, взбешенная, стояла рядом, скрестив руки на груди и зло глядя в пол. Как только я ввел ему палец в анус, Беенхаккер стал со сладострастными стонами испражняться.

На постели не было достаточного количества подстилок, и не успел я прикрыться, как мне в руки, извиваясь, полезла какашка.

Мике процедила с презрением: «Ну и ну, дал насрать себе прямо в руки».

«Девять лет учился для этого, коллега», – подумал я.

К концу дня звонит Де Гоoyer, чуть не в панике. Беспомощный, он стоит в палате менеера Деккера, которому вдруг стало плохо. Нужно что-то предпринять, но он не знает, что именно. «Мне кажется, он умирает, – говорит он, когда я вхожу в палату, – а я так и не смог поговорить с ним об этом».

Де Гоoyer предпочитает такие вещи решать поэтапно. Он испытывал расположение к этому человеку и с удовольствием вновь растормошил бы девяностошестилетнего менеера Деккера, чтобы прокричать ему: «Внимание, вы умираете!» Словно тому угрожала опасность очутиться *рядом* с могилой, а не *внутри* ее. Но Деккер уже нашел правильный путь. Он больше ничего не услышит; его дыхание становится всё спокойнее.

Мы тоже успокаиваемся и присаживаемся рядом с ним. Прекрасный свет вечернего солнца освещает его лицо. Кто-то снял с него дурацкие очки, выданные больничной кассой; с прекращением кровообращения черты его лица постепенно становятся строже, в нем появляется нечто от облика фараона.

Он несколько раз еще ловит ртом воздух, словно хочет его проглотить, потому что дыхания уже нет. Потом все движения замирают, и его душа, вместо того чтобы, как предполагается, вознестись вверх, всё ниже и ниже опадает с его лица. Нас охватывает благостная тишина.

Я уже не раз это переживал, и опять у меня возникает чувство, что только что умерший выглядит приятней, чем умирающий, хотя умер он сейчас почти без усилий.

«Прошло хорошо, правда?» – произносит Де Гоoyer через какое-то время.

Да, всё прошло хорошо.

## Сумасшедший Племянник

Арий Вермёйлен совершил попытку самоубийства. Пожалуй, сказано чересчур сильно для способа, который он для этого выбрал. Сегодня утром он проглотил семь растворимых таблеток для очистки зубных протезов. В стакане, куда на ночь кладут зубные протезы, все семь таблеток полностью не растворились, но того, что получилось, он изрядно глотнул, после чего сразу же робко позвал сестру. Дурацкая выходка, но тем не менее.

Звонок Мике рано утром поднял меня с постели. Сначала я вообще ничего не мог понять. «В чём дело? Он пытался совершить самоубийство, из-за того что носит зубные протезы?» От Ария никогда не знаешь чего ожидать, но не этого же.

В девять утра захожу к нему палату, которая, несмотря на его несмелые попытки украсить стены парочкой репродукций, так и осталась пустой белой пещерой. Он как раз бреется. На тумбочке лежит книга. Заглавие *Een onbedachte verhouding* [Необдуманное поведение] мне не известно.

Я спрашиваю: «Арий, зачем ты это сделал?» Ну и вопросы задаешь иногда! Вот тебе и *необдуманное поведение*.

– Ну, – говорит он, – потому что сил больше нет.

Теперь я хорошо знаю, что за избитым клише может скрываться действительное чувство, но, по-моему, это уж слишком. Снова я замечаю, до чего он обрюзгший, бледный и дохлый. К тому же еще этот протестантский прыщ на подбородке, из которого растет волос <sup>[118]</sup>, и я думаю: «Если ты мог такой жалкий камушек швырнуть в Молоха, который грозит размозжить тебя, то нечего удивляться, что тебя так расплющили».

Выпитый коктейль с зубными протезами не доставил ему особых неприятностей, потому что чуть позже он без всяких проблем направился в поликлинику, чтобы показать свои ноги неврологу.

«Ты не думаешь, что кто-нибудь должен его сопровождать? – спрашивает меня Мике. И добавляет: – А то как бы он не бросился под встречный велосипед».

Снова поглядываю на лежащую на тумбочке книгу – *Необдуманное поведение*, именно, написал д-р Х. Фреекамп. Тема книги: «Место Израиля в церковной догматике», каковую Яарсма кратко формулирует: «Пятнадцатая стация, Израиль как нация»<sup>[119]</sup>.

К вечеру становится плохо мефроу Парментир. Ей 87 лет, и в завершение долгого путешествия она со свистками и скрежетом прибывает на конечную станцию. Я ничего не предпринимал, чтобы ускорить или приостановить ее смерть. Незадолго до ее ухода из жизни мне позвонил один из тех Сумасшедших Племянников, которые, как я всегда подозревал, ошиваются около умирающих, но с которыми до сих пор я всё же еще не сталкивался. Я имею в виду такого члена семьи, который всегда исходит из того, что смерть пациента бывает вызвана грубой ошибкой врача.

– Я разговариваю с врачом? Вы лечащий врач? Вы действительно врач? – начинает он взвинченно.

– Да, я действительно врач, – говорю я, на что он кричит в трубку:

– Вы думаете, что можете прохлаждаться, пока моя тетя умирает? Что вы, собственно, для нее делаете? Если она старая, то и пусть? Конечно, у вас на уме эвтаназия! А знаете ли вы, что такое анаклитическая депрессия?<sup>[120]</sup>

– Понятия не имею.

– Какой же вы тогда врач для престарелых? *Марнизмюс*<sup>[121]</sup>, например, – известно вам, что это значит? Знаете ли вы, по крайней мере, с кем вы разговариваете?

– Доктор Швейцер?<sup>[122]</sup> – пробую я предположить.

– Опять вы со своими шуточками, о, вы об этом еще пожалеете. Нет, вы, сударь, разговариваете с Роземайером, я психоаналитик, ассистент профессора Б. Публикации Спитца и Риббл<sup>[123]</sup>, вы в курсе? Ах нет? В таком случае я настоятельно требую, чтобы вы немедленно направили мою тетю к специалисту, потому что вы же вызовете уросепсис, уролог ее осматривал? Могу вас заверить, что потребую вскрытия, и немедленно!

Пожалуй, у этого Роземайера не все дома куда сильнее, чем я думал. Мефроу Парментир еще не испустила последний вздох, а следователи уже на проводе: какой-то Роземайер в панике позвонил им, что его тетя умерла в Де Лифдеберге вследствие врачебной ошибки и что существует опасность, что там попытаются скрыть этот случай.

Я излагаю все обстоятельства, следовательно спрашивает меня, как долго я знал умершую и видел ли я, чтобы этот Роземайер когда-либо ее посещал. Я отвечаю, что мефроу Парментир семь лет находилась под моим наблюдением и что менеер Роземайер ни разу не бывал в Де Лифдеберге. После чего чиновнику, видимо, посоветовали заняться чем-либо другим, вместо того чтобы расследовать этот случай. Больше об этом я ничего не слышал. *Анаклитическая депрессия*, – мне пришлось попросить его сказать слово по буквам. Ну и тип.

Между тем Арий уже несколько дней в больнице, и я звоню туда спросить, что они там с ним делают. Доктор Хорнстра, врач этого отделения, бодро рассказывает мне, что для Ария рассматривается вопрос об эвтаназии. Я отвечаю, что предпочел бы в этом не участвовать. Со мною он тоже не раз заводил разговор об этом, но после таблеток для очистки зубных протезов он, в том, что касается меня, окончательно подписал свой приговор: пожизненно, и самому лицезреть, как собственными силами придет к могиле, – потому что для меня Арий абсолютно кошмарный пациент, который в вечер, установленный для того, чтобы совершить последний обряд (когда после бесконечных поисков души ты наконец приносишь ему чашу с цикутой<sup>[124]</sup>), будет колебаться и просить об отсрочке или, вопреки всем договоренностям, скажет: «Поставь-ка ее вон туда, я, пожалуй, еще подумаю».

Я спрашиваю доктора Хорнстру, знает ли она о страхе, испытывать который этот соискатель смерти, собственно, вовсе не хочет.

«Да, – говорит она, – но как раз теперь он очень стеничен<sup>[125]</sup> в отношении своего решения». Замечательное словцо, ничего не скажешь, но я вовсе не поручусь, что Арий тем не менее перестал метаться из стороны в сторону. Ишь ты, стеничен!

Интересно, что будет дальше, и на сей раз любопытство мне ничего не стоит, потому что делать ничего не нужно. Разве дело обстоит не так, что, хотя у каждого своя собственная история, при эвтаназии ты, как врач, должен оставить удобную роль чтеца, чтобы помочь умирающему написать последнюю, самую трудную, главу его жизни?

## Основания для реинкарнации

Мефроу Линдебоом, девяностошестилетняя вдова нотариуса, жалуется на боли в ногах. Однажды она уже мне говорила, что это такая же боль, как была у ее деда Артура после кампании 70-го года, под которой она разумела Франко-прусскую войну 1870–1871 годов. По происхождению она немка, и, выдергивая по ниточке то одно, то другое, мы установили, что этот дедушка, старший брат ее отца, родился в 1847 году. Он умер в 1913 году, когда она была юной двадцатилетней девушкой. На ее пятнадцатилетие, в 1908 году, он произнес пророческие слова: «Никогда больше не будет войны. Никогда». Он рассказывал своей внучке истории, которые слышал еще от наполеоновских солдат, сражавшихся в войне 1812 года. Так мы заглядываем в «шахту времени», по словам Боманса [\[126\]](#).

Она спрашивает меня, нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы не так мучиться из-за болей в ногах. Я замечаю в шутку, что скоро у нее появятся крылья и эти надоевшие ноги уже не понадобятся. Но она ничего такого и знать не хочет: «Пожалуйста, не нужно. Я тебе безмерно благодарна, но когда я умру, я хочу быть мертвой по-настоящему. Одна моя подруга хочет, чтобы я поверила в реинкарнацию, но я не могу себе ничего такого представить. У меня нет ни малейшего основания в это верить».

Я спрашиваю, а что могло бы указывать на всамделишную реинкарнацию, и она тут же отвечает: «Ну, скажем, встречаешь человека, о котором можешь сказать: смотри, он правильно подходит к жизни, не пасует перед действительностью. Ведь суть в том, что люди чему-то научаются благодаря реинкарнации и живут всё лучше и лучше. Но такого человека я еще никогда не встречала. В определенном смысле все мы одинаково глупы. Сколь ловко мы ни подходили бы к жизни, время от времени каждый из нас попадает рукою в машину. Нужно быть каким-то особенным человеком, чтобы с тобой этого не случилось. Я читала у Хемингуэя, что быка, который побывал в схватке и выжил, нельзя больше выпускать на арену, потому что на этот раз он будет смертельно опасен. Он заметит все уловки тореадора. Это я и имею в виду: никогда еще не видела я человека,

который всего лишь снисходительно улыбнулся бы при виде первой попавшейся красной тряпки у себя перед носом. Нет, мы все тут же стремительно бросаемся на нее. Не кажется ли вам, что все мы вступаем в бой в первый раз? И в последний?»

– У вашей подруги единственный выход, – говорю я. – Она могла бы сказать, что все мы находимся в самой первой стадии реинкарнации.

– Ну, это слабый довод.

Бездетная, она поняла, хотя и слишком поздно, что единственный смысл жизни – это иметь детей. Всё остальное не имеет смысла.

– Я молюсь каждую ночь, чтобы Господь забрал меня к себе. Не то чтобы я была слишком религиозна; впрочем, Бог ведь мужчина и делает то, что он хочет. Не станет он слушать женщину.

Я спрашиваю, каковы были ее лучшие годы. «Ах, лучшие годы. Твои лучшие годы – те, в которые ты веришь, что они непременно наступят в будущем». Для нее было хорошее время, когда в 1947 году она уехала после смерти мужа. Несколько лет она жила с тремя подругами в Греции. «Но странно, теперь мне не дает покоя то, что он умер. Я и в самом деле упрекаю его: чёрт возьми! ты так прекрасно ушел, дружочек, так здорово увильнул от старости. Он всегда умел вовремя увильнуть».

Нет, старость не доставляет ей удовольствия, хотя, если б не ноги, она чувствует себя вполне сносно. Она может читать, разговаривать с людьми, немного ходить, иногда посещает концерты; племянники, племянницы и их дети носят ее на руках. И всё же. Я однажды попробовал вместе с ней шутливо перечислить плоды преклонного возраста: сохраняется интерес к жизни, но очищенный от тривиальной шелухи. Это означает отсутствие страха перед будущим, потому что смерть уже неподалеку; никаких забот о том, как устроить дальнейшую жизнь, потому что думать об этом поистине поздно. Не нужно больше заботиться о детях, потому что либо они уже устроены, либо вы им всё равно уже ничем не поможете.

– Молодой человек, – восклицает она, – ты не знаешь, о чем говоришь. Ах, смерть, не так уж она мне интересна. Неужели орды людей, живших до нас, теперь на небесах? Никогда в это не поверю. Или они в аду? Еще более невероятно. Всё это чепуха. Но если ты говоришь: не бойся того, чем ты станешь, значит, ты ничего в этом не понимаешь. Меня страшит только одно: с чем я расстанусь? Сколько

всего мне придется оставить на моем трудном спуске в могилу? Потому что на последнем этапе путь будет становиться всё круче, а ты будешь всё менее ловкой, так что в конце концов просто скатишься вниз. От скольких вещей придется отказаться? Что еще у меня отнимут, прежде чем я достигну дна? Нет, меня заботит не то, кем я еще могу стать, но парализующий страх перед тем, чем я могу остаться. Подумайте-ка лучше об одиннадцатой заповеди: «Не старей!»

Хотелось бы услышать что-нибудь другое, что-нибудь более светлое. Бессознательно начинаешь разговор в поисках успокаивающих сообщений о старости, потому что невольно надеешься, что все тревоги, тяготы и надежды разом исчезнут, и лучше бы по эту сторону могилы, так что, полностью от всего отрешившись, еще сможешь оглянуться назад.

Я с удовольствием с ней разговариваю и тем самым в начале нашего знакомства допустил промах, исправлять который научился далеко не сразу. Однажды мы более получаса сидели, беседуя с нею о прошлом, когда она вдруг прервала свой рассказ и сказала: «Но конечно, вы ужасно спешите, я отнимаю у вас слишком много времени».

Самое глупое, что можно сделать, это сказать что-нибудь вроде: «Ах нет, поговорим немного, у меня еще есть время». Тогда о тебе подумают, что наверняка ты плохой врач: спокойно себе болтает, тогда как мог бы за это время спасти кому-нибудь жизнь. Относительно медицины держится миф, что врач в состоянии вырвать больного из рук смерти. Врачи сами в это верят и испытывают мрачное удовлетворение от факта, что чудовищно неравная борьба с МОНСТРОМ приносит им инфаркт или язву и, разумеется, не оставляет времени должным образом принять пациента. Да и у пациента возникает чувство, что он помешает врачу в этой борьбе, если втянет его в продолжительную беседу.

Люди, сохраняющие спокойствие и ясность на краю жизни, вроде мефроу Линдебоом, встречаются редко. Поразительно, сколь многие в самых последних, безвыходных обстоятельствах думают, что смогут, спокойно сидя с газетой, сверзиться в бездну.



## Нытье

Терпение в таком заведении, как наше, часто значит просто-напросто заткнуть себе уши. Менеер Верстер всё время жалуется, что у него болит в тысяче мест из-за износа шейного позвонка. За несколько лет мы перепробовали всевозможные шины, корсеты и ортопедические воротники, что никак его не удерживает от того, чтобы зимой и летом, сидя у электрокалорифера и кутаясь в плед, докучать жалобами каждому, кто окажется в пределах его досягаемости. К тому же он глуховат, что освобождает его от усилий когда-либо кого-либо слушать.

Так продолжается уже не один год, но сегодня мое терпение подошло к концу. Мне до того осточертело его непрекращающееся жалобное подвывающее нытье, что в конце концов я на него как следует напустился:

– Менеер Верстер, я больше не в состоянии выносить ваше хныканье. Не знаю, чего вы хотите добиться своими упреками, но мне кажется, вы надеетесь, что я, старый и потрепанный, займу ваше место, в то время как вы, молодой, красивый и энергичный, приплясывая, выскользнете из палаты. Могу вас заверить, что я, как бы вы ни ныли, останусь молодым, красивым и энергичным – Мике, заткнись! – а вы, со своими похрустывающими суставами, останетесь сидеть на своем стуле. Бог знает, что еще меня ожидает, но ваши dancing days are over<sup>[127]</sup>. Так-то вот.

– Что это он там говорит?

Но всё равно полегчало.

С мефроу ван Эйк тоже происшествие. Она, как и Верстер, склоняется к тому, что не хочет больше влачить за собой свое тело да и вообще свою жизнь.

– Доктор, нужно мне сегодня вставать с постели? – спрашивает она сегодня утром.

– Я считаю, не нужно. Но и не вижу причин, чтобы непременно оставаться в постели.

– Значит, мне нужно встать?

– Нет, это значит, что вы сами должны решить.

– Но мне нужен ваш совет. Я полностью вам доверяю.

И тогда во враче что-то срывается.

– Мефроу ван Эйк, это просто невыносимо, что вы так от меня зависите. Постарайтесь не навязывать мне свою жизнь, не вынуждайте меня постоянно принимать касающиеся вас решения. Вам 78 лет, и если не мудрости, то во всяком случае жизненного опыта вам должно хватить, чтобы решить, как именно вы хотите провести свой день: в кровати, около нее или – в конце концов какое мне дело? – вообще под кроватью. Вы же не можете передавать свою жизнь, как пакет, из одних рук в другие. Всё шиворот-навыворот устроено у нас на земле: каждый несет на себе бремя своей собственной жизни, и оно еще тягостней потому, что мы все страстно желаем другой. В каждой жизни заключено желание этой другой жизни. Вы разве этого не знали? Ну так теперь знайте. А это ваши таблетки от головокружения.

Безропотно жует она это бессмысленное лекарство, глядя на меня и умоляюще и с упреком. Консультация всё еще не окончена.

Я говорю ей, что мне кажется, она сидит и ждет смерти.

– Нечего опасаться, что Смерть обойдет вас стороной. Уж кто-кто, а Костлявый сумеет вас отыскать. Но это не значит, что вы можете заставить Его взмахнуть косой. Скажем так: Он не придет раньше, если вы будете лежать в постели, или позже, если вы будете сидеть на стуле, а то и вообще не придет (спаси, Господи!), если вы станете прохаживаться, понимаете? Чтобы принудить Безносого, есть гораздо более действенные средства, чем лежать или сидеть. Поэтому скажу я вам: встаньте с постели, сделайте что-нибудь и перестаньте терзаться.

Итак, я всё же кончил советом; вот вам сила привычки.

– Значит, я могу не вставать?

Она из той породы людей, которые верят, что хотеть-чтобы-пришла-смерть – вполне достаточно, чтобы пришла смерть. Это не так, иначе земля уже давно опустела бы. Но люди убеждены, что, сказав «я хочу умереть», они могут дать под зад Жизни и тем самым привлечь к себе Смерть.

Во второй половине дня привожу в порядок шкаф для хранения рентгеновских снимков. Это нужно делать как минимум раз в полгода: шкаф битком набит снимками выписанных или скончавшихся пациентов. Среди последних наталкиваюсь на тех, о ком я жалею, но

много и тех, кого я забыл, теперь уже окончательно. Встречаются и живые, о которых думаешь: ну тебе-то уж точно пора.

Вечером навещаю Брама Хогерзейла. Опять слишком долго откладывал, всё из-за перспектив: никаких. Потому что и ты знаешь, и он знает: каждое посещение – как промер глубины, словно его путь в могилу можно рассчитать, исходя из определенных факторов (рост опухоли, сила воли, работа почек, страх смерти), и ты сразу же получишь график и увидишь, по какой кривой он проходит.

«А, ты еще жив?» – восклицает он при моем появлении. Я не настолько близок с Брамом, чтобы откликнуться: «И ты еще жив?» Он рассказывает мне что и как. С точки зрения медицины его состояние безнадежно; опухоль снизу всё плотно сдавливает. «На мне полно дыр. Пониже пупка всё смешано в одну кучу. Ни кал, ни моча уже мне не подчиняются. Так что теперь у меня также и стома для мочи. Вам словно втыкают в почечную лоханку соломинку. И это уже третий мешочек, куда поступает всякая дрянь, потому что у меня есть еще фистула в шве после операции. И нужно же было мне знать, до чего всё это отвратительно. Хочешь кофе?»

Робость из-за так долго оттягивавшегося визита и контроля кривой у меня исчезла, стоило нам перейти к беседе. Ему предложили ничего не делать с перестающей работать почкой. Но он и не собирался. У него ясное представление о том, как далеко он должен зайти в своей борьбе, пока не скажет: я – пас. Выходит, стома для мочи разрешена, а химиотерапия нет. Последнюю, впрочем, ему тоже предлагали, однако на вопрос, сколько месяцев ее проводить и каковы будут эти месяцы, никто ответа не дал.

– Антон, ты не считаешь, что браться за это бессмысленно? Ведь там наверху не будут меня упрекать, что я боролся недостаточно?

Оглядываясь на все последние месяцы, ему трудно удержаться от слез. Его мучает мысль, что из-за страха он может по оплошности погубить шансы на выздоровление или на улучшение своего состояния. Денно и ночью обшаривает он горизонт в поисках этой единственной крохотной точки, а тут приходят они с обманчивыми посулами химиотерапии. Ведь это оскорбительно: «Голодному, пожалуй, можно дать старый сухарь, но не ворох пустых обещаний».

Звонит телефон, и он решительно отвечает: «Нет, я сам позабочусь о погребении, и никаких разговоров. Я же знаю своего братца. Нет, детка, предоставь это мне. Всё нормально».

## Сертификат на дерево

Чудесный весенний день. За завтраком читаю в газете: «Массовые захоронения в Катыни с останками 4000 польских офицеров, убитых русскими, были случайно обнаружены немецким офицером, который, осматривая в бинокль горизонт, увидел волка, который выкопал из земли на холме большую кость и с нею скрылся в лесу».

Берцовую кость? Ранним утром? Офицер глянул в восточном направлении сквозь рассветный туман и увидел там четкие силуэты волка и берцовой кости? Нужно полагать, ему уже не раз доводилось видеть берцовую кость.

Когда я появляюсь в Де Лифдеберге, Яаарсма, ухмыляясь, встает мне навстречу. Он протягивает мне *Сертификат на дерево*.

– Что, что? – переспрашиваю я.

– *Сертификат на дерево*, – повторяет он. – В связи со смертью мефроу Парментир. Вероятно, чтобы компенсировать поведение этого разнузданного племянника, ее дети в благодарность за всё, что ты сделал для их матери, распорядились, чтобы в Израиле посадили дерево от твоего имени. Вот, прочти сам.

И действительно. Пластиковая карточка, на которой псалом (I, 3) и стих из Исаии (32, 15–16), а кроме того, пояснение, где среди прочего читаю:

«Этот сертификат на дерево означает, что Израиль стал богаче на одно дерево от Вашего имени, что страна, наша страна, будет еще лучше защищена от солнца и ветра. Но и не только: деревья дают перегной и тем самым подготавливают почву для развития сельского хозяйства, садов, рощ. <...> Леса делают Израиль более сильным, спокойным, уверенным и счастливым. Сертификат на дерево – это благословение для Израиля и честь для Вас, от чьего имени страна еще больше зазеленеет».

Не могу скрыть своего изумления.

– Яаарсма, да помоги же ты наконец. Если я правильно понял, эти люди, очевидно евреи, предлагают мне небольшой подарок, который заключается в том, что они сами его себе и купили? И подарок этот – посаженное ими в Израиле дерево, на котором или рядом с которым

теперь стоит моё успешно написанное задом наперед имя? И всё это, не спрашивая меня, хочу ли я вообще, чтобы там было посажено это дерево?

– Но разве ты не хочешь, чтобы Израиль стал более сильным, спокойным, уверенным, счастливым и к тому же зеленым?

– А, прекрати. Да этому просто невозможно поверить. Ну-ка дай прочту еще раз.

Яаарсма вдобавок высказывает пожелание:

– Будем надеяться, что анаклитической депрессии это у тебя не вызовет. А то придется еще раз перелистать Спитца и Риббл.

Люкас Хейлигерс поступил к нам со сложным переломом. Он писатель. Тут же это громогласно и объявил. Я никогда его не читал. Выглядит так, словно он не ест и пьет, а жрет и напивается. Ему около шестидесяти, но кажется, что он гораздо старше. При первой же встрече сыпет именами известных голландцев. Мне не по себе, потому что самое печальное, что он и впрямь знает их всех, хотя, возможно, и сам уже не совсем может в это поверить.

– Вы не будете возражать, если я как-нибудь позволю себе надраться? – роняет он промежду прочим.

Отвечаю, что мне это не помеха, только «правила данного учреждения предусматривают, что vomitum ethanogenicum должен убирать непосредственно vomitans».

– Ну конечно, – говорит он.

– Боюсь, что вы меня неправильно поняли. Имеется в виду, если кто наблюдает, то свою блевотину сам же и вытрет. Жизнь сурова.

Разговор с Арием Вермёйленом. Он сидит на кровати с отсутствующим видом и не мигая смотрит мимо меня. Спрашиваю о его матери: не навещала ли она его? и, если она придет, не пошлет ли он ее ко мне? Да, он так и сделает.

Молчание. Я вздыхаю. Сочувствую ему, он смотрит с таким терпением!

– Что, плохо дело? – спрашиваю его осторожно.

– Да, плохо.

– Хотя, собственно, всё же немного лучше? – продолжаю я.

– Да, немного лучше.

– Эх, всегда говорю: быть бы здоровым. – Вырывается у меня, прежде чем до меня доходит, что же я такое сказал.

– Да, быть бы здоровым...

Относительно него я всегда колеблюсь: это биологическая или экзистенциальная пустота? Он отсутствует, потому что иссякают его нейроны, или потому, что боится близящегося конца?

Хотелось бы, чтобы его мать всё-таки появилась.

## Страх перед человеком

Рихард Схоонховен, прибыл из больницы Хет Феем, вдовец, 55 лет, неизлечимый рак горла, неоперабелен. Его врачом был Постюма. В сопроводительной записке сестры читаю: «Уже несколько недель просит о смерти. Ответа со стороны врачей не имеется». В протоколах вижу множество результатов лабораторных исследований, рентгеновских снимков и курьезное заключение, что о прогнозе пациент информирован. И ни слова о его желании смерти. Врачи часто смотрят на это как на своего рода пролежни: не заслуживает упоминания, в данный момент не представляет проблемы, однако может еще доставить немало неприятностей.

При знакомстве со мной Схоонховен сразу же говорит:

- Доктор, я хочу умереть. Пожалуйста, помогите мне.
- Но разве врача в вашей больнице вы не просили об этом?
- Конечно просил, но им начхать на меня.

Он плачет, беспомощно взмахивая руками. Я стараюсь его утешить и звоню прямо в больницу, потому что чувствую, что эта трусливая кальвинистская шайка, эти засранцы из больницы Хет Феем хотят мне втереть очки.

Что случилось? Схоонховен попал в больницу для операции на гортани. При приеме с ним была достигнута договоренность об отказе от реанимации. Во время операции произошла оплошность: фрагмент ткани попал в трахею, это привело к остановке дыхания, закупорка оказалась трудно устранимой, через горло была введена трубка в трахею, но произошла остановка сердца, и тогда без долгих рассуждений приступили к реанимации. Могу себе это представить. В такой ситуации, разумеется, невозможно сказать: ах, оставьте, его же не нужно реанимировать. Но когда он пришел в сознание, он едва мог говорить, и трубка должна была оставаться в трахее. А поскольку мозг какое-то время оставался без снабжения кислородом, произошло повреждение коры, вследствие чего левая рука и левая нога оказались парализованы.

Полностью придя в себя и осознав свое положение, Схоонховен стал просить о смерти. Реакция медиков была сдержанной. Врач не сказал ни да ни нет, и в конце концов никакие меры не были приняты. И



тогда, в отчаянии, Схоонховен стал каждого, ежедневно, просить о смерти, каждый день, неделю за неделей. Врачам это не понравилось, и в конце концов они решили проконсультироваться с психиатром.

Вот и вся информация, которую я получил от сестры по уходу. Закончив, она тяжело вздохнула: «В конце концов, мы работаем здесь, руководствуясь христианскими принципами».

Каждый день просить о смерти – себе же во вред. Если пациент, громко жалуясь, требует: «О, доктор, ну положите же этому конец!» – врач в большинстве случаев будет бежать от него, как заяц, напуганный возможностью внять столь неуравновешенной просьбе. Если пациент стоически сдержанно просит о том же, врач думает, что нужда не так уж и велика и выполнение просьбы можно отложить до поры до времени. Возникает угроза *Catch-22*<sup>[128]</sup>.

Мне тоже однажды пациент крикнул во время приема: «Послушайте, доктор, ну и что там с моей эвтаназией?» С такими вообще не следует разговаривать. Сразу же возникает чувство неловкости, потому что тебе виделось в этом нечто интимное, некое *Aufforderung zum Tanz*<sup>[129]</sup>. Короче говоря, задавать подобный вопрос нужно пристойно и не повторять его изо дня в день, как это было в случае со Схоонховеном в больнице Хет Феем.

Выяснилось, что лечащим врачом Схоонховена был не Постюма, это была ван Лоон. Дозвониться ей я не смог. Палатный врач был не вполне в курсе дела, поскольку работал там всего неделю. Его предшественник, который должен был хорошо знать Схоонховена, уехал, с позволения сказать, на какую-то конференцию в Лилль. Но они от меня так просто не отделаются.

На другой день разговариваю с коллегой ван Лоон. Да, она прекрасно помнит менеера Схоонховена; действительно он просил их о смерти.

– Почему же вы на это не реагировали?

– Мы никогда не принимали это всерьез, потому что, когда мы его спрашивали, чего он хочет на самом деле, он отвечал, что хочет выздороветь, снова оказаться среди людей, понимаете? И кроме того, он всё время просил об этом, почти каждый день.

Я говорю ей, что меня крайне беспокоит его состояние и то, чем оно было вызвано. «Я отношусь к его желанию умереть с полной

серьезностью и вынужден реагировать. Я хотел бы спросить вас: как вы могли написать в его истории болезни столько всякой биохимической чепухи, не сказав ни слова о том, в каком невыносимом состоянии находится больной также и по вашей вине? Почему об истинном положении вещей я узнаю от сестры по уходу, а от врачей слышу только всякую хрень насчет рентгеновских снимков?»

Меня действительно это бесит. Я спрашиваю ее, что бы она сказала, если бы на полпути к смертному ложу, всем чужую, ее втолкнули в палату, чтобы сыграть там заключительную сцену трагедии, начатой семь недель тому назад, «из которой важнейшие актеры сбежали, ибо кто-то уже больше не палатный врач, кто-то отправился на конференцию в Лилль, или же они на этой неделе ведут прием в поликлинике, или просто слишком трусливы, слишком равнодушны, или слишком кальвинистичны, чтобы заботливо сопровождать человека к его концу? И почему вы все вообще занялись медициной? Наверное, хотите получить Нобелевскую премию?»

– Я не желаю больше вас слушать, – отвечает она.

– Конечно нет, как и Схоон...

Но она уже бросила трубку. Через четверть часа звонит Постюма. Он совсем не в восторге от ситуации и спрашивает, могут ли они завтра вместе с ван Лоон зайти к нам, чтобы еще раз обсудить создавшееся положение и осмотреть больного.

Назавтра они действительно были здесь. Постюма – приятный открытый человек, говорит очень быстро. Сообщаю, что ценю их готовность прийти и приношу извинения за вчерашнюю резкость по телефону. Ван Лоон криво улыбается.

Мы направляемся к Схоонховену. Он тоже криво улыбается, когда мы к нему заходим. Постюма присаживается к нему на кровать и пробует заговорить с ним. Ван Лоон, как-то неестественно вытянувшись, стоит рядом. В голосе Постюмы звучит искренняя озабоченность, он начинает не без околичностей: «Да, ваш врач всё нам рассказал, э-э, что вам, собственно, доставляет много хлопот ваше нынешнее состояние». На что Схоонховен: «Я хочу умереть. Сделайте мне укол. Почему вы меня мучаете, после всего, что случилось?»

Потом, уже в моем кабинете они восклицают наперебой: «О господи! Надо же! Какой ужас! Что от него осталось!»

– Но настоящей боли у него нет, – вступает ван Лоон. И продолжает:  
– Ты не думал о том, чтобы давать ему преднизон? Если в высоких дозах...

– Но он об этом не просит, – возражаю я. – К тому же нам придется снова говорить об этом еще через три недели. И почему нужно ждать того, что ты называешь «настоящей болью»? Почему, пока человек не станет околевать, мы его желание не принимаем всерьез? Если отвлекающий маневр с преднизоном позволит делу идти своим ходом достаточно долго, то в конце концов пациент сможет лишь бессвязно хрипеть, и тогда уже будут все основания сказать, что из этого невозможно вычленить сколько-нибудь внятное желание смерти. Чего ты боишься? Что он умрет? Что ты умрешь? Что от твоей биохимии нет никакого толку?

Постюма старательно записывает в досье свое веское мнение о «казусе», как он его называет, и подчеркнуто не вмешивается в наш разговор. Они оба не в белых халатах, и в своей будничной одежде, бедняги, смотрятся как прилежные старшекласники перед контрольной работой, году эдак в 1962 или около того. Думаю, они рассматривают всё происшествие как некий инцидент, как пример того, что, вообще говоря, никогда не случается. Я только не могу понять, чего боится ван Лоон и почему она пошла в медицину. Почему они стали медиками? Ведь не только биохимию собирались они штудировать, но и хотели что-то «делать с людьми». И вот у них появился шанс пойти навстречу человеку, а они бегут прочь от страха. Как бы то ни было, завтра он сможет умереть.

На следующий день застаю Схоонховена в прекрасном настроении, он почти весел. В 9 утра он сидит на кровати и бреется. «Чтобы парню не пришлось потом меня брить. Моя дочь с мужем уже здесь?»

В 10 часов захожу в палату с чашей цикуты<sup>[130]</sup>. Схоонховен вполне хозяин положения: «О, нужно это выпить? Давайте сюда!»

Хотя, пока он пьет, мы стараемся по возможности держать его прямо, поторопившись, он закашлялся, и по крайней мере половина того, что попало в горло, через трубочку, вероятно, выплеснулось наружу. Откашлявшись, он жестом показывает, что хочет еще. Увидев, как дрожит в его руках стакан, который он через силу подносит ко рту, я понимаю, насколько отвратительно должен он себя чувствовать,

чтобы в присутствии своей дочери с такой жадностью искать себе смерти.

Осторожно укладываем его на подушки. Дочь сидит рядом с ним. Он спокойно смотрит на нее и спрашивает: «Я всё правильно делаю?» Она смеется сквозь слезы и гладит его лицо, говоря ему еще несколько слов: «Теперь ты пойдешь к Герри... и к Адри... и к маме... и к Мипи».

Услышав о Мипи, он вдруг открывает глаза: «Но это же кошка!»

– Ничего, – говорит дочь, – конечно, они принимают и кошек.

Озадаченный, он еще пару раз пробормотал: «Кошку...» – и засмеялся, чуть вздернув плечи. Это было его последним движением. Десять минут спустя он был уже мертв.

Мы тихо сидим и смотрим на него, а потом я рассказываю сон, приснившийся мне этой ночью. Он взял стакан с ядом и, когда его выпил, сказал, к нашему ужасу: «Хм, я чувствую себя гораздо лучше», – встал с кровати и исчез в праздничном веселье, которое шло в коридорах под музыку нескольких групп духовых и ударных. Слегка рассерженные таким поворотом дела, мы, протиснувшись в дверь, бросились на его поиски. Что за чёрт, ведь он хотел умереть? Мы же так не договаривались. Его поведение казалось нам нелепым, предосудительным, более того – возмутительным.

В несколько более смутной форме накануне вечером ей пришло в голову нечто подобное: если бы он, оставшись один, умер этой ночью, она бы расстроилась и чувствовала бы себя так, словно ее обманули.

Вскоре прибывают судебный медик и представитель уголовной полиции. В деле нет никаких затруднений, и офицер полиции – вновь приходит на память Пилат – разрешает выдачу тела. Во время разговора с ними звонит портье с сообщением, что прибыла семья менеера Схоонховена и хотела бы со мной побеседовать. Это меня пугает. Возникает чувство, что ты попался, хотя формально всё в полном порядке. Неужели опять какой-нибудь сумасшедший племянник?

Когда я спускаюсь вниз, выясняется, что это его соседи. Они посещали его в последний раз в больнице Хет Феем, а сейчас пришли в Де Лифдеберг. Я сообщаю им, что сегодня утром он умер, и женщина спрашивает: «Доктор, он при этом очень страдал?» Я отвечаю, что он

мирно уснул. Женщина хватается мою руку: «Конечно, вы ему немного помогли, правда? Надеюсь, что да. Вы можете не говорить, но он так хотел умереть, он был так ужасно болен».

Мне захотелось ее поцеловать, потому что один из самых мучительных аспектов управляемой смерти – гложущее сомнение, действительно ли пациент хочет умереть. Его соседи сняли у меня с души камень.

Тем не менее происходит еще один инцидент. Около трех часов дня звонит некая Класке де Хаас, психолог из больницы Хет Феем. Она хотела бы поговорить со мной в связи с изучением качества жизни пациентов с раком горла. Она осведомляется, как дела у Схоонховена, так как снова подошла его «очередь». По-видимому, она зондирует почву через определенные промежутки времени. Тогда получаешь великолепную последовательность.

Стараюсь сдерживаться. «Вы изучаете качество жизни больных раком горла? И вы наблюдаете их в течение долгого времени?»

Растущее бешенство в моем голосе совершенно от нее ускользает, и она бойко отвечает: «Конечно, именно так».

– Но, ради всего святого, что вы надеетесь обнаружить? Что чем ближе смерть, тем лучше они себя чувствуют?

– Не вижу необходимости оправдывать перед вами свои исследования, – говорит она твердо.

– И не пытайтесь, – бросаю я зло, – а что касается менеера Схоонховена, он умер сегодня утром.

И кладу трубку.

## Медицина как потаскушка

Захожу в Де Лифдеберг, и навстречу мне выкатывается Арий Вермёйлен. На сей раз не с застывшей ухмылкой, а с почти победоносной улыбкой. Он возлежит на мобильных носилках, сопровождаемый двумя санитарями, расторопными парнями в белых, отлично сшитых кожаных куртках. Ясно, направляются к быстрой, как стрела, машине «скорой помощи», стоящей прямо у выхода, – только что выдернули из американского телесериала.

– Ага, и куда же это? – спрашиваю у Ария.

– В Утрехт, – отвечает он, широко улыбаясь.

– Ну что ж, прекрасно, наверное, случилось что-то особенное? У мамы день рождения, кошка захворала, крыша течет?

– Для проведения МРТ, – отвечает один из сопровождающих.

– А-а, вот оно как, – откликаюсь я в изумлении.

Ничего не понимаю. Магниторезонансная томография, какой в этом смысл? Кто ее мог назначить?

После нескольких телефонных звонков выясняется, что вся история была организована доктором Вермёйленом, который приходится Арию дядей; он стоит за всем этим и нажал на все рычаги, чтобы исследовать возможно обратимые причины психического состояния своего племянника.

Этот Вермёйлен рентгенолог, но не в нашем городе, чем прекрасно объясняется то, что он ни разу не посетил Ария в Де Лифдеберге. Разумеется, МРТ-диагностику он счел тем более необходимой, когда выяснилось, что всё медицинское оборудование поблизости от нас вышло из строя или занято, так что в конце концов нужно было отправиться в Утрехт, где Вермёйлен, похерив все свои планы, втиснет Ария в подведомственный ему агрегат.

Всё это преспокойно объяснил мне невролог из больницы Хет Феем, который был на связи с Утрехтом. «А может быть, – не могу смолчать, – стоило бы доктора Вермёйлена, который всё это устроил, и самого засунуть в томограф, потому что у него, похоже, не всё в порядке с головой. Что, чёрт возьми, он ожидает найти у ВИЧ-пациента в такой стадии?»

Мой собеседник, само собой разумеется, всё это уже давно понял, но перед натиском Вермёйлена всё же не устоял. Он чувствует, что его оставили в дураках, и, вполне логично, яростно набрасывается на меня: «То, что вы говорите, свидетельствует о вопиющем отсутствии коллегиальности. Вы не имеете никакого права так пренебрежительно отзываться о диагностике, глубокий смысл которой от вас, вероятно, ускользает. И к тому же за спиной коллеги, который умеет соединить большую личную вовлеченность с использованием высоких технических достижений».

«Виноват, – говорю я, – больше не буду. Но если вы не смогли скрыть от меня своего возмущения, то и я, со своей стороны, могу вас заверить: если в мозге Ария вы сумеете нащупать обратимую причину его нынешнего умственного состояния, я готов съесть весь ваш томограф и присудить вам в будущем году Нобелевскую премию по медицине, даже до того, как станут известны последние сведения из ведущих американских лабораторий».

L'espérance trompeuse [Обманчивая надежда], или, скажем, la médecine trompeuse [обманчивая медицина]<sup>[131]</sup>, медицина как девка на приятной дороге к смерти. Но так ли уж приятно сканирование? Для Вермёйлена несомненно, а для Ария?

Вот и выясняется, что долго обучавшийся специалист способен перед лицом смерти наделать куда больше безумных вещей, чем первый попавшийся охваченный паникой практикант.

Люкас Хейлигерс между тем вполне обжился. И добился известности. Трижды рассказывал он мне про лагерьный синдром и расстрел своего отца, который ему пришлось пережить, когда он еще был ребенком. И всё это во всеуслышание.

Не могу этому безоговорочно верить, потому что, по моим сведениям, в 1945 году ему было всего шесть лет и он не еврей. Он не может или не хочет сказать мне, какой именно лагерь вызвал у него этот синдром. На мой вопрос, не был ли его отец расстрелян уже после войны в одном из лагерей для голландцев, сотрудничавших с оккупантами, – мы не можем исключать и такой возможности, – я получил только презрительную улыбку.

Чтобы показать, что он человек мира, поэт, настоящий пират и отменный любовник, он успел схватить нескольких медсестер за

промежность. Когда одна из них дала ему увесистую пощечину, последовал следующий комментарий: «Девки в этой дыре, видать, ни к чему не привыкли». Мике вежливо указала ему на то, что его поведение абсолютно неприемлемо и что ей за него стыдно.

– Не знаю, где вы осваивали вашу потрясающую сексуальную технику, может быть, в какой-нибудь камасутре для тракторов, но так или иначе я должна вас предостеречь: следующий разговор на эту тему состоится с полицией, мы подадим официальное заявление о хулиганстве.

– Она и вправду так делает? – осведомляется он у меня.

– Будь мужчиной, Люкас, возьми и попробуй! – говорю я ему.

– И от тебя тоже ни хрена не добьешься, – фыркает он.

Вечером, после нашего бодрого диалога, Люкас выпил больше обычного и около двух часов ночи завалился в постель. Заглянув на следующее утро к нему в палату, я чуть не задохнулся от невообразимой вони. Среди ночи, когда он лежал на спине, из него ударил настоящий рвотный фонтан, прямо вверх, и всё это обрушилось ему на лицо, на волосы, на подушку. Мало того, вдобавок его прохватил понос, и он загадил постель. Что касается малой нужды, понятно, тут уже было вообще не о чем говорить.

Теперь он лежит вопя и стеная, и никто не приходит к нему на помощь. Я посоветовал ему вести себя тихо и принести извинения. «И тогда, будем надеяться, „девки“, как ты их называешь, тебе помогут». Они это и сделали, но только вечером, в половине седьмого.

Мефроу Линдебоом страдает от боли. Нужно провести полное обследование. У нее плохой день. Ее соседка по палате, мефроу ван Схевенинген, при смерти. Мефроу Линдебоом неожиданно с раздражением отзывается об этой женщине: «У нее нет детей, так что она была лишена возможности демонстрировать свои капризы после родов, поэтому она решила делать это на смертном одре. Вчера было всё безнадежно. Весь день она стонала и охала „я умираю, я умираю“, а сегодня ей лучше, и она твердит: „Я хочу умереть, я хочу умереть“».

После того как я закончил осмотр, она с жалостью оглядывает себя и говорит: «Чем хуже люди воспитаны, тем лучше они могут это переносить». Относящееся к XIX веку замечание по адресу низших



сословий, которые, поскольку живут ближе к животным, меньше знают и меньше чувствуют.

Мне уже приходилось сталкиваться с этим суждением, которое шло «снизу вверх», но тогда оно звучало гораздо более правдиво и более обоснованно. Я имею в виду *De Profundis* Оскара Уайлда, где он рассказывает, как один заключенный подошел к нему, прошептал: «It is so much worse for the likes of you than it is for the likes of us» [«Таким, как вы, куда труднее, чем таким, как мы»].

Мефроу ван Схевенинген действительно ужасно плаксива и говорит, и меня это раздражает, всё время с каким-то всхлипыванием. Уже не один год ее племянница Антуанетта должна распорядиться всеми ее делами, и прежде всего неприятными. И это вновь всплывает в нашем с ней разговоре.

– Не смогли бы вы уделить мне несколько минут? – спрашиваю я, сопровождая свой вопрос осторожным стуком в ее дверь, потому что она лежит в постели, сощуриив глаза, и считает себя слишком от всего отрешенной, чтобы когда-либо вновь открыть их.

– Кто там? Ах, это вы, доктор? – она всё же открывает глаза.

Мы болтаем немного о том о сём, и я спрашиваю ее вскользь:

– А что вы думаете произойдет после вашей смерти?

– Ну, тогда меня сожгут.

– Нет, я имею в виду с вашей душой.

– О господи, этого я не знаю, я слишком плохо себя чувствую, чтобы думать об этом, так что придется позаботиться Антуанетте.

Арий Вермёйлен снова совершил попытку самоубийства. Утром я заходил к нему, чтобы в который раз попытаться выпросить у него телефон его матери. После долгих поисков он дает мне номер телефона в Тилбурге, и я хочу немедленно позвонить. Но не успел я подойти к двери, как он зовет меня обратно: «Да, э-э, собственно, там ее нет. Вообще-то, она в Тилбурге. Но не по этому номеру».

«О, а есть другой номер, по которому можно ее застать?» Он отвечает, что не знает. Потом с ним «очень хорошо» поговорил социальный работник, однако стоило тому закрыть за собой дверь, как Арий забрался на свою тумбочку, потянул за шнур потолочную лампу, обмотал шнур вокруг шеи и совершил славный прыжок в бездну. От толчка тумбочка упала, рывок шнура вырвал стеклянный плафон из цоколя, и, пролетев 125 сантиметров, Арий с оглушительным грохотом

приземлился на пол, сопровождаемый дождем разбитого стекла, опрокинутым блюдцем с яблочным муссом, таблетками, порошками и соками.

Там и нашла его Мике, осыпанного остатками лампы, с бессмысленно неподвижным взглядом и электрическим проводом вокруг шеи.

Происшествие взбудоражило всё отделение, и прежде всего Хейлигерс уже тут как тут. «Почему бы этому парню не написать книгу? Я уже придумал заглавие: *How not to kill yourself in fifty uneasy tries* [Как не убить себя при пятидесяти нелегких попытках]».

Я написал матери Ария короткое письмо с настоятельной просьбой приехать поговорить. Я с удовольствием бы ее увидел, чтобы кое-что выведать об ее сыне.

Несмотря на всю эту констернацию, направляюсь к мефроу Понятовски. Она пригласила меня на стаканчик вина. Мне приятно быть с ней. У нее рак легких. «И я знаю почему», – говорит она, подрагивая сигаретой в уголке рта. Не знаю, как в последние месяцы она справлялась со своим диагнозом, но во всяком случае на ней никаких следов растерянного метания перед лицом смерти. Хотя она и раскинула бивуак у самого края бездны, каморку ее никак нельзя назвать уютной. После некоторой возни с пробкой, в чём она не дает мне помочь, наконец бутылка откупорена. Мы чокаемся: «И чтобы мне еще дожить до восьмидесяти, доктор!»

Я смотрю на нее немного оторопело, осмеливаясь только чуть-чуть пригубить рюмку, потому что до восьмидесяти ей никак не дожить. При этом я думаю, что уж, конечно, она должна знать, что дела ее плохи.

Она смотрит на меня с некоторым колебанием и быстро говорит: «Не волнуйся, мой мальчик, мне уже семьдесят девять и через три недели будет восемьдесят. Так что доживу, не правда ли?»

Аллилуйя! Налей-ка еще! Я никогда не давал ей больше семидесяти двух.

В медицинском журнале читаю некролог на смерть доктора Тен Дралена. Пишут, что он «может служить примером», поскольку «всего себя отдавал пациентам, день и ночь готов был прийти им на помощь»,

и «в торжественные дни его мантия была украшена регалиями почетных докторских степеней различных университетов». Некролог заканчивается словами: «Мы желаем мужества его жене Илке и детям». Вот опять выдающийся коллега, о котором мы никогда больше ничего не услышим. С каким облегчением я бы прочел вместо этого: «Мы, собственно, уже немного забыли доктора Тен Дралена, и пришедшее из Южной Франции сообщение о его смерти, настигшее нас после того как шесть лет назад он вышел на пенсию, прозвучало, как голос из гроба, и вновь напомнило о том, как мало значат наши уверения, что „Мы никогда не забудем Тен Дралена“». Мы тоже будем забыты.

Менеер Барендс скончался. Семья дала знать Мике, чтобы она распорядилась его одеждой. Она тут же подумала обо мне, потому что у Барендса были сорочки традиционного фасона без воротника, довоенного типа, из ткани в полоску. Я захожу в его палату, где лежит стопка одежды, и начинаю ее разбирать. Время от времени я поднимаю перед собой сорочку, чтобы как следует ее рассмотреть, как бывает при распродаже. Я уже был занят этим какое-то время, как вдруг меня поразила наступившая тишина, и я глянул вокруг. На меня с ужасом смотрели с каждой из четырех коек. В глазах людей читалось: врач называется, а сам крадет одежду умершего!

Я даже не попытался что-либо объяснить. До смерти пристыженный, я стремглав выскочил из палаты. Пусть Мике сама отложит мне пару сорочек.

## Майские дни

Сегодня утром мне предстоит осмотр менеера Де Зееюва. Сочувственно, но и со смехом кивает он на свое мужское достоинство: «Да-а, не много от него осталось, а? Пригоршня сморщенной кожи, и всё тут. Раньше мог этой штукой стекло выбить, а сейчас разве что протереть».

В редакции нашей больничной газеты возникла идея напечатать в майском номере рассказы людей о том, что им принес день 5 мая 1945 года<sup>[132]</sup>. Идея всем показалась занятной, и мы рассчитывали услышать о шведском белом хлебе, сумасбродной поездке на краденном немецком автомобиле, незабываемом деревенском празднике, последней ночи оккупации, проведенной с плачущим немцем, или первой ночи освобождения – так, пожалуй, получше – со смеющимся американцем.

Ну и поскольку я был у Де Зееюва, то я и спросил его, каким был для него день 5 мая 1945 года.

– Насколько серьезно вы относитесь к врачебной тайне, доктор?

– Не вижу связи, но вполне серьезно, я полагаю.

– Тогда под строжайшим секретом я расскажу вам, где я был 5 мая.

– Честным словом обещаю, – говорю я, по-скаутски.

– 5 мая 1945 года я целый день ревел и дрожал от страха. Я сидел под грудой коробок, старой одежды и чемоданов в подвале моей подруги на Мортирстраат. Она привела меня туда накануне вечером, чтобы дать мне убежище. Мы были настроены пронемецки и боялись расправы. Да, вас это удивляет?

– Откровенно говоря, да. Ну и что было дальше?

Он рассказывает, что через три дня его наконец всё же нашли в этом подвале.

– Ясно, что предали. Хотя для вас это, может быть, и не то слово. Нет, пусть, – защищается он, увидев, что я хочу его перебить. – Для вас всё это история.

Он был арестован канадцами. По дороге в тюрьму произошла безобразная сцена. Его узнали, собралась небольшая толпа. Люди окружили его и солдат. Раздавались крики, что его нужно расстрелять.

Один из канадцев схватил самого заметного крикуна и дал ему свой пистолет со словами: «Okay. You shoot him» [«О'кей. Застрели его»].

Де Зееюв обезумел от страха. «Парень обкакался, как и я. Он к пистолету даже не прикоснулся». Они сразу рассыпались. «Так что я хорошо отделался. Но это был худший момент в моей жизни. Сознать, что другой человек может тебя пришибить, как муху. До сих пор стыдно, как вспомню о том моем страхе. Я даже Агнес никогда не рассказывал об этом, до того как в 1963 году он вдруг снова вернулся, когда я увидел по телевизору Ли Харви Освальда: как этот бедняга пытался руками защититься от пуль Джека Руби<sup>[133]</sup>».

Де Зееюв был приговорен к семи годам тюрьмы. После всяческих злоключений в голландских лагерях он в конце концов оказался на своего рода принудительных работах в провинции Дренте<sup>[134]</sup>. В 1951 году его освободили, и в возрасте 46 лет он оказался на улице, без дома, без денег; жена и дочь его покинули. И снова он пришел к Агнес, подруге, прятавшей его 5 мая 1945 года. После войны ни в одной организации он больше не состоял, хоть бы и в объединении смотрителей детских площадок.

Вторая мировая война для моего поколения – как ужасное несчастье, на которое мы опоздали. То есть именно тогда, когда мы оказываемся на месте несчастья, машина «скорой помощи» уже уезжает оттуда. Одна дверь еще открыта, но рука неуверенно нащупывает ручку, и дверь захлопывается. Чтобы получить информацию о произошедшем, мы вынуждены полагаться на бессвязные рассказы зевак. Де Зееюв рассказывает байку об оркестре, словно нацизм был чем-то вроде деревенских фанфар, празднества которых в конце несколько вышли из рамок.

О поведении населения до нас доходят вообще крайне односторонние сообщения. У нас дома сцена с тетей Крис была своего рода эмблемой: у одного грабившего немецкого солдата она выхватила из рук велосипед. История, из которой среди прочего должно было следовать, что нидерландское население не запугаешь и люди не позволят, чтобы какой-то обормот из Германии отнял у них велосипед.

В школе мы смотрели на Германию сквозь газовые камеры. Где-то за невообразимой горой убитых евреев жили немцы. И еще в прошлом году, когда я сказал, что мы поедem в отпуск в Германию, каждый удивлялся: «В Германию?» Словно они хотели спросить: «В Дахау?»

Но рассказ Де Зееюва действительно звучит так, словно он летним вечером брел за этим оркестром, пока в конце концов не оказался в гуще отвратительной бойни.

– Стать членом национал-социалистического движения (NSB) – это ведь не то же самое, что пойти в бордель ради приятной беседы? Ты же точно знал, куда всё это ведет? – спрашиваю я.

– Нет, конечно нет. Только если всё уже позади, мы говорим, что мы знали, куда это привело бы. Говорить так, как вы, не совсем честно. Ведь вы, поскольку родились после всего этого, точно знаете, что было дальше. Но для нас время между двух войн не было временем между двух войн. Такие простые слова, почти само собой разумеющиеся, но самое существенное они не учитывают. Я приведу вам схожий пример. В прошлом году я слышал, как мать спрашивала своего сына, больного СПИДом: «Если оглянуться назад, скажи, стоило ли это делать?» Да, люди задают себе такие вопросы. Но ведь это совершенно неверный вопрос. Много ли этот малый знал, что из всего этого выйдет? То же самое с NSB. Вы видите там только газовые камеры, а я, вероятно, видел массу радостно развевающихся знамен.

– И всё-таки я уверен, что в этом конкретном случае истина находится не посередине.

– Нет, я тоже не стал бы этого утверждать. Только не забывайте, пожалуйста, о врачебной тайне, а то мне жизни не будет, вы же понимаете.

И после этого я всё время думаю о высказывании Билла Молдена<sup>[135]</sup>: «Что мы узнали из Второй мировой войны? Сколько крови может вылиться из человеческого тела».

Неудобные дни для Де Зееюва.

Люкас Хейлигерс, или «писучее чудовище Х.», как Мике окрестила его с лёгким поклоном в сторону Реве, оседлал своего любимого конька. Чаще всего он хвастается, неуклюже поворачиваясь из стороны в сторону, какие женщины и издатели выстраиваются к нему в очередь, сегодня же он явно расположен делать более связные сообщения.

«В сборнике рассказов *De kip die over de soep vloog* [Курица, которая пролетела над супом] Франс Пойнтл<sup>[136]</sup> говорит о том, что Холокост в определенной степени был изобретением семидесятих-восьмидесятих годов. Я не имею в виду, что события эти были

изобретены, но что вожделенный танец со смертью вокруг этих событий пошел в ход именно в эти годы. Читая Пойнтла, просто невозможно поверить, чтобы сразу после войны голландцы так обращались с людьми, пережившими то, что тогда еще не звалось Холокостом. Пойнтл разворачивает перед нами ряд сделанных как гравюры сухой иглой набросков, вызывающих простейший вопрос: как можно было не обласкать таких горемык?» Люкас рассказывает об одной из своих теток, которая пережила Аушвиц и после всяческих мытарств оказалась в Стокгольме. От нидерландского посольства, после бесконечных разглагольствований, она получила наконец деньги, чтобы отправиться в Амстердам. До этого она всё же должна была подписать всевозможные документы с обязательством о возврате долга, к чему и должна была приступить через месяц после возвращения домой. Всё это она добросовестно выполнила. Каждый месяц пять жалких гульденов, без которых она едва могла обойтись. И только в 1972 году Хейлигерс услышал, как она сказала: «Я всё это честно выплатила, но теперь могу быть от бешенства из-за этой тупой бессердечности».

Лишь в 1972 году она пришла в бешенство. Люкас рассматривает это как знаменательный интервал. Пойнтл почувствовал злость только в 1981 году; тогда он и начал писать.

Кроме того, я получаю еще и стихотворение Хейлигерса, после того как он охарактеризовал смерть как «неожиданно мокро пукнуть», уточнив: «Неожиданно – не в том, что пукнуть, а в том, что мокро, усёк?»

смерть как маленький безобидный гипсовый сфинкс,  
что уже годы стоит на камине и вдруг однажды,  
когдаходишь в комнату, он встает, выпрямляясь,  
что за странность, думаешь ты,  
это твоя последняя мысль, ведь эта вещь говорит:  
«стой,  
ты теперь должен  
сойти по ступеням  
в могилу

со мной».

«Так что, если у тебя в доме где-нибудь есть камин, пожалуйста, поставь что-нибудь на него. М-м?»»



## Арий и обычные похороны

Ночью приснилось, что мы карикатурно выискивали примечательные особенности некоторых университетских зданий, которые я больше всего ненавижу, и, собственно, до сих пор ненавижу. Мы особо подчеркивали безнадежную тусклость колоссального мавзолея, в котором нам преподавали патологию, и говорили, бросая взгляд на мерзостные каменные массы, где всегда ревел ледяной ветер: «Слышишь, евреи призывают напрасно?» Майские дни.

Сегодня восхитительный день. Глядя на великолепную весеннюю зелень перед своим окном, Арий решительным тоном говорит Мике: «Да, когда такая погода, на что мне эвтаназия? И тогда пусть будут обычные похороны».

«И я бы так поступила», – отвечает Мике с такой же решительностью. И действительно, начинает казаться, что отклонения следует искать скорее в его нейронах, чем в его жизни.

«Доктор, почему у меня боли в груди?» – спрашивает пациент.

«У вас пропускает сердечный клапан», – отвечает доктор.

«Да, но почему он у меня пропускает?»

«Сейчас позвоню вашему священнику».

Захожу в палату к мейфру Понятовски и вижу, что она у окна возится с поясом, пытается щипцами проделать лишние дырочки. Она всё больше худеет и у нее не хватает сил справиться со щипцами. Беру пояс у нее из рук и, с силой нажимая щипцами, пробиваю еще одну дырочку.

– Сделай-ка мне еще одну, – просит она, – сделай побольше.

Какой неприятный звук издают эти щипцы! При каждом щелчке мы чувствуем всё пронзительнее, что каждое прокалывание – это отрезок пути.

Между тем она наливает вина. Смотрю на ее милое лицо, вижу обезоруживающий взгляд ее добрых темных глаз и слышу ее вопрос: «Сколько еще дырочек, как ты думаешь?»

«Этого я не знаю».

Люкас Хейлигерс вспоминает о разговоре в комнате отдыха. Дочь одного из пациентов рассказывала о своей поездке в Помпеи. Она была потрясена, увидев, как ей показалось, на некоторых лицах выражение страха<sup>[137]</sup>. Подруга рассказывала ей, что в прошлый раз она «видела там всю семью, сидевшую за столом».

Люкас сомневается, что в Помпеях можно было увидеть нечто подобное. Ему кажется почти невероятным, чтобы можно было наткнуться на сидящую за столом семью, застигнутую вулканическим пеплом, потому что дождь пепла и потоки лавы не похоронили бы их столь внезапно. Иными словами: «вся семья за столом» как воспоминание – порождение чего-то совсем другого, а не того, что там было на самом деле.

Замечательно в ее рассказе, что семью эту она видела «в прошлый раз». И он делает вывод: конечно, ты не сможешь писать, если никогда не видишь такую сидящую за столом семью.

Он рассказывает мне еще об одном ярком примере катастрофилии, или жажды событий (самого стойкого у человека ответвления исследовательского инстинкта молодого животного). Его дядя в 1952 году покинул духовную семинарию, чтобы отправиться добровольцем в Корею в безоглядном бегстве от бессобытийной пустоты пастырского существования.

## Всё те же вопросы, всё те же ответы

Договорившись по телефону о встрече, мне представляется менеер Тьядема, судя по его визитной карточке – директор какого-то консультационного бюро, щедро одаренный академическими титулами. Для своей жены, которая поступает к нам для лечения перелома, он требует отдельную палату, в противном случае направление будет аннулировано.

Я излагаю, как обстоят наши дела: у меня нет отдельной палаты для его жены, так как мы не получаем от правительства столько денег, чтобы иметь достаточное количество отдельных палат. Деньги в области здравоохранения идут не на профилактику и не на обслуживание, а на диагностику. «В больнице Хет Феем, где сейчас находится ваша супруга, доктор сумел раздобыть миллионы на самый сложный томограф, с помощью которого можно выявить цвет клеток мозга: голубоватые они или сероватые. Тогда как в Де Лифдеберге, в том же веке, на той же планете, по финансовым причинам мы не можем помочь вам пописать или покакать, если приспичит».

«Но от вас, кажется, ускользает, что реабилитация моей жены рискует потерпеть неудачу, если она будет находиться в многоместной палате. Вы сознательно подвергаете риску ее здоровье».

Я говорю, что его слова напоминают мне того доктора, с его хитроумным томографом. «Процедуру называют также „взятием заложника“. Доктор обещает исследовать, какого оттенка ваши мозговые клетки: голубоватые или сероватые. Он не несет ответственности за последствия незнания в этом вопросе, но в глубоких складках его лба написано симпатическими чернилами: если мы не узнаем цвет ваших мозговых клеток, то в один прекрасный день вы можете умереть. Великое Умолчание состоит в том, что вы действительно можете умереть, и мы, со своим знанием цвета ваших мозговых клеток, никак не могли бы здесь ничего изменить. Но я утрирую. Это, собственно, никакое не умолчание, просто никто не желает этого слушать».

Он спрашивает, могу ли я объяснить, как такое происходит, что мы охотно тратим деньги на всякую электронную трескотню, дающую

никому не нужную информацию, вместо того чтобы выделять средства для нормального обслуживания пациентов.

«Одна из важных причин, я думаю, состоит в том, что мы всё еще хотим знать, для чего мы на этой земле и почему мы страдаем. Прежний ответ – очищение на земле и предстоящая награда на небесах – уже нас не удовлетворяет. Мы больше не знаем точно, что мы делаем и почему, и поэтому наблюдаем за тем, что делают наши молекулы».

«И в этом причина, почему мы теперь как ненормальные занялись сканированием и тратим на это так много денег. Таким образом, вы хотите мне сообщить, что не можете предоставить моей жене отдельную палату, поскольку Бог умер, поскольку естественные науки одержали победу над теологией, поскольку мы больше понимаем в натрии, чем в самих себе?»

«Да, приблизительно так. Удовлетворил вас мой ответ?»

«Вообще-то, нет, но своей жене я всё-таки его передам».

«The old questions, the old answers, there's nothing like them» [«Старые вопросы, старые ответы, нет ничего лучше»]<sup>[138]</sup>, – говорит Беккетт. Но очищение в жизни и затем завершение в смерти, думал я, оставлено навсегда. Огонь земного чистилища не очищает, а опалает. И всё.

Так мы видим это сегодня. Но вернемся к истории. Религия теряла под собой почву по мере того, как всё большую территорию завоевывала наука. Поясню. Я имею в виду *Entzauberung der Welt* [расколдовывание мира]<sup>[139]</sup>: гроза объясняется не злыми ударами молота Тора<sup>[140]</sup>, но электрическими разрядами. *Электрический* ответ предполагает и избавление от Тора, и невозможность и дальше вопрошать мир: почему ты это делаешь? Если спрашивали Тора, он сказал бы: потому что я был разгневан. Но электрическим искрам не задашь такого вопроса.

От грозы перейдем к болезни. В древнем анимистическом мире, который взирал на нас, на который мы могли злиться и который могли благодарить; другими словами, в наполненном нами мире болезнь представляла собой вполне понятный удар, который мир всегда готов был нам нанести. Для болезни всегда была какая-нибудь причина: срубил не то дерево, принес слишком скудную жертву богам, был слишком жесток в сражении и т. д. Но если сегодня кто-либо спросит

врача, в чем причина его болезни, тот скажет: «В том, что у вас слишком узкие коронарные артерии», – странный ответ, если, вообще говоря, спрашивающий имеет в виду, почему это должно было случиться именно с ним?

«Что у меня за болезнь?»

«Пропускает сердечный клапан».

«Да, но почему это у меня?»

«Минуточку, сейчас позвоню вашему священнику».

Таким образом получают гидравлический ответ на экзистенциальный вопрос. Думаю, что многие довольны медициной потому, что врач так экзистенциально всё видит благодаря гидравлическому подходу; поэтому у них создается впечатление, что врач им разъяснил, в чём суть их болезни. Стоит вспомнить мою мать и жидкость у нее в животе: «как только вода дойдет до ее сердца». Очевидно, что тогда уже не важно то, что клапаны больше не имеют в себе ничего гидравлического. Или еще лучше: дело в том, чтобы, говоря о клапанах, избавиться от гидравлики. Если больной в состоянии хоть немного метафизически покопаться в доставшихся ему клапанах, он и сам прекрасно сможет найти ответ.

Но путаница присутствует также и на другой стороне: многие врачи полагают, что все разговоры о клапанах, костях, артериях, почках и так далее затрагивают самую суть жизни. И поскольку они уже много знают о костях и прочем, они полагают, что много знают и о самой жизни.

Если висишь на тонкой веревке над пропастью, будешь, затаив дыхание, прислушиваться к специалисту по веревкам, знающему их прочность, и в точности следовать его указаниям. Но чтобы, основываясь на полученном опыте, рассматривать такого специалиста как мудреца, знатока жизни, пусть даже ему известно абсолютно всё о веревках, требуется нечто иное.

Самые интересные вопросы относительно нашей жизни касаются не клапанов, веревок или костей. Виттгенштайн:

«Wir fühlen, daß, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht

berührt sind.

Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort»

[«Мы чувствуем, что, если бы и существовал ответ на все возможные научные вопросы, проблемы жизни не были бы при этом даже затронуты.

Впрочем, тогда больше и не остается никаких вопросов; это как раз и есть ответ»]<sup>[141]</sup>.

Высказывание, две первые строчки которого поистине приносят мне облегчение, но посреди последней строки всегда возникает чувство, что у меня забирают лестницу, по которой я еще не начал взбираться.

## Вопросы жизни и вопросы науки

У мефроу Понятовски побывал ее брат, прямо из Америки. Она рассказывает, как они встретились. На ее вопрос: «Грегор! Грегор, как ты?» – он откликнулся: «Well, I grew a lot older, greyer and uglier, just like you» [«Ну постарел, поседел, подурнел, как ты»]. Она горда тем, что он ответил как настоящий американец.

Они часами говорили о прошлом. «Обо всех, кого мы знали и кто уже умер. У него умерла жена, у меня муж».

Ее муж умер, когда ей было 58 лет. «Мой муж, знаете ли, был очень... Ах, к чему это, он умер. Он был мне хорошим мужем. Но в последние годы у него было так плохо с сердцем, что, в общем, это уже была не жизнь. Так что было не так уж и плохо, что он умер. И всё-таки я думала тогда: ну что теперь со мной будет?»

Она делает глоток вина, затягивается сигаретой и говорит: «Ну, было, в общем, не так уж плохо». Сначала она делала всё возможное, чтобы чувствовать, что ей его не хватает, но со временем перестала. И даже влюбилась. «Но и это уже давно в прошлом, а теперь вот у меня рак».

– Жизнь не очень-то справедлива, мефроу.

– О, вам тоже это известно?

Ей тяжело дается проводить брата к выходу.

– Теперь всем заметно.

– Да что же такое заметно?

– Что я так исхудала.

Она и вправду очень бледна, нос заметно заострился. На мертвенно-бледном лице живые, черные как смоль бусинки глаз. За дверью своей палаты она чувствует на себе чужие взгляды. Она думает, что каждому видны знаки близящейся борьбы, которую человек ведет на краю могилы, чтобы с посильным апломбом кануть в ее разверстную пасть.

И думаю, она не ошибается. Я сам смотрел на умирающих такими глазами. На первого смертельно больного пациента, с которым имел дело, я смотрел со страхом и с любопытством. Прибегая к таким выражениям, как «смертельно больной», «смертельно усталый», «смертельно унылый», «смертельно серьезный», я лишь слегка прикрывал рвущуюся наружу страшную правду: «ТЫ ВЕДЬ

ЗНАЕШЬ, ЧТО УМИРАЕШЬ?» Так, должно быть, я смотрел тогда на этого пациента.

Посреди коридора, где вереницей выстроились инвалидные кресла, вспоминаю о том, что этой ночью, во сне, и я стоял в точно таком же коридоре. Брам Хогерзейл тоже был там. Я наклоняюсь и целую кого-то в волосы, как целую иногда свою дочь. Брам хочет, чтобы я и его поцеловал. И я целую его в голову, но он, направляя меня, дружески заставляет поцеловать себя в губы. На мгновение я отклоняюсь, но лишь погружаясь в самого себя, и целую его. Его рот – пугающая черная дыра; два оставшихся зуба, далеко отстоящие друг от друга, адская улыбка. Целую его в губы, и меня пронизывает ощущение, словно вишу над его полуоткрытой могилой. Он говорит: «Я знаю, ты меня не оставишь».

Недурная картина: я, как скованный страхом кролик, загипнотизированный удавом его кончины, и он, думающий, что я вприпрыжку прискакал сюда из чистой привязанности.

Карел Ньиуланд – наш новый домашний врач-ассистент. У него трехмесячная стажировка. Красивый, стройный, обходительный молодой человек с модной прической, несколько манерным произношением, думаю, ему года тридцать два, милая жена (физиотерапевт или психолог-клиницист), на подходе второй ребенок, впереди папочкина практика, словом, жизнь, радостно бля, стелется у его ног.

Мы идем с ним по коридорам больницы, беседуя о всевозможных вещах, очевидно и о моей депрессии, потому что, хотя я не помню, с чего именно начался разговор, кажется, мы всё-таки попали в этот тупик, и он спросил меня: «Но нет ли у тебя ощущения, что ты здесь засиделся?» Я невольно отпрянул при этом вопросе, но тут же сообразил: «Если ты имеешь в виду, что моя молодость позади, тогда мой ответ будет: да, моя молодость позади».

В холле мы буквально сталкиваемся с Тейсом Крутом. После того как он некоторое время провел у себя дома, он снова вернулся в Де Лифдеберг. Теперь он уже в другом отделении. Заходит речь о его первом поступлении в нашу больницу: «В прошлом году я был строптивым, потому что с болезнью что-то не ладилось. Это меня



беспокоило. Вы предрекали мне бог знает что, скажу я вам, но мне так и не стало хуже. Собственно, не было никаких признаков ухудшения. Я был просто разочарован».

– А теперь всё по-другому?

– Да, теперь дело пошло. Не могу ходить, говорить всё труднее, руки почти не слушаются и так далее.

– Ну что ж, значит, появился наконец свет в конце туннеля, – говорю я, – хотя кругом всё черно. Какое облегчение, Тейс, что смерть всё же настанет. А ты боялся, что она пройдет мимо.

Несмотря на кривую усмешку, его, судя по всему, удовлетворяет такой финал.

Карел Ньиуланд рассказывает о докторе Твинте из больницы Хёйзе Йоханнес, здесь, в городе, и одном пациенте 89 лет, у которого умерла жена. Через неделю после похорон он просит Твинта об эвтаназии. Твинт отказывает. Он опять просит. Нет. Снова просит. И снова нет. И вот однажды утром человек выбрасывается из окна десятого этажа. При падении он пробивает на первом этаже маркизу от солнца и разбивается насмерть. На первом этаже находится кабинет Твинта, и всё утро он видит, сидя за своим письменным столом, как хлопает на ветру разорванная маркиза. Твинт звонит портье, обслуживающему маркизы, чтобы тот закрыл ее. Но она закрывается с перекосом, потому что падение тела повредило механику.

На следующий день Твинт видит, что маркизу так и не отремонтировали. Он тут же уходит домой, сообщает, что заболел, и никогда больше не возвращается к медицине. Он переквалифицируется и теперь работает библиотекарем в Институте социальной истории.

Так, разговаривая о том о сём, мы с Карелом прохаживаемся по коридорам.

– Одним из захватывающих аспектов медицины является то, что наша профессия учит различать вопросы жизни и вопросы науки, – говорю я.

– Хм, – откликается Карел.

– Подобное назидание потому очевидно, что большинство врачей принимают чисто научную проблему: «Это что – параллельный пипоз?»<sup>[142]</sup> за вопрос жизни.

– Хм. Хм.

– Думаю, что здесь главный источник врачебного высокомерия, – продолжаю я. – Пожалуй, на душе становится легче из-за того, что пресловутый апломб нашей профессии основан на недоразумении? Разумеется, у этого недоразумения большая история. Ведь греки были первыми, кто развел в разные стороны Дух и Материю, разделив тем самым вопросы жизни и вопросы науки. Лучше всего здесь подходит старомодное определение: греки были первыми, кто отделил Богопознание от Природоведения. Всё, что до шестого века было сказано о... да ты меня слушаешь?

– Хм?

– Может, ты перестанешь наконец понимающе хмыкать, в то время как я вожу тебя от одной бездны к другой?

– Но я же выражаю согласие.

– С чем именно?

– Ну, с медицинским апломбом и с тем, что греки были настолько умны, что не делали из всего этого вопроса о жизни.

Мефроу ван Схевенинген за последние несколько недель уменьшалась прямо на глазах. И речь ее ссохлась до kloкочущего бормотания, из которого я давно уже ничего не в состоянии разобрать. Ей оставался шаг до смерти. Нужно было всего только переступить через порог, и всё же прошло несколько часов, пока кто-то заметил, что она мертва.

– Умерла наконец, – с облегчением говорит мефроу Линдебоом, ее соседка по койке.

## Двойное имя как плацебо

Мне приснилось, что Беккетт<sup>[143]</sup> за год до своей смерти поступил в нашу больницу с диагнозом *хроническое воспаление дыхательных путей* («me, the respiratory type?»<sup>[144]</sup>). Он лежит в моем отделении. Всевозможные дыхательные лоскутья из его произведений мелькают у меня в голове («I would not put it past me to pant on to the Transfiguration»<sup>[145]</sup>). Лишь спустя несколько месяцев набрался я мужества сказать ему, что знаю, кто он («my last gasps are not what they might be, the bellows won't go down, the air is choking me»<sup>[146]</sup>). Для него это мало что значит. Но я не останавливаюсь и говорю, что знаю его творчество и высоко ценю его, – «Неправильное выражение», – шипит кто-то, – безумно его почитаю, – «Полная чушь», опять слышу шипение, – от души ему благодарен. «Так лучше?» – спрашиваю я, оглядываясь через плечо. Наконец его лицо поворачивается ко мне, и он долго смотрит на меня своими сверкающими, пронизывающими глазами. Меня поражает, до какой степени все его сочинения написаны на этом изборожденном морщинами прекрасном лице. Потом он откидывается на подушки, и взгляд его снова устремляется в сторону. Вижу, что я ему ужасно наскучил своим поклонением, мне становится стыдно, и я передаю отделение коллеге, который вызывает у меня всё большее раздражение, потому что я совсем не одобряю его контакты с Беккеттом.

Смертные, какие мы есть, мы, конечно же, все – евреи, обреченные быть уничтоженными. Уничтожение часто предваряют многолетние пытки в домах престарелых или в таких больницах, как наша, где время медленно отрывает нам ножки и крылышки, как дитя пойманной мухе.

На самом деле у меня препаскудное настроение. Целый день не могу проглотить комок в горле. Не знаю, то ли тошнота, то ли всхлипы.

У Карела, по его словам, такого настроения не бывает. К тому же он вообще не слышал о Беккетте. Я как раз хочу подробнее остановиться на этом, но звонит Петер, сын мефроу Понятовски. Он не согласен с тем, как я поступаю с его матерью. Как раз на этой неделе она

спросила меня, не смогу ли я помочь ей в последний момент, и я сказал, что смогу. Я подробно ей рассказал, как именно мы это сделаем: никакой инъекции, как она и хотела, но питье, которое она сама выпьет, – лучше всего в присутствии семьи или друзей, мы всё обсудим.

Проблемой для меня является *timing*<sup>[147]</sup>. Если я вернусь к этой теме слишком быстро после нашего с ней разговора, она, возможно, подумает: «Он хочет от меня избавиться». Если буду слишком тянуть, она может решить: «Теперь он вообще обо мне забыл».

Петер смотрит на всё иначе. Он считает, что я должен был постараться, чтобы у его матери было больше надежды. Он думает, что его мать заговорила о «никакой инъекции» не потому, что ей совсем плохо, а потому, что ее охватывает отчаяние из-за неминуемо приближающейся смерти. Ожидание буквально сводит ее с ума. Невыносима эта игра в кошки-мышки. Лучше умереть сразу.

Пытаюсь ему объяснить, что прогноз был ясен уже тогда, когда его мать к нам поступила, и что я участливо беседовал с ней, давая понять, что незачем идти трудным путем навстречу смерти.

Но если я правильно понимаю Петера, мне следовало бы сказать или устроить так, чтобы его мать вообще *не* стремилась навстречу смерти, и лучше всего, по его мнению (он говорит это со всей серьезностью), если бы я смог помочь ей умереть, не дав никому это заметить, а тем более ей самой.

Я всё чаще вижу, что люди вручают другим свою жизнь, но я еще не встречал никого, кто столь откровенно пытался бы вручить другим смерть.

Карел признался, что его имя, собственно, Гейсберт Карел ван Ньиуланд, – «зови меня просто Гейс».

– Если говорить о плацебо, великолепное имя, – нахожу я.

– Что ты имеешь в виду?

– Видишь ли, – объясняю я, – это такое имя, которое само по себе обладает целительной силой, потому что сразу приходит на ум вилла девятнадцатого века на окраине города, с отдельной дорогой, шелестящими буками и шестью-семью небрежно припаркованными автомобилями на покрытой гравием площадке перед парадной лестницей. Там живут несколько поколений врачей. А еще лучше было

бы ван Ньиуланд Бодегравен! Если ты носишь двойное имя, практически полная безошибочность действий в нашей профессии тебе гарантирована. Подумай только, какие имена: Батенбург де Йонг, Дрооглеевер Фортёйн, ван Берген Хенегаувен, Сноук Хюргронье, Хоофт ван Хёйсдэйнен или Боудейк Бастиаансе! Великолепно, не правда ли? Сравни-ка с каким-нибудь ван Пюффеленом<sup>[148]</sup>, – кто захочет, чтобы его оперировал плюгавенький старикашка? Так и видишь каплю, висящую у него на кончике носа, которая вот-вот упадет в открытую рану. Какая гадость! Впрочем, хватит об этом. Но как же всё-таки прикажете вас называть, молодой человек?

– Просто Карел, так лучше всего.

– Ну что ж, оставим *Карел*. Это к делу не относится, а о Боудейке Бастиаансе<sup>[149]</sup> я слышал такую историю. В начале войны Херман Мейер, студент-медик, еврей, сдавал ему экзамен по гинекологии. Дело шло у него весьма неважно, и на исходе баталии он уже думал: «Чёрт возьми, всё пропало, теперь снова придется копаться в этих тупых конспектах». Но профессор, к его изумлению, сказал: «Мейер, я не дам тебе провалиться, ведь ты еврей». Недурно, правда?

Карел рассказывает о несчастном случае: было раздавлено сразу нескольких человек. Собрали их, как могли, и привезли в пункт скорой помощи больницы Хет Феем, где он тогда работал. Там попытались разобраться с тем, что им доставили. «Сначала мы думали, что это два трупа, но потом оказалось, что три». Пожалуй, это лучшее описание невообразимого ужаса, которое я когда-либо слышал.

Он добавляет: «Одна голова втиснулась прямо в грудную клетку». Это добавление явно проигрывает по сравнению с тем, что с такой жуткой наглядностью выражают всего две цифры.

## Прустовское печенье «Мадлен», пакостный вариант

Ария Вермёйлена застали сегодня утром при поедании собственных испражнений. На этот раз вне связи с попыткой самоубийства или вообще с чем бы то ни было. «Он и правда уже не знает, то ли ему нужно покакать, то ли подстричься», – говорит Мике.

Я хочу его кое о чём спросить и наклоняюсь к нему. Почти в тот же момент он обильно срыгивает. Отвратительная вонь, бросившаяся мне в нос из его рта, была самым тошнотворным, с чем я когда-либо сталкивался с того времени, как внезапно ощутил запах, который шел от тела моей умершей матери. Тогда, летом 1959 года, она лежала в невыносимо нагретой, душной, маленькой часовне. Осторожно подошел я поближе и посмотрел сквозь стекло, которым был закрыт гроб. Всё выглядело вполне пристойно: сложенные на груди руки, знакомые мне четки; на ней были очки, и я подумал, как бы это могло выглядеть через неделю... как вдруг ужасный, неожиданный, пронзительный запах ударил мне в нос, заставив буквально отскочить от гроба.

И годы спустя, в самый неожиданный момент, настигал меня этот запах: из сточной канавы, в смотровой яме, когда я возился с машиной, из давно не чищенного водосточного желоба; всякий раз сталкивался я с этим пакостным вариантом прославленного Прустом печенья «Мадлен». И вот теперь снова, изо рта Ария, после того как он поел эту гадость.

Я спросил Франка Бейтендаала, нашего психиатра, нельзя ли Ария поместить куда-нибудь в другое место. Ведь для Ария тоже ничего хорошего, когда с самыми лучшими намерениями вокруг него устраивают эту возню, потому что изумление от его вывертов – единственное, на что мы способны.

Конечно, проблема Карела – его социальное окружение. Медицинское сословие действительно обретается в районе, где разбросаны виллы XIX века. Карел, например, играет в теннис с доктором Говартом, хирургом-ортопедом, неизменно загорелым после

катания на лыжах или плавания под парусом, гоняющим на рыкающем фиолетовом «порше»; и с доктором Хоубааром, светилом урологии, который запросто сплетет почку из двух мочеточников, оперирует главным образом в Америке и разъезжает на серебристом «харлее».

Его дядя и его отец тоже врачи. Дяде он обязан членством в теннисном клубе (там существует баллотировочная комиссия); отцу, уже в ближайшее время, – собственной практикой. Медицина нескольких поколений выступает благородным обрамлением его жизни, так что сомнительно, чтобы мои нападки на эту профессию могли вызвать какой-то отпор.

На мой вопрос, что его так привлекает в этой профессии, он отвечает:

– Детективная сторона, необходимость быть всегда начеку. В девяти из десяти случаев не происходит ничего особенного, но я имею в виду десятый, когда нужно будет глядеть в оба.

– Думаю, что ты ошибся ровно в сто раз. Не один из десяти, а один из тысячи случаев представляет собой что-то *стоящее*. При этом следует отказаться от определения *стоящее* и взяться за те девятьсот девяносто девять случаев, которые не представляют *чего-то особенного*. Что это за фантомы? То, как ты это формулируешь, не более чем дружеский шарж на нашу профессию, как ее определяют нынешние представления: из множества призраков, которые, как, например, при боли в желудке, блуждают по всему телу, врач единственного злоумышленника – воспаленный аппендикс – должен схватить за горло.

– Точно, – соглашается Карел, – для меня вызов заключается в готовности всегда быть настроенным на опасность реальной угрозы здоровью.

Мои попытки обнаружить более глубинные слои его желания работать в этой профессии далеко не продвинулись:

– Разве не замечательно, помимо нескольких удачных диагнозов, которые ты поставишь, иметь возможность рассматривать жизнь с самых разных сторон?

– Конечно, у меня есть здоровое любопытство к людскому житью-бытью.

– Ну, Карел, я-то как раз имею в виду нездоровое любопытство, это куда интереснее.

## Беккет, недоступный для четвероногих

У смерти свои форматы. Для Кеннеди он огромен, для мухи ничтожно мал. Еще крошечней смерть бактерии, еле слышное «па...». Самая маленькая смерть, которую только можно помыслить, это, видимо, смерть вируса. Мы даже точно не знаем, следует ли считать их живыми, так что смерть вирусов, можно сказать, вообще не услышишь.

Брам Хогерзейл звонит уже рано утром. Его опять взяли в Хет Феем. Он чувствует, что конец совсем близко. Его звонок застал меня врасплох, – у меня было такое радостное настроение в этот день.

За ланчем с Терборхом снова беремся за мою проблему: нынешнюю религию. Священник этого не понимает.

Пробую привести пример. Если *в наше время* вдруг увидишь на улице кого-то в доспехах, то подумаешь: *тáк* мы уже не воюем. И если *я в наше время* вижу священника, при деле и с Библией, то думаю: *тáк* мы уже не молимся. В том смысле, что не вопрошаем судьбу, почему она к нам настолько жестока?

– Мой пример хорош тем, что ко всему прочему дает место для существования тех, кто, не будучи верующими, принимают религию, легко сочетая любовь к древней символике с полным неверием в расплывчатый буквальный смысл этих символов, уверяя, однако: но ведь ЧТО-ТО же должно быть. Поэтому, отнюдь не испытывая желания облачиться в доспехи и пойти в них сражаться, они, видя доспехи, всё-таки не могут от них отделаться. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

– Конечно, конечно, – соглашается Терборх, – но ты забываешь о том, что каждое поколение может находить в Библии новую благовест, заново открывать для себя Евангелие.

– Думаю, что пока Библию читают словно поваренную книгу, выискивая там наилучший способ приготовления блюд для меню своей жизни, люди и дальше будут ходить в тех же самых доспехах.

– Но ведь тайна Библии состоит именно в том, что в ней всё имеет отношение к нам, что это никогда не теряет для нас значения.



– Тайна Библии, я думаю, в гораздо большей степени состоит в том, что люди всё еще сохраняют к ней особое отношение, что они получают нечто не от мира сего, когда обращаются к ней. И тогда они не придают никакого значения тому, что если баран ныряет в Библию, то бараном из нее и выныривает. Это относится и к святым.

– Но, чёрт побери, то же самое относится и к твоему Беккетту.

– Для барана подобраться к Беккетту вообще невозможно. Даже если, осторожно пуская в ход свой курдюк, он попытается незаметно пробраться задом ко входу.

Арий Вермёйлен вернулся из отделения психиатрии – потолстевший, еще более рыхлый, словно мятый картон, еще более прыщавый, чем раньше, насколько я помню.

– Так, ага, значит, опять к нам.

– Да.

– Хорошо провел время?

– Да, только еда была не очень вкусная.

В середине дня прихожу к Брамму в больницу, он лежит на кровати, совсем тонкий и хрупкий. Выглядит гораздо хуже, чем раньше. Не может прийти в себя из-за смерти своего зеленщика. Тот поступил для незатейливой операции на сосудах и во время операции умер, ему было 52 года. Да, бывает, такое случается. Так или иначе, но Брамма буквально трясет от страха, и он ничего не может с собой поделать.

Он не может есть, у него почти прекратилась работа кишечника. При виде пищи тошнота подступает к горлу.

– Антон, я уже не знаю, на что надеяться, не знаю, плакать или молиться.

Он не может сдержать рыданий.

К счастью, у меня есть чистый платок, потому что нелегко сесть к нему на постель. Он всегда держался с такой отвагой, хотя знал, что путь шел под гору, вниз, в могилу. Но смерть его зеленщика, кажется, стала опасным поворотом на этом пути. Теперь он то и дело падает и, продолжая идти, видит, что и слева и справа нет ничего, за что можно было бы уцепиться, и вот он уже летит кувырком и не может остановиться. Я утешаю его: паника скоро пройдет.

Прогулка летним вечером. Чудесная дорога среди зелени. За живой изгородью слышишь какой-то шум. Осторожно подходишь ближе, ожидая увидеть что-то приятное. Дрозда с птенцами или что-нибудь в этом роде. Но там, и двух метров не будет, схватка змеи и кролика. Бросаешься прочь, чтобы этого не видеть, но всё ещё слышишь.

Что-то похожее разыгрывается на больничной койке Брама.

## Fair trial, then hang them<sup>[150]</sup>

Процент грубиянов среди врачей, конечно, столь же высок, как и среди сантехников. Но хотелось бы, чтобы он был поменьше.

Смотрю телепередачу о Постюме, за которым в течение целого дня буквально по пятам следует интервьюер с телебригадой. Снимают в той развязной манере телеканала VPRO<sup>[151]</sup>, которая вызывает ощущение, что объектив преимущественно вставляют в зад каждому эпизоду.

Судя по тому, как интервьюер реагирует на довольно дерзкое поведение Постюмы, видно, что он считает процент грубиянов среди врачей явно более высоким, чем среди сантехников. Но постепенно его тон делается менее резким.

Постюма, впрочем, остается на высоте. Уже при посещении им Рихарда Схоонховена я видел, что Постюма человек угловатый, который общается с людьми с некоторым напряжением, но перед камерой его неуклюжесть вовсе не становится хуже и даже вызывает симпатию. Думаю, что как зритель телепередачи я нервничал больше, чем он во время съемки. Безусловно требуется решимость, чтобы заниматься практической врачебной деятельностью, когда тебя снимают на телекамеру.

Телепередача была посвящена отделению, где лежат раковые больные, – катастрофилия, – и тем самым их страданиям, смерти и погребению. Поразительно, что интервьюер то и дело подходит буквально к краю пропасти: «Почему, собственно, вы это делаете?» Для меня звучит как минимум довольно парадоксально, что Постюма в конце полуторачасового фильма, в котором не избавили от страданий ни одного человека, отвечает на этот вопрос: «Несмотря ни на что, я каждый день с радостью иду на работу». Это звучит так же странно, как если бы он сказал: «Должен честно признаться, я тоже едва с этим справляюсь».

Остается вопрос, почему он это выдерживает, почему мы это выдерживаем? Ведь не потому, что он кого-то вылечивает, ибо с показанными в фильме людьми такого не происходит. И не потому, что он их утешает, потому что этим занимается медсестра или, например,

старшая дочь, но потому, что... и сам точно не знаю. Думаю, потому, что медицинские знания означают власть. Потому что нужно узнать на опыте, что тело – это непостижимый зверь, терзающий нас, и намерения этого зверя врач может выяснить лучше, чем сама жертва, хотя он и не имеет при этом возможности что-либо изменить. Но лучше узнать зверя, суметь так или иначе предсказать его поведение, – неужели врач получает от этого, э-э, удовлетворение?

Конечно, в фильме обсуждается и эвтаназия. Прослеживают последние недели женщины от момента, когда она робко спрашивает, долго ли она еще будет так жить, до жуткой сцены, когда она уже мертва и два деловитых медбрата, которых до этого мы не видели, заворачивают тело, контуры которого мы угадываем сквозь толстый серый пластик, и в чём-то похожем на металлический ящик переносят вниз в холодильник.

Поскольку Постюма лечащий врач Брама Хогерзейла, он жадно смотрел всю телепередачу, словно окутанный какой-то теплой морфийной пеленой, пока его не охватил вдруг смертельный ужас от грубого заворачивания мертвого тела. Когда он увидел эту brutальную съемку, этот единственно правдивый конец, разорвавший в клочья его покой, он снова впал в панику, не отпускаявшую его весь последний месяц.

Вся атмосфера больницы в этом фильме заставила меня вспомнить реплику американского генерала перед напряженно ожидавшимся после войны судебным процессом над несколькими японскими генералами: «We'll give them a fair trial and then we'll hang them» [«Мы обеспечим им справедливый суд, а потом повесим»]. Подобную же ситуацию мы встречаем и в медицине, и не только в связи с Постюмой и Брамом: «We'll give him the right treatment and then we'll bury him» [«Мы обеспечим ему правильное лечение, а потом похороним»].

## Der Tod ist kein etc<sup>[152]</sup>

То, что мы чаще всего не знаем, что вот-вот умрем, явствует также из последних слов Ахтерберга<sup>[153]</sup>: «Дай мне картошки». Не уверен, что правильно помню эту историю, но, кажется, последний день поэта проходил приблизительно следующим образом. В середине летнего дня они с женой прокатились на автомобиле. Когда они вернулись домой и поставили машину в гараж, он решил немного посидеть, потому что нехорошо себя чувствовал. Жена ушла в дом, чтобы приготовить ужин, и спросила его, что он хочет к мясу, которое она разогреет: риса или картошки? Вот он и произнес эту фразу. Когда через четверть часа она вернулась, он был уже мертв.

Ланч с Яарсмой и Де Гоoyerом. В Яарсме несколько несообразно сочетается проявление редкостного лукавства в иных случаях с полнейшей наивностью, и он этим безусловно мне симпатичен. Он рассказывает об одном из своих родичей, иезуите, который защищал диссертацию – он не может удержаться от смеха – об одном из аспектов... – теперь он вынужден положить нож и вилку, чтобы схватить салфетку, с помощью которой ему наконец удастся подавить приступы смеха; «защищал диссертацию на какую-то тему по мариологии. МАРИОЛОГИЯ – знание жизни и стремлений Пресвятой Девы». Он уже не в состоянии сдерживаться. Для него это полнейший абсурд, так как Мария на самом деле никогда не существовала.

Уже когда Яарсма, всё еще бормоча «мариология», встает из-за стола и уходит, Де Гоoyer рассказывает, что с ним приключилось в минувшие выходные. Он гулял в дюнах с женой и детьми, с ними была еще одна знакомая пара. Они наткнулись на раненую чайку, вероятно подстреленную. С одного бока она была в крови; при их приближении она с трудом заковыляла в кусты. Птица ужасно мучилась. Взрослые смотрели друг на друга. Нужно было что-то делать, и все глаза устремились на Де Гоойера.

«Идите дальше, и тогда я, э-э, освобожу ее от страданий», – решил он наконец. Он отогнал испуганную птицу дальше в кусты и взял камень. Но когда склонился над птицей и уже занес руку, чтобы ее

прибить, страх, с которым она притаилась, настолько передался ему, что в беспомощной ярости он отшвырнул камень прочь. «Что за треклятая планета!» – только и смог с горечью он подумать. Когда Де Гоoyer догнал остальных, его угрюмое молчание было всем понятно. В конце концов, он сделал что-то отвратительное, так они думали.

Часа полтора спустя они снова оказались на том самом месте, и – чёрт возьми! – чайка выбралась-таки из кустов наружу.

– Папа, мы думали, что ты... Ты же хотел ее?..

– Ну да, я правда подумал, что убил ее.

Это было самое ужасное из всего, что мог он сказать: ведь получалось, что он, вместо того чтобы избавить ее от мучений, только их увеличил. В конце концов он признался, как было на самом деле.

Когда, всё еще с усмешкой после этой истории, я выхожу из ресторана вместе с Де Гоoyerом, меня останавливает мефроу Кампхорст. Она спрашивает, что я намерен предпринять в отношении ее мужа. Мой смех коробит ее.

– Я бы назначил ему пенициллин, и вы увидите, он встанет на ноги.

– Ну уж нет, ничего из этого не выйдет, еще чего, всякие ваши эксперименты, очень надо, старому человеку, нет уж, и слышать не хочу!

Прямо не знаю, что с нею делать. На прошлой неделе, когда я ей сказал, что, пожалуй, мы больше не будем давать ему пенициллин, потому что я сомневаюсь, что он хочет продолжать это лечение, она набросилась на меня: «Понятно, он старый, поэтому пускай помирает, да? Что, старики дорого вам обходятся? Ни стыда, ни совести! Ну и лавочка тут у вас!»

Ее упреки не стоит принимать слишком всерьез, потому что за сердитыми нападками скрывается вполне милая женщина, с которой приятно беседовать. Она уверена, что не даст себя одурачить, и я был несколько разочарован, когда она однажды с важной миной поделилась со мною важнейшим жизненным уроком, который она усвоила, стоя 60 лет за прилавком: «Всё крутится вокруг этого», – и показала пальцами, будто считает деньги.

## Ist der Tod kein?.. [\[154\]](#)

Последние слова Ахтерберга были другими. Он сказал: «Да, только не много». Это касалось как раз тогда готовившегося ужина («Хочешь картошки, Геррит?» – «Да, только не много». Что-нибудь в этом роде) и не имело никакого отношения к смерти, от которой его отделяло всего несколько минут.

Ахтерберг вполне мог переселиться в иной мир с мыслью о том, сколько же он хочет картошки. Совсем иначе выглядела смерть доктора Хюдде, вдову которого я встретил сегодня.

Он умер восемь месяцев назад. На исходе своего последнего вечера он сказал жене: «Пока ты будешь накрывать на стол к завтраку, я лягу в постель и выкурю сигарету». Вскоре он окликнул ее из спальни. Когда она вошла, он сидел на кровати прямой, как свеча, с пепельно-серым лицом, на котором только что играла улыбка. Он сказал: «Франсина, дорогая, мне ужасно жаль, у меня инфаркт, это конец».

Она бросилась к нему: «Нет, Жак, нет, нужно...».

«Нет, правда, – сказал он еще, – это инфаркт» – и упал на подушки. Она уложила его поудобней и побежала к соседу, кардиологу Майеру. Когда они вернулись, Жак был уже мертв.

Если понимать всё буквально, то в выражении Виттгенштайна «Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht» [«Смерть не событие жизни. Смерть не переживают»]<sup>[155]</sup> ничего не изменишь. Но это высказывание явно ущербно, если вспомнить смерть Жака Хюдде. В его утверждении есть что-то школярское. Оно верное, но какое-то нудное.

«Я никогда не сплю» – аналогичное утверждение.

Краткий анонс в вечерней газете:

– Устранение боли. На дому, самостоятельно, безыгольной акупунктурой. Свободно от обязательств, информация по телефону № ...

Яаарсма предостерегает Де Гоойера и меня от чувства, что мы можем управлять своей жизнью. «Ты готов сразиться любым

холодным оружием, но в день дуэли, когда ты лежишь в кустах и неукротимая рвота выворачивает тебя наизнанку, становится ясно, что твоим противником был отравитель».

Днем отправляюсь на кладбище: хоронят мефроу Стемердинг. Ей было 96 лет, она уже давно пребывала в тумане и теперь наконец навсегда скрылась во мгле. Она походила на продрогшую старую птицу, обреченную погибать в своей клетке.

Мефроу Стемердинг была сиротой. В 1898 году потеряла родителей, которые умерли от тифа. Попала в сиротский дом, где вскоре ее сочли малоразвитой. Пожалуй, она приняла это с благодарностью – как одну из возможностей более или менее сносного существования. О ней можно было сказать: тихая и, быть может, действительно слабоумная, но прежде всего, что она «здесь уже очень долго».

Родственников у нее нет, а социальную помощь она никогда не тратила на что-либо большее, чем платье, немного белья и кусок хорошего мыла. На счете у нее было 36 тысяч гульденов, на которые до сих пор никто не предъявляет претензий. Надеюсь, что где-нибудь всё же найдется человек, связанный с нею кровными узами, мы дали в *Volkskrant* объявление о смерти. Мы узнали, что ее звали Митье и что она родилась в 1894 году в Брюсселе.

Мике решила выделить солидную сумму для красивой могилы на старейшем городском католическом кладбище. И вот сегодня мы катим туда в громадном «мерседесе», эдаком вытянутом в длину лимузине, чувствуя себя несколько неловко за черными шторками, и хихикаем. Пожалуй, у всех нас такое чувство, будто мы облапошили Смерть, – ведь мы никак не можем сказать о Митье, что у нас ее отняли. Сидим в этой машине, словно мы здесь вообще ни при чём, хотя это и не совсем так, поскольку, в конце концов, помимо нас, здесь есть еще и мертвое тело. Я имею в виду, что если бы нас остановила полиция, выяснилось бы, что мы всё же не полностью заслуживаем осуждения.

Прекрасный день начала осени. Кажется, большинство надгробий на кладбище выполнено по рисункам Антона Пика<sup>[156]</sup>, на дорожках уже тонкий слой опавшей листвы. Меня даже слегка радует то, что здесь происходит. Мы, как подобает, чинно пойдём за гробом, ее nearest if not dearest<sup>[157]</sup>, не сраженные скорбью, но снова, не без приятности, вспоминая о собственной брэнности, словно это может приносить облегчение.



Тридцать один год прошел с тех пор, когда я на кладбище шел за гробом, в котором была моя мать, и сейчас могу пройти тот же путь, не испытывая того ужасного потрясения.

Вступив на кладбище, мы выстраиваемся вчетвером за гробом, который опасным рывком поднимают рабочие. Вероятно, Мике поразил вид покачивающегося гроба на плечах идущих перед нами носильщиков. Колеблемый, словно от ударов набегавшей волны, он выглядит будто траурная ладья, приятно, как уже было сказано, напоминая о бренности. Мике и вправду начинает плакать.

– Из-за Митье?

– Нет, ах оставь меня.

Собственно, меня радуют ее слезы, они должны убедить Безносого в чистоте наших мотивов. Если ему и казалось, что мы явились сюда забавы ради, то теперь он видит, что у нас это не очень-то получилось.

Проходя мимо одного из надгробий, читаю: «In Uw Kruis will ik Eeuwig goeten»<sup>[158]</sup>, – пожелание, которое нужно бы показать Мике, но она раздраженно отмахивается от меня. Ну что ж, возьму это на себя.

Митье, конечно, была ревностной католичкой, и мы просили устроить похороны согласно традиции. Как только гроб опускают в могилу, его окропляют святой водой, и священник произносит: «Обрящешь днешь мир и жилище свое в святом Сионе».

Затем он берет длинный деревянный крест и на крышке гроба трижды процарапывает им знак креста. Слышен скрежет дерева о дерево с песком между ними, который при опускании гроба напал на него со стенок могилы. Текст, который произносит священник (я взял с собой миссал Грета), гласит: «Я осеняю это тело знаком креста, дабы в день Страшного суда оно восстало и обрело вечную жизнь».

После этого он трижды бросает немного земли на гроб, но из-за того, что в песке множество мелких камешков, звук получается не столь глухой, как ожидалось. И в довершение несчастья при этом он еще добавляет: «Из праха земного Ты создал его, с костями и...».

«ЕЁ! – что есть силы шипит Мике, – ЕЁ-Ё-Ё-Ё создал. Не знаю, знали вы ее или нет, но мы хороним Митье Стемердинг!» Для Митье великое забвение уже началось.

«Прошу прощения!» – только и может сказать священник. Он слишком смущен, чтобы продолжать дальше, кладет лопатку возле

себя и говорит мягко: «Помолимся!» – после чего *преклоняет* голову, что, я полагаю, именно это и означает.

Он вызывает у меня сострадание. Ему за пятьдесят, старообразный на вид, сан принял, видимо, году в 1962-м; обошел весь приход, догмы всё еще сияют на небесах, гордость родителей, смутная неприязнь со стороны братьев. Но потом – какое падение! Предметы церковной символики, словно крышки старых кастрюль, выложены на блошином рынке, его Бог сократился всего-навсего до отблеска в лице ближнего, его эротика растоптана, так что никогда он ни с кем не сблизится, и ему остается одиночество, бутылка, а сегодня так еще и «оплеуха» от Мике.

– Я снова прогулял бы школу и еще раз сходил бы с тобой на кладбище, – говорю я Мике, когда мы с ней вдвоем едем в машине обратно.

– Мне очень жалко. Это было так грустно. Сегодня утром я убирала в ее палате и нашла эту фотографию.

Она показывает мне фотографию, сделанную на пляже в 1898 году: Митье в развевающемся платье, спиной к морю, словно с какой-то мольбой в глазах, стоит, скрестив руки на груди. Точно так же стояла она каждый день из года в год в дверях своей палаты, высматривая тележку с обедом.

– «Symbolen worden tot cymbalen in de // ure des doods...»<sup>[159]</sup> – говорит Ахтерберг.

– Да, но что именно он имеет в виду? – спрашивает Мике.

– Ну-у, мне кажется, что как только закутанный в плащ Скелет с косою просунет в дверной проем свою костлявую ногу, всё, что когда-то казалось продуманным до самых глубин, тут же превращается в отупляющий шум от обезьяны, которая лупит деревяшкой по пустой жестянке. Повиснуть на стропах парашюта, летящего в бездну; соскользнуть в нее, сидя на крышке от помойного ведра, – это и есть шаг от символов к кимвалам.

– Ты это серьезно?

– Мик, я не знаю. Для меня что кимвалы, что футляры – рухлядь в старом шкафу, и я не знаю, что они означают. Но так я всегда прочитывал эти строки.

– А для меня кимвал – это огромный гонг, в который в начале фильмов Rank-Херох всегда бьет один и тот же красавец-атлет, и тогда

всё наполняется изумительным гулом [\[160\]](#).

– Чувствуется, что тебе уже лучше, – замечаю я.

[vk.com/occultumlibris](https://vk.com/occultumlibris) – [t.me/Occultum\\_Libris](https://t.me/Occultum_Libris)

## Merciless logic for a futile purpose<sup>[161]</sup>

«One of the hardest but most fascinating of all intellectual problems is how not to patronize the past». В. Е. Young<sup>[162]</sup>.

Врачи незнакомы с этой проблемой: на своих коллег из прошлого они почти всегда смотрят как на чудаков, пытавшихся убить дубинкой бактерию. Я тоже не в состоянии полностью отделаться от снисходительного отношения, наталкиваясь в статье в медицинском журнале на такие термины, как ночная поллюция, онанировать, экстраматримониальный коитус, посткоитальное увлажнение влагалища, коитус-эквиваленты, экстрагенитальные контакты, pessarium occlusivum [влагалищная диафрагма], coitus condomatus [коитус с использованием презерватива], procreatio [рождение].

На основании подобного словоупотребления можно всегда судить о возрасте витийствующего коллеги: родился задолго до войны. Это лексикон старшего поколения врачей, которые любую вонючую кучу говна должны были завернуть в блестящую не рвущуюся фольгу, прежде чем коснуться ее пинцетом.

Одна из причин появления таких терминов лежит, как я думаю, в представлениях XIX века, что «очистка выгребной ямы человеком благородного сословия» – а врачи принадлежали к этому сословию достаточно часто – не может не оставить определенного отпечатка.

Подобная атмосфера прежних времен возвращается с каждым трупом, потому что в нем всё еще скрывается омерзительная выгребная яма. Здесь мы всё еще видим кусочек XIX века. Дело в том, что *плоть* тогда еще не была полностью молекулирована. *Жизнь* еще не была полностью замещена *биохимией*. Рядом с живым телом не станешь задаваться вопросом: «Что это, собственно, за штука?» Живому телу даришь поцелуй, желаешь ему доброго утра. Но для мертвого тела нет ни поцелуев, ни пожеланий, и уже скоро у тебя возникает чувство, что ты смотришь на какую-то чужеродную вещь. И тогда мертвое тело будешь описывать скорее как *вещество* или как *вещественное*, а не как *молекулярное* также и потому, что труп истлевает, а молекулы нет. Постепенная замена *жизни биохимией* с XIX веком далеко не закончилась. И в этом чужеродность мертвого

тела: *плоть*, которая не может быть *молекулирована*.

Яаарсма читает эпикриз. Ему попадает термин *дренаж Редона*. Он спрашивает: «И где же это, интересно, Редон должен был бы оставить дренаж?» И продолжает: «Раз уж мы попали к художникам<sup>[163]</sup>, известно ли тебе, что Магритт, которому следовало бы написать причесанное на пробор море доктора Бока<sup>[164]</sup>, очень рано лишился матери?» Яаарсма рассказывает, как покончила с собой мать Магритта. Единственное чувство, которое Магритт при этом помнит, или полагает, что помнит, это безмерная гордость при мысли, что он стал вызывающим сострадание центром драмы, гордость быть «сыном мертвой».

Яаарсма рассказывает, как Поль Магритт, младший сын, в ночь с 23 на 24 февраля 1912 года внезапно проснулся и увидел, что был один, хотя его мать обычно спала с ним в одной комнате. Перепугавшись, он разбудил семью, все пошли искать и увидели следы на пороге и на ступеньках. Что за следы? Кровь? Нет. У нее была грязная обувь? Ступеньки были посыпаны песком? Как бы то ни было, следы вели к мосту через Самбру, как раз напротив дома. Тело выловили из реки только через три недели.

Яаарсма всегда представлял себе, что это был Рене, который спал в комнате с матерью, и что семья, бросившаяся ночью к мосту через Самбру, сразу же нашла в темной воде тело утонувшей матери. «С подолом ночной рубашки вокруг головы, как он много раз изображал это на своих картинах. При этом сам он никогда не видел этой сцены».

Снова вся семья за столом в Помпеях.

Яаарсма в конце этой недели побывал в Бельгии, и там на него произвел впечатление не только Магритт, но и марш с полудозревшими мажоретками<sup>[165]</sup>. *Полу-*, потому что, на его взгляд, они были несколько худосочные: «слышишь, как либидо проклёвывается их яйцевым зубом»<sup>[166]</sup>.

Всякий раз, когда Карел слышит мои нападки на медицину, он морщится. Мы говорим о *giving them a fair trial, the right treatment, then hanging or burying them* [о том, чтобы обеспечить им справедливый суд, правильное лечение, а потом повесить или похоронить]. Он совсем недавно закончил университет. Ему кажется невероятным, чтобы всё,

что излагается в мраморных залах теми, кто давно занимаются этим делом, столь мало значило бы для болезни и смерти. Он похож на посланца из Ватикана, посещающего тот или иной отдаленный уголок Римско-католической империи и в каком-нибудь углу где-нибудь в Дренте сталкивающегося с деревенским священником, который на полном серьезе говорит ему: «Я не очень-то и уверен, что Бог действительно существует».

Последний вечер мефроу Понятовски. Ее сын Петер не хочет при этом присутствовать, то есть не в самой палате. Он уже пару раз меня спрашивал, действительно ли всё будет так жестоко, так явно, так сразу. Ему бы хотелось, чтобы его мать была больше больна, больше страдала, больше смирилась, была бы чуть ли не при смерти, уже на краю могилы, так, чтобы одного маленького толчка, ну да, маленького толчка, скорее касания, уже было достаточно, чтобы она, ах, вы же меня понимаете, правда? Но не так, как теперь. Ведь она же, чёрт возьми, еще ходит!

Я могу его понять, но ее могу понять еще лучше. Мы договорились, что придем к ней вдвоем с Мике. Петер будет в здании, но не в самой палате.

Когда мы являемся точно в 8 часов, нас отправляют обратно! Она хочет сначала посмотреть последние новости. Одна. «Что она себе думает? Что заказала пиццу с доставкой на дом?» Мике заметно нервничает.

После окончания передачи она нас зовет. Когда мы входим, она стоит у окна. «Взглянуть еще разок на природу». Быть может, она хотела послушать новости, чтобы еще раз окинуть взором нашу планету.

Мы немного разговариваем друг с другом. Я говорю ей, что она чудная женщина, что я благодарен судьбе за то, что встретил ее, и что для меня никогда не было в тягость о ней заботиться. Она отвечает, что горда тем, что я был ее врачом, и тем, что мы стали друзьями. Она встает, со слезами целует меня в губы и вручает мне конверт. «Я кое-что для тебя написала, собственно говоря, переписала, потому что ты ценишь это больше всего».

Я стою, неловко, со стаканом болиголова в руке, потому что ни за что не хочешь кому-либо навязывать смерть. Она ищет в шкафу

бутылку, которую мы должны откупорить сразу же после ее смерти. Когда она ее наконец нашла, она снова встает, на этот раз чтобы достать штопор, «потому что сами вы, конечно, его не найдете».

Когда со всем этим покончено, она с облегчением ложится. Я советую ей сесть, потому что так будет легче пить. Сделав несколько глотков через соломинку, она говорит: «Дорогой мой, эта соломинка слишком большая». И ей нужна синяя. Она больше подходит. После этого она просит платок, чтобы стереть липкий след с губ. «Хочется, чтобы до конца всё было как следует. Нет, этот не годится, дай красный».

Когда она всё выпила, мы берем ее за руку.

«Знаете, – говорит она, – прекрасно, что я могу умереть, когда рядом со мною двое друзей». Она собирается еще что-то сказать о друзьях, о дружбе. Мы слышим: «Потому что люди, вы... люди... которые...». Она засыпает, и спустя семь минут она уже мертва. А мы всё не можем прийти в себя.

У меня чувство, что мы могли бы потянуть время, что можно было бы еще чуть-чуть поболтать. А сейчас всё выглядит так, словно мы ее утопили, не дали ей выговориться. У Мике другое мнение. «Если бы мы завели беседу, нам было бы гораздо труднее дать ей питье. И в конце концов, для чего мы сюда пришли?»

Всё это время ЛаГранж, недоуменный пророк, сидел перед ее палатой, вроде бы погруженный в чтение романа Эмиля Золя *Нана*, на самом же деле ничего не упуская из виду. Так, он видел, как врач и сестра в восемь часов осторожно вошли в палату, чтобы почти сразу же выйти оттуда. Через двадцать минут они снова вошли туда и в девять вышли оттуда. Чуть позже в палату вошел врач и вышел уже с бутылкой вина. Спустя две минуты сестра еще раз вошла в палату (забыла штопор) и тоже сразу же вышла. Наконец, в полдесятого в палату вошел сын и вскоре вышел оттуда рыдая. Тогда старшая сестра сказала: «Мефроу Понятовски умерла». Спрашивается, какой сценарий состряпает он из всех этих хождений?

Только когда я вернулся домой, заметил у себя в кармане конверт. Она переписала мне отрывок из Джозефа Конрада:

«Droll thing life is – that mysterious arrangement of merciless logic for a futile purpose. The most you can hope from it is some

knowledge of yourself – that comes too late – a crop of unextinguishable regrets. I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable greyness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamour, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid scepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary»<sup>[167]</sup>.

Дорогой Антон,

У Конрада тоже бывали дни, когда он чувствовал себя немного лучше.

Но не много.

Не намного лучше и не так много дней.

*Твоя Сюзи Понятовски.*

Если кто-то попросил тебя о смерти, то с того момента, как ты сказал: «О'кей, мы это сделаем», – у тебя уже больше не будет покоя, пока он или она в заключительной сцене не закроет глаза и не потеряет сознания. Как только это случилось, впервые за долгое время мне становится чуть-чуть легче. Вновь чуть-чуть легче.



## Любовь раз за разом проходит

Навигаю Брама в больнице. Да, он снова там, с острой кишечной непроходимостью. Лежит на кровати в переплетении кабелей, шлангов, дренажей. Кажется, что он в них запутался.

Спрашиваю его: «Как себя чувствуешь?»

– Твой вопрос напомнил мне ответ Луиса Армстронга, который я услышал вчера в одной передаче. Кто-то спросил его: «Что такого особенного есть в джазе?» И он ответил: «If you've gotta ask, you'll never know» [«Если об этом спрашиваете, то никогда не поймете»].

Не знаю, может, он думает, что я захожу к нему только для того, чтобы увидеть, что он еще не в могиле. У меня были там кое-какие дела, и не зайти к нему было б еще хреновей.

Его путь к концу напоминает трепыхание подстреленной птицы. Получив заряд дроби, она не падает камнем на землю, но, отчаянно трепеща крыльями от боли, делает рывок вверх и потом уже резко летит к земле, расшибаясь, словно врезалась в стену. Но Брам не перестает трепыхаться, и, хотя земля всё ближе и ближе, метр за метром ведет он схватку с Ангелом Смерти, который, впрочем, вовсе не хочет, чтобы Брам уже коснулся земли в месте, всё еще отстоящем от вырытой им для него могилы.

Брам всё же снова возвращается домой, хотя у него и нет больше домашнего врача. Он просто больше не хочет обращаться к своему прежнему домашнему врачу, потому что тот слишком уж медлил, несмотря на сильные кровотечения. Трудно себе представить, чтобы доктор Данделс («Геморрой! И всё тут!»), из-за процессуальной ошибки которого он приговорен к смерти, был с ним рядом на этом последнем отрезке пути.

Так что нам нужен другой домашний врач, и мой выбор падает на доктора Виллемса, который является настоящим сокровищем и в котором есть достаточно от министранта<sup>[168]</sup>, чтобы понравиться Брамму.

Петер Понятовски приходит со мной поговорить. Я совсем этого не ожидал, потому что он никак не одобрял наших действий. Именно это

он и хотел бы сейчас пояснить.

Мефроу Понятовски всегда напоминала мне ходившего взад и вперед Сократа, взад-вперед, но – Сократа! Петер же видел в ней скорее Иисуса в Гефсиманском саду. Она цеплялась за него, рыдая в отчаянии: неужели не можешь ты хоть один час бодрствовать со мною? В тот вечер, когда она должна была умереть, он был в смертельном страхе, что она откажется от питья. Поэтому и настаивал на отсрочке.

Перед уик-эндом еще раз захожу к Арию Вермёйлену. В среду на следующей неделе появится его мать, чтобы со мной познакомиться. Пытаюсь ему сказать, что это прекрасно, но пробить зачерствелую корку, которой он себя окружил, мне не по силам. У него сразу же возникает такая реакция, что поневоле отпрянешь. Поразительно неприступная личность.

После визита к Арию, всё еще внутренне преодолевая его заскорузлость, уже разговариваю с ван Метереном. Спрашиваю его, возникают ли трудности при мочеиспускании. Ах нет, не о чем говорить. «Ой, сейчас мне НУЖНО!» – вдруг выкрикивает он с надрывом и, неловко привстав, пытается вытащить через слишком узкую прореху в штанах свой уже доблестно брызжущий орган. Просунув ему между ног свою руку, я нащупываю стоящую позади него утку, чтобы направить в нее струю. При этом маневре он безмятежно, от души писает на меня, так что с одного бока я промокаю от плеча до запястья.

«Ничего страшного, пишите спокойно», – чувствую, что нужно было это сказать, чтобы избавить его от стыда. На что он: «О, правда можно? Чёрт возьми, вы так добры ко мне!» Какая удача, снова сблизился с человеком.

Мике помогает мне найти сухую одежду, а я рассказываю ей о письмах и дневниках Кафки. Как он бесконечно мучает себя, беспрестанно рассматривая под микроскопом свои сомнения.

– Да он был просто невротик, – замечает Мике.

– И как ты можешь так говорить? Ты же не скажешь про Ниагару: «Да ведь это всего-навсего H<sub>2</sub>O?»»

– Почему нет? Водопад выглядел бы совсем по-другому, если бы это уголь переваливался там через край.

Яаарсме шестьдесят. «Ну и что, рад, что живешь так долго, или лучше всё-таки умереть молодым?» – спрашиваю его. «Умереть молодым, конечно, это прекрасно, но нужно дожить хотя б до шестидесяти, чтобы понять, как это было бы замечательно». И Яаарсма объясняет мне разницу между «умереть молодым», как Жак Перк<sup>[169]</sup>, и «умереть слишком молодым», как Т. Э. Лоуренс<sup>[170]</sup>.

Арий Вермёйлен, оказывается, вчера вечером довольно неожиданно умер. В некотором смысле за моей спиной, такое у меня чувство. Не могу толком сказать, умер он «молодым» или же «слишком молодым».

Уже целый день чувствую себя так, как будто у меня грипп. И температура повышенная. Уж не заразился ли я СПИДом? В наказание за свою кадрили с Арием? Он был самым непроницаемым человеком, которого я когда-либо знал. Я всегда стоял перед ним, как перед домом, где не светится ни одно окно. У меня было чувство, что его отпор был не неприступностью, коренившейся в кичливой самооценке, а скорее глубоким стыдом.

Хотя меня всегда выматывало, что он никогда ни о чём со мною не говорил, было бы, пожалуй, гораздо хуже, если бы мне удалось что-нибудь из него вытянуть: загустевшее за много лет сало отвратительной массой полезло б наружу.

Ну ладно, теперь он уже мертв, и я жду, что эта боязливая семья скоро сюда заявится. Думаю, им будет гораздо легче ужиться с его смертью, чем с его жизнью. Знакомиться с его матерью определенно уже слишком поздно.

Виллемс, новый домашний врач, которого я посоветовал Брам, звонит мне, чтобы сообщить, что Брам, знакомясь с ним, был уж очень ворчлив: «Вы специалист в области раковых заболеваний или что-нибудь в этом роде, раз Антон вас направил?» – спросил он его.

– Пожалуй, нет, – признался Виллемс.

– Но почему же тогда Антон выбрал именно вас?

На это Виллемс только и мог ответить, что и сам не знает.

– Почему, собственно, ты предложил меня в качестве домашнего врача? – спрашивает Виллемс по телефону, явно задетый язвительным поведением Хогерзейла.

– Да потому, что ты, ну смотри... если бы я был геем, я бы попробовал излечить тебя от женщин.

– Иди ты к чёрту!

– Другая причина, что в тебе еще есть что-то от министранта. Вспоминаешь летние воскресные утра, конец 1950-х годов, цветут каштаны, свежепричесанный мальчик с влажной короткой стрижкой едет на велосипеде по улицам тихого города, с его голубями и колокольным звоном, чтобы прислуживать при утренней мессе. Таким вот мальчиком был и Хогерзейл, в жизни которого были такие же воскресные утра, в тридцатых годах.

– И поэтому ты меня выбрал?

– В общем-то да. Так что забудь обо всём и позаботься о нем как следует.

Через третьих лиц я узнал, что мать Ария хотела бы, чтобы ее несколько раньше уведомили о плохом состоянии ее сына. В извещении о смерти красовалось сразу два десятка имен близких, которые, конечно же, все сильно его любили и которые до сих пор прекрасно умели это скрывать. Может быть, и не вполне справедливо я сержусь на его мать, которая так боязливо меня избегала и заставила целых восемь месяцев скитаться по этой безводной пустыне вместе с ее сыном в поисках его могилы. Она могла бы значительно облегчить ситуацию и для меня и для сына, если бы хоть немного рассказала мне об этой деревяшке на больничной койке.

Вероятно, она считала его столь же тошнотворным и проклятым, каким он считал себя сам. Но меня это бесит, и я думаю: теперь возьми тело и вышвырни его в отхожий дом Божий. Да, пусть меня простят, но тонкая, как паутина, бетонная стена, за которой прячутся эти люди, держа перед своим средокрестием Библию, так что жизнь не в состоянии к ним проникнуть, действует на меня так, что я от этого свирепею.

Привожу открытку с извещением о его кончине, чтобы пояснить свою мысль:

## **ЗНАВШИЕ ЕГО**

## **В ПЕЧАЛИ ПРОЩАЮТСЯ С НИМ**

### **ТЕПЕРЬ ЕГО ЖИЗНЬ НАШЛА ЗАВЕРШЕНИЕ**

#### **КОТОРОЕ ОН ИСКАЛ**

### **ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПРОХОДИТ. 1 КОР 13, 8**

Я чувствую некоторую логику в этом коротком стихе, хотя и достаточно горькую. Видно, не обошлось без священника. А что касается цитаты из *Послания Павла*: если вспомнить, до чего редко кто-либо навещал его в последние месяцы и как уныло стоял тогда и смотрел на него, время от времени делая попытки до него докричаться, словно сам находился в укрепленном замке, а тот был снаружи, тогда эта цитата звучит, как drobный стук горстки гальки по крышке гроба.

У Эссефелда тоже есть кое-что сообщить о Бrame. Он рассказывает, что утром зашел к нему домой, чтобы его причастить, и добавляет мрачно: «Да, до Рождества он не доживет». Люди получают удовлетворение от подобных прогнозов.

Да и сам Брам тоже такой. Недавно он сказал о Яаарсме: «Он из тех, у кого будут серьезные проблемы со здоровьем, когда он выйдет на пенсию».

«И примерно месяцев через шесть умрет», – был, как мне кажется, дальнейший ход его мысли, которую он, впрочем, не высказал.

Так все вместе мы несем вахту смерти, обозревая горизонт в поисках первого ворона. Любовь раз за разом проходит.

## Заблудшее дитя-цветок<sup>[171]</sup>

К нам поступила Патриция Холмс. Заблудшее дитя-цветок. Она родилась в один день со мной, осенью 1947 года, в Лидсе. При более детальном сравнении нельзя исключить того, что летом 1969 года мы спали под одним и тем же мостом в Париже, после чего я подал заявление на стипендию, чтобы сбежать в университет, а она за small-time<sup>[172]</sup> торговлю гашишем на несколько лет очутилась в одной из немецких тюрем. После освобождения она хотела через Нидерланды вернуться в Англию, но так здесь и застряла. С тех пор прошло уже шесть лет. За это время она вышла замуж и родила сына, которому сейчас четыре года. Как-то вечером она попала на какую-то мрачную вечеринку, где нельзя было найти ни одного чистого шприца, и заразилась СПИДом.

Нет, ребенок не инфицирован. Муж о нем заботится.

Патриция настроена вполне оптимистично, в том что касается ее состояния: «Вообще мне везет! Джими Хендрикс в этом возрасте уже 16 лет как был мертв».

– Пат, мне придется подумать над тем, что ты сейчас сказала. Впрочем, не говори о нем так легкомысленно, хорошо? Я любил Хендрикса.

– Я тоже. В *Purple Haze* я всегда пела: «Scuse me while I kiss this guy»<sup>[173]</sup>.

Вечером звонит Брам. Он в панике. Слышу непрекращающиеся приступы рвоты. Он не хочет в больницу: он оттуда уже не выйдет. Еду к нему с петидином<sup>[174]</sup>. Через полчаса после инъекции ему немного лучше. Эссефелд был у него днем. «Он всё время говорит только о том, что я возвращаюсь к своему отцу».

– Ну. Это же прекрасно?

– Он уже сорок лет как умер. Где он теперь может быть и что мне там делать? Господи, какая бессмыслица, и я столько лет думал, что во всё это верю. Теперь кажется, что это полная чушь.

Он говорит о Небесах, огне Чистилища, Вечной жизни, жизни после смерти, душе, покинувшей тело, Воскресении – о том, что всегда было

милыми картинами, висевшими на стене в его сердце. Поэтому его так раздражает бессмысленная болтовня Эссефелда. «Можно подумать, что он говорит мне: „Войди же в одну из этих картин“. Какая белиберда! Я больше не знаю, на что надеяться. Что ты мне вколол? Я чувствую такой покой, хотя говорю о самых страшных вещах».

То, что он скоро будет лежать в гробу, он и вообразить не может. Он просит меня, чтобы на похоронах обошлись без громких слов: «Например, что я был хороший парень, прекрасный человек, – потому что я часто ворчал. Уж это я точно знаю».

Когда его гроб будет стоять в Де Лифдеберге, он хотел бы, чтобы я добросовестно проконтролировал, что он действительно мертв. «Сделай это, не то буду тебе являться как привидение. Так что же ты мне вколол?»

От Брама еду на велосипеде в центр города нанести визит Люкасу Хейлигерсу по случаю выхода в свет его новой книги. Сегодня днем он сообщил мне по телефону, что приготовил для меня экземпляр с посвящением.

– Для послебольничного наблюдения? – спрашивает он при моем появлении. Возможно, он забыл, что звонил мне сегодня днем.

– Что за глупости? Простое любопытство. Ты у меня первый живой писатель, и я подумал: было бы неплохо забраться в самое, э-э, его логово.

Кругом и правда чудовищный беспорядок. В квартире повсюду газеты, журналы, одежда, тарелки, пепельницы, пакеты с мусором, но прежде всего бутылки, то и дело с бурным загустевшим осадком, в котором плавают брошенные туда окурки. Картина уж никак не романтическая.

– Ну и сюрприз! Люкас, никогда бы не подумал, что ты живешь в настоящей берлоге.

Он сидит почти *позади* своего пивного пуза, с выпученными глазами. Разглагольствует, расхаживает с нарочитой, неуклюжей решительностью человека, который пьян, но не хочет этого показать. Принесенное вино принимается с каким-то рыком, и, не отставив бутылку, он просит: «Открой-ка». Пьет прямо из бутылки. Моя порция, булькая, наполняет жирный пивной бокал с остатками какого-то клейкого напитка на дне.

Не знаю, почему он должен обитать в таком хлеву. Он считает, я думаю, что таким образом может кому-то или чему-то бросить вызов, сделать назло.

После длившегося добрых полтора часа хвастливого, бьющего на эффект монолога, полного алкоголя, коллег-писателей, которые всегда отечески относились к нему; актрис, по-матерински заботившихся о нем; врачей, которые ни в чём не разбирались, и к тому же эту профессию представляли явные пьяницы; и его отца, который был поистине Богом, он приваливается, всхлипнув, ко мне.

– Эй, уйди, грязнуля, ты даже не брился.

– Нет, послушай, Антон, я серьезно. Твоя жена, у нее ведь есть подруги, ну, ты понимаешь, неужели ты не можешь как-нибудь познакомить со мной кого-нибудь, чтобы у меня был человек, с которым я мог бы делить свою жизнь, ну да, такая фигня, понимаешь. Мне нужна... я всегда... мне просто нужна хорошая женщина, понимаешь?

– Люкас, хотя ты и наклюкался, я всё-таки подам тебе сигнал с планеты Земля. Может, ты и считаешь себя сокровищем, но я бы на твоём месте взял курс на реинкарнацию, ведь ты же не думаешь, что сможешь найти существо, готовое делить с тобой этот свинюшник? И мы еще с тобой делаем вид, словно говорим только о том, как ты ведешь хозяйство.

Он озадаченно смотрит на меня. Лишь раздражение услышал он во всем сказанном. О господи, и зачем только нужна была вся эта язвительность? Но его это не задевает. Прощаясь, получаю по наждачному поцелую в каждую щеку, хваток между ног, и уже на лестнице он всё-таки вручает мне книгу.

Читаю:

Антону,

Моему дорогому, дорогому врачу из Де Лифдеберга

– И мое дыхание?

Ах, сказала Лин

(медсестра, ты ее знаешь)

ах (так), пахнет бензин.

«Но нет, милая Лин»

(сказал Люкас) который пахнет



(своим ((сердце Люкаса было  
снова полно. Он может  
едва ли больше *stendar*))  
бензином («ах нет,  
милая Лин»). Люкас стоит  
зазубриваясь, его сердце – изволь  
лишь алкоголь.

Не уверен, что правильно прочитал *stendar* и *зазубривать*. Но вышеприведенный фрагмент создает впечатление того, как он говорит. И прежде всего открытие скобок с изящным броском, который он еще раз повторяет, если внутри парентезы снова сворачивает в боковую улицу, где чаще всего сразу же исчезает под мостовой. О закрытии скобок в речи, разумеется, и говорить нечего.

После нитья, которое изливается на меня на протяжении всего дня, я не очень могу переносить то же самое вечером, посещая, прошу заметить, ныне живущего автора.

Кажется, Боманс заметил, что «небольшому художнику хочется носить шляпу с большими полями»?

## Выносливый кролик

Разговор с Патрицией.

– Мы могли бы немного поговорить?

– Если ты не будешь такой угрюмый. Ну, присаживайся. Закурить не хочешь?

– Нет, спасибо. Сержант Смит, когда в мундире, не курит.

– Так, и насчет чего?

– Насчет смерти. Твоей смерти. Видишь ли, ты очень больна. Тебе это известно? Sorry, я говорю об этом как-то не так.

– Может, лучше поговорим о твоей смерти?

– Пат, послушай! Ты серьезно больна. Ты скоро умрешь. А я даже не знаю, кому позвонить, чтобы сказать об этом. Ты говоришь, что у тебя есть муж и ребенок. Я никогда их не вижу. Ты всё время куришь гашиш и роешься в текстах по астрологии, а главное тебя не волнует. Скоро тут у нас будет шестьдесят кило дорогих останков, и я себе не представляю, что я должен буду со всем этим делать.

– Между прочим, пятьдесят пять.

– А, пятьдесят пять, ну тогда это, конечно, меняет дело.

– Ты шутишь?

Так продолжается какое-то время, но в конце концов она всё-таки кое-что мне рассказывает. Ее муж сидит в тюрьме за провоз героина. Их ребенок, мальчик четырех лет, находится в другом городе, у приемных родителей. Они с мужем временно лишены родительских прав. Но главное, *small-time* было совсем не то, чем они занимались, и с гашишем было не слишком связано. Одно время они были богаты. Ребенок казался им прекрасной идеей.

– Хорошо, кому нужно будет сообщить о твоей смерти?

– Ну ведь есть еще телефон бабушки. Найдешь в документах.

– Кто это, можно спросить?

– Ну, это практически моя свекровь.

– Ага, и ты всегда ей ужасно нравилась?

– Да нет же, она меня терпеть не могла.

– Чего же ты тогда с нее начинаешь?

– Да потому, что ее номер, я думаю, в документах...

Ее мать до сих пор живет в Лидсе. Патриция, пожалуй, подумает, не позвонить ли ей как-нибудь.

– Ну и как ты хочешь: позвонить твоей матери до того, как ты умрешь, или лучше потом?

– А может, во время?

Почти точно на такой же стадии сейчас находится Брам. Снова в больнице. Последняя для него кишечная непроходимость.

Ему вводят жидкость инфузионным путем, содержимое желудка ему откачали, чтобы прекратить рвоту, тем не менее что-то всё еще продолжает поступать во все эти пакетики из мочевого пузыря, стомы и фистулы. От инфузионного питания он отказался.

Он встречается меня словами: «От тебя тоже пахнет едой: лук, угадал?»

Он совсем без сил, сонливо щурит глаза. «Моя жизнь висит на волоске». К счастью, в этом сквозит всё-таки что-то театральное.

– Ну, Брам, скорее на железной проволоке. Мы еще от тебя не избавились.

И действительно, это может тянуться еще недели.

Читает он много. На его тумбочке лежит *Else Böhler*<sup>[175]</sup> Вестдейка, и он рассказывает, что у старой Рооденхёйс, когда-то работавшей в водном хозяйстве, болезнь почек. «Типичный Вестдейк – всегда самый умный в классе».

Рядом с книгой лежит то, что раньше называли мы *скапулярий*<sup>[176]</sup>: синяя Лурдская паломническая медаль его сестры.

«Это священная медаль. Она прикасалась к скале в гроте». Я был не вполне уверен в его иронии, пока он не сказал: «Ну да, а еще хуже эта подарочная корзина из Де Лифдеберга». И показал на щедро обернутую целлофаном гору, размером почти в человеческий рост: отборные фрукты, орехи, вино и всякая всячина со всего света. И ко всему этому еще веселенькая открытка в придачу. «Спасибо, конечно!»

Ночью опять один из моих многих снов о вскрытии. Брам Хогерзейл умер. Тело его уже выпотрошено. Вверху, в грудной клетке, и внизу, в тазовой области, крупные сосуды и жилы перерезаны; извлечены все внутренности, сосуды и органы лежат кучей, как небрежно свернутый садовый шланг. Пустое пространство внутри мы набили санитарно-гигиеническими салфетками. Несмотря на это, он всё еще говорит,

хотя и слабым голосом: «У меня ужасная жажда! Может такое быть?» Конечно, из-за сухой бумаги, думаю я. И его слова, и тихий голос я объясняю как спонтанное, мертвое разрастание, чисто биохимическое испарение. Спрошу Постюму, который ответствен за погребение, как это понимать. Мне это не нравится. Разве таким можно его хоронить?

В отделении Яаарсмы переполох: принесли смертельно больного кролика. Ветеринар, из практики за углом, сказал, что животное лучше всего было бы сразу же усыпить. На что Яаарсма: «Ну, это нам раз плюнуть». Говоря «нам», он имеет в виду Де Гоойера или меня, потому что сам он такими вещами не занимается. Де Гоойер, доверительно подмигнув, отсылает ко мне: «Пойди к Антону, насколько я знаю, он из крестьян».

Сестра Беа ставит мне на стол большую картонную коробку, на дне которой сидит внушительный белый кролик, печально ожидая конца. Он еле двигается.

Теперь, когда Яаарсма и Де Гоойер знают, что дело бесспорно в надежных руках, они выползают из своих нор с массой готовых советов. Они с ужасными подробностями обсуждают, как следует поступить: утопить, удавить, зарезать или повесить. Чтобы утопить, нужно налить полную ванну воды, из которой кролик может выпрыгнуть. Удавить – самый надежный способ, но они думают, что я вряд ли на это способен. Зарезать – будет целая лужа крови, повесить – ну это совсем уж никуда не годится.

Де Гоойеру внезапно приходит в голову мысль сделать укол морфина. У нас есть ампул десять с превышенным сроком хранения. Нейрорецепторы кролика должны быть такими же, как и у человека. И вот уже он как можно крепче держит животное, а я впрыскиваю ему в заднюю ногу четыре ампулы, дозу, с которой и взрослому человеку не легко было бы справиться. Мы опускаем кролика обратно в коробку, а сами возвращаемся к своей обычной работе.

Когда через час мы заходим в мой кабинет, чтобы убедиться, что кролик уже отдал концы, он, как только я отодвигаю крышку коробки, высовывает голову через край и, вовсе не думая погибать, лукаво поглядывает по сторонам. И именно в этот момент звонит телефон. Это Беа: «Он уже?..»

«М-м, о, да, нет, он не страдал, он, кажется, даже и не заметил». Я стараюсь отделаться какой-нибудь стандартной фразой: кто знает, чего ему удалось избежать, – ведь ты же не думаешь, что он бы этого хотел, – но теперь можешь быть уверена, с ним всё хорошо, и т. д. и т. п.

Стыдно признаться, что три опытных врача оказались не в состоянии умертвить кролика. У меня впечатление, что он чем дальше, тем всё более шустро скачет в своей картонной коробке. Возможно, бедное животное впервые за несколько месяцев не страдает от боли.

И всё-таки меня злит, что и ближе к вечеру кролик всё еще жив. С помощью Де Гоойера опять накачиваю его морфином. На сей раз двойная доза. Посмотрим, что он на это скажет.

На следующее утро кролик всё еще жив-живёхонек. Что за чёрт! И это притом, что Яаарсма рано утром показал сестре точное место в саду, где я будто бы еще вчера вечером похоронил этого кролика. Я откладываю вопрос на потом и сначала иду к Патриции, которую хочу приободрить сообщением, что звонил доктор Хиллебранд из больницы Хет Феем.

– А чего он звонил?

– Он хотел бы еще раз принять тебя в поликлинике. Он спрашивал о твоём состоянии.

– Чепуха. Он просто хочет знать, действительно ли я уже умерла, и если да, то сколько белых кровяных шариков оставалось в конце, а если нет, то как долго это еще будет тянуться. Впрочем, он был приятный, всегда со мной немного заигрывал.

У меня напряглись мышцы на лбу, потому что она добавила:

– Да, тогда это было возможно. Я еще не превратилась в такую мумию, которую ты сейчас видишь. Тогда я была очень даже привлекательная.

Я почувствовал, что попался, и только и выдавил из себя:

– Патриция, мы все были когда-то очень даже привлекательными.

Но она ведь права. Я откажусь от приема в поликлинике. С тех пор как СПИД стал такой знаменитой болезнью, многие амбициозные молодые врачи испытывают зуд сделать на этих несчастных свою диссертацию. Всё сгодится для публикации, даже если это будет результат подсчета волос в носу или вес ушей ВИЧ-инфицированных –

при условии, что будет выдержан статистически релевантный порядок сравниваемых величин.

Довольно циничное занятие. Хет Феем прямо-таки гудит от всего этого. Вновь поступающие больные СПИДом сразу же попадают в окружение стай молодых ученых; каждый из них выискивает себе пациента, который подходит к описываемому им случаю.

В полдень приходит доктор Олденборх для консультации. Обычно мы ставим его перед самой невероятной медицинской дилеммой, но сегодня мы одержимы только одним вопросом: как умертвить кролика?

Он криво улыбается, однако знает решение нашей проблемы: эфир. Спрыснуть эфиром кухонное полотенце, положить его на дно коробки рядом с кроликом, накрыть коробку платком, который для надежности также спрыснуть эфиром, и в течение десяти минут реинкарнация завершится.

Пока мы всё это проделываем, он рассказывает о своем опыте общения с кроликами. Некоторое время он работал ассистентом на занятиях по анатомии на четвертом семестре. Однажды студенты должны были вскрывать кроликов, чтобы выковырять то ли какую-то артерию, то ли нерв. Позже в тот же день он увидел, что кроликов, у которых удалили всего лишь одну артерию или что-то в этом роде, просто выбросили. Он решил взять домой парочку и хорошенько ими полакомиться. С другими студентами, которые вместе с ним снимали квартиру, кроликов разделали и сунули в духовку. После этого все расположились в соседней комнате с бутылкой вина, чтобы немного выпить и поболтать. Не прошло и десяти минут, как они услышали, что на кухне раздался страшный взрыв. Дверцу духовки сорвало, а оба кролика буквально разлетелись в разные стороны. Эфир, с помощью которого их усыпили, улетучился и взорвался.

«Вот что значит эфир, ребята», – говорит Олденборх, поднимая платок. В коробке, распротертый, лежит наш кролик. Поздно вечером я вернулся в больницу, чтобы похоронить его под покровом ночи.

## Обряд как смещенная активность

Ланч с Хендриком Терборхом и Яаарсмой. Мы не можем от этого отказаться. Сегодня разговор о том, вмешивается ли Бог в судьбу человека. Хендрик завершает свое рассуждение торжественным выводом: «Идея о некоем управлении в самом широком смысле, здесь, на земле, кажется мне нераздельно связанной с надеждой, которую мы возлагаем на Бога».

– Если это так, тогда мне бы очень хотелось знать имя и адрес шефа.

– Зачем?

– Ну, посмотреть, что за тип, что он читает, достойные ли у него родители, видит ли он хоть иногда церковь изнутри, понимаешь?

Ресторанный гул стал причиной утомительной паузы, которой, однако, оказалось для Терборха недостаточно, чтобы смекнуть, что я всего-навсего пошутил, и только через некоторое время – ну отсырел фитиль – мое замечание взрывается в его мозгу, как раз в тот момент, когда у него был полный рот крекера, который ему, вообще-то, следовало бы разломить надвое.

Яаарсма рассказывает о своей любимой фантазии. Каждый день, или каждый месяц, или каждый год взвешиваешь, стоит ли усилий твоя жизнь или пора уже с ней расстаться. Проблема состоит в том, что, по мере того как становишься старше, перестаешь замечать, увеличиваются или уменьшаются в среднем твои возрастные невзгоды. «Когда мне было двадцать, я думал: к тридцати я или буду счастлив, или меня вообще не будет. Тогда мне казалось невероятным, что после тридцати я все еще мог бы довольствоваться ошметками».

Взвешивание до сих пор не сделало его ни на грош мудрее в том, что касается продолжения или прекращения жизни.

«Но к этому добавляется и нечто другое: надежда. Надежда, что всё еще может повернуться к лучшему. А когда-нибудь и она иссякнет».

Позднее, в больнице, когда я осторожно вхожу в палату к Брамму, вижу, что его надежда, вероятно, никогда не иссякнет. Да, он всё еще жив. Конечно, он чудовищно исхудал. Кожа еще более туго обтягивает его кости. Он больше не смотрит в зеркало.

– Пришел посмотреть, испытываю ли я еще страх?

– Ну, э-э...

– Мы все испытываем страх, Антон, и я не исключение.

Похороны и погребение он обговорил до мельчайших деталей. Он хотел бы, чтобы его похоронили там, где он родился.

– Я уже вижу уголок для себя, – говорит он мне и согревает себя мыслью об уютной постели в земле.

– Здесь – вода, там – луг, и я буду лежать за оградой, обвитой вьюнками.

– Но ты же этого никогда не увидишь.

– По крайней мере, с твоей точки зрения, нет.

Кажется, что он приближается к смерти асимптотически:  $f(x) = 1/x$ , остающиеся жизненные силы равны единице, деленной на течение времени.

«Почти весна», – говорит он, когда я прощаюсь.

Поздно вечером он скончался. Во второй половине дня, вскоре после того, как я его навестил, он медленно, но явно отходил. Ранним вечером он едва-едва реагировал и то и дело терял сознание. В пол-одиннадцатого его наконец не стало.

За день до смерти он еще попросил одного из своих друзей купить ему книгу *Onder professoren*<sup>[177]</sup>. Ему всё еще хотелось читать. Всё это чтение в последние дни меня не убеждало, потому что я чувствовал в этом именно желание убедить. Живой интерес к литературе до последней минуты должен был показать, сколь мужественно он противостоит смерти. Но при этом он не смотрел ей в лицо, а поворачивался к ней спиной.

Нет, упорное чтение таких книг, как *Onder professoren*, никак не могло быть приятным зрелищем. Я еще понимаю, если бы это был Каас<sup>[178]</sup>, или *Болотные огни*<sup>[179]</sup>, или *Малоун умирает*<sup>[180]</sup>, или Нескио<sup>[181]</sup>, или *Письма Китса*, или фамильный альбом, или план Утрехта 1952 года, или долгоиграющая пластинка с песнями Перри Комо<sup>[182]</sup>, или годовая подшивка еженедельника *Katholieke Illustratie*<sup>[183]</sup>, или *Новый Завет*, или картины Гойи, или *Страсти по Матфею*, или григорианские песнопения, или *Сиддхартха*<sup>[184]</sup>. Но *Onder professoren*?

Сегодня вечером в часовне Де Лифдеберга панихида по Брамму. Во всяком случае богослужение Великой пятницы соединили с панихидой, что приводит к полной неразберихе: пришедшие из-за



Брама не хотят присутствовать на богослужении Великой пятницы, а пришедшие ради Иисуса вообще понятия не имеют, кто такой Брам.

Гроб, под стеклом, стоит у подножия алтаря. Я вижу разных людей, в том числе и ван Йеперена («обязательно пойду на похороны»), которые подходят к гробу, чтобы взглянуть на усопшего и передать последнее прощание, но пугаются и с недоверием отходят. Действительно ли это Брам?

Он невероятно исхудал, вид его пугает. Волосы его никогда такими не были, он без очков, веки не сомкнуты, рот полуоткрыт, так что зубной протез, кажется, может выскользнуть, цвет кожи неестественно бежевый, даже на шее, и почти доходит до воротника: явно использовали какой-то крем для лица.

Эссефелд и Терборх оба стоят перед алтарем. Всё выглядит как-то несообразно. Брам у него явно не доставило бы удовольствия. Странно видеть, что борьба между Римом и Реформацией и спустя 450 лет всё еще в силе. По крайней мере, мне представляется, что Эссефелд испытывал злорадное удовольствие, облачив Хендрика в модный стихарь с вышивками в стиле абстрактного экспрессионизма, где предполагаемых голубей пожирали столь же гипотетические языки пламени или, может быть, листья. Во всяком случае, в своем собственном приходе Хендрик в таком наряде никогда бы не появился.

Сам же Хендрик, опять-таки, взял с собой свою весьма привлекательную жену, и мне кажется, то, как свежо она выглядит, объясняет, почему у Терборха никогда не увидишь в уголках рта коричневой слюны от сигар, что всегда скапливается у Эссефелда, который их наполовину жует, наполовину выкуривает.

Так что 1:1.

Эссефелд, на мой взгляд, говорит о Бrame довольно-таки бесцветно. Он ни одним словом не упоминает о невероятно долгом, истощающемся закате, который наконец погас для него. Напряжение, боль, сомнения, горе – о них ни слова. Только о мужестве Брама, о том, что все свои надежды возлагал он на Бога, «и Его теперь мы все вместе просим, дабы помиловал Он раба Своего».

Он говорит также об особой милости, сказавшейся в моменте кончины Брама: на Страстной седмице, в преддверии Страстей Христа, Его смерти и Воскресения. За всем этим, как я подозреваю, стоит невысказанная бредовая мысль, что отрешение души от тела в

данный отрезок времени, когда преобладает столь мощная тяга вверх, совершается намного быстрее, и поэтому душа с большей скоростью взметнется на небо.

О Страстях Господних читают из Евангелия от Марка. «Древнейшее Евангелие», – ни с того ни с сего объявляет Хендрик с каким-то особым акцентом. Кому сейчас до этого дело? Кажется, он хочет сказать: мы не дадим слабину в критическом отношении к текстам<sup>[185]</sup>.

Пытаюсь представить себе сцену в доме Пилата. Вижу упитанного римлянина (Питер Устинов<sup>[186]</sup>), с бисеринками пота на лбу; он лихорадочно ходит взад-вперед между беспорядочным скопищем народа снаружи, Непостижимым Пришельцем в гостиной (Джордж Харрисон<sup>[187]</sup>) и женой-истеричкой в спальне. Милые глаза Джорджа. Пилат решает пропустить еще стаканчик и приходит к мысли об омовении рук. Джордж преодолевает страх и хранит молчание.

На балконе, умывая руки, Устинов выкрикивает срывающимся фальцетом трусоватого гомика, которым он, собственно, и является: «Невиновен я в крови этого праведника!» С залитого солнцем балкона вряд ли он может видеть сидящего внутри здания праведника.

Варавву – того, думал я, когда был ребенком, кто весь из рабарбара<sup>[188]</sup>, – толпа несет на плечах. Роль второго плана для Джорджа Рафта<sup>[189]</sup>.

Но ведь у Марка об умывании рук вообще нет ни слова.

После Марка Эссефелд и Терборх вместе поют что-то такое, что они, сразу же слышно, не репетировали; звучит ужасно фальшиво, и кое-кто из присутствующих ухмыляется. Меня аж бросает в жар от стыда.

Глядя на Терборха и Эссефелда, я с трудом себе представляю, как возникли обряды. Вероятно, уходят корнями в некие рудиментарные проявления поведения животных.

У животных можно наблюдать, как определенное поведение формируется в виде соответствующей реакции на раздражение. Если оно сопровождается сильным возбуждением, то иногда случается, что игла, так сказать, перескакивает по пластинке и попадает на какой-то другой поведенческий участок. Самцы, представляющие друг для друга угрозу, на границах своей территории прерывают самым нелепым образом рычание, и махание крыльями, и фыркание краткими, нарочитыми приступами демонстрационного

(почесываются) или пищевого (истово клюют на земле) поведения, притом что у них ничего не чешется и никакое съедобное зерно на земле не рассыпано.

Такое поведение получило название *displacement* [смещенная активность]. Человеку оно тоже присуще и проявляется, например, в виде курения.

Поэтому всякий ритуал можно было бы рассматривать как стилизованное поведение «перескакивания». Когда оказываешься лицом к лицу с раздражителем, столь ошеломляющим, что нельзя найти никакого адекватного ему поведения, то в момент крайнего возбуждения приходится реагировать хоть «каким-нибудь» поведением. И мы стали петь и плясать вокруг наших усопших, которые как раз и были для нас ошеломляющим раздражителем.

Из католической литургии впоследствии выделили Почитание креста. Это составная часть богослужений Великой пятницы. Эссефелд возглашает начало обряда словами: «Будем же почитать Крест, и последуем...».

Думаю, Брам был бы вне себя от ярости от всего этого представления: от того, как он здесь лежит, от странного облачения священнослужителей, от Терборха у алтаря, фальшивого пения, странного смешения поминальной службы с богослужением Великой пятницы.

К тому же возникает вопрос, неужели возможно, что «служители таинств» столь несведущи в вещах, которые составляют суть их профессии. Как может Эссефелд думать, что можно запросто пренебречь установленным ритуалом? Я думаю, он не чувствует, насколько легко перейти от священника, совершающего богослужение в память Смерти своего Бога, к совершенно обалдевшему, завернутому в какую-то скатерть простофиле, который не умеет петь.

Когда я смотрю на этих двоих за их занятием, я думаю: здесь умирает что-то совсем другое, нежели Вера.

## Одиночный полет во владения Смерти

Мы с Мике идем по коридорам нашей больницы, навстречу ван Пёрсен. Мельком взглянув на него, Мике обращает ко мне многозначительный взгляд: «Семени из него не получишь. Разве только взять пункцию».

За ланчем Де Гоoyer спрашивает, что для меня было самым ужасным из всего, что я пережил. Видя по моему лицу, что поставил меня перед слишком болезненным выбором, торопливо добавляет: «Я имею в виду, пережил как врач, не будем касаться твоих женщин».

Сдав экзамен, я долгое время проводил вскрытия в больнице Бюргвал. Сначала это было ужасно. Для работы мне хотелось надеть шесть пар перчаток, а вечером я не мог коснуться еды голыми руками, потому что от них всё еще шел трупный запах. К тому же после работы я оттирал руки щеткой и мыл их очень горячей водой, так что поры раскрывались, и запах еще глубже въедался в кожу.

Хенк Гронд, помощник в отделении, где я работал, попался мне не слишком умелый, и его скальпель частенько соскакивал, так что брызги (крови, слизи, кала, жёлчи и гноя) летели прямо в лицо, которое в такие моменты более чем когда-либо являет собой лицевую сторону души. Вот, дьявол! Однако скоро уже становишься безразличным ко всей этой мерзости и в конце концов спокойно жуешь бутерброд, стоя рядом с разверстым трупом.

– Эти брызги, это было самым ужасным?

– Нет, всё еще впереди.

До тех пор я думал, что самое ужасное – это неудачная хирургическая операция в брюшной полости и, как следствие, гнойный перитонит. Здесь Хенк был мастер. У нас была самая гнусная работа во всем городе: выгребать из трупов дерьмо (приличный господин, роющийся в канаве). Невероятная вонь, в которой приходится копаться руками, это что-то чудовищное. Для нас всегда было большим облегчением, когда Хукема, хирург, приходил, чтобы проинспектировать поле битвы, потому что он всегда закуривал сигарету, которая так приятно пахла рядом с этой выгребной ямой.

Впрочем, по его желанию, нужно было извлекать кишки из этой слякоти, в случае необходимости также вскрыть их и промыть, так

чтобы можно было проверить наложенный шов. Его облегчение, если он видел, что шов в полном порядке, меня всегда удивляло. Всё равно что испытывать удовлетворение, если среди обломков разбившегося самолета найдешь целую пепельницу.

– Так это и было самое ужасное, гнойное брюхо?

– Нет, самое ужасное еще впереди.

Если труп на столе для вскрытия поворачиваешь на бок, чтобы удалить лежащую под ним простыню, то вдруг видишь жалкие плоские ягодицы. Из-за расслабления мышц и отсутствия кровяного давления трупы, которые лежат на спине, быстро лишаются задницы.

Часто при переворачивании трупа бывает так, что он словно выпускает вздох. Конечно, это не настоящий вздох, просто через пищевод выходит газ из желудка. Но звучит как вздох.

Я уже месяцев пять занимался этой работой, когда однажды Хенк заболел. В то зимнее утро я должен был один пойти в холодильник, взять труп и приступить к вскрытию: одиночный полёт во владения Смерти. Все мои прежние страхи вновь вернулись ко мне, теперь, когда я остался один на один с трупом, который мне предстояло вскрывать. Мысль, что мертвец в невыразимом отчаянии наблюдает за тобой, занимающимся этой грязной возней, непреодолимо тебя преследует, и ты вновь осознаешь, что за страшный проступок, в сущности, вскрытие. Словно можешь наконец рыться в интимных бумагах того, кто теперь беззащитен. В то утро меня поразил, как никогда раньше, жалкий вид бедного плоского зада, а глубокий печальный вздох, который этот мужчина издал, когда я его переворачивал, я никогда не забуду.

«Да. Это оно и было». Смерд, плоские ягодицы и вздох, все три, но самое страшное из всего всё-таки вздох.

Яарсма предлагает иную дистанцию для религии. «Нужно вычеркнуть имя Бог. Если Бога насадить на крючок и забросить удочку в духовную глубь человека, совершенно невозможно представить, что именно через какое-то время оттуда выудишь. Нужно выдумать какое-нибудь другое имя и не валять дурака. Не Адольф или Минтье, но, скажем, Хенк или Анни. Возьмем Анни. Увидишь, как сразу просветлеет небо, если священнику и пастору придется называть Бога Анни: „Истинно верую, что Анни печется о нас. Доподлинно знаю, что Анни возлюбила меня“. Нет, пожалуй, звучит всё же как-то

не очень. Попробуем Хенка. „В начале сотворил Хенк небо и землю“. „There is more to a name than was dreamt of...“<sup>[190]</sup> и так далее. Что-нибудь можешь добавить, Антон?»

«Ну что ж, ты для меня, пожалуй, полноценный член той гильдии неодолимых, патроном которых в наше время может считаться Меттерних, с его высказыванием: „Если бы у меня был брат, я называл бы его кузеном“»<sup>[191]</sup>.

Звонок из Лидса. Мать Патриции хотела бы узнать подробности относительно дочери. Спрашиваю Пат: «Какие чувства ты испытываешь к своей семье в Лидсе?»

– Смешанные, – только и может она выдавить из себя и плачет.

Вытерев слезы, она рассказывает. В 1947 году ее мать забеременела. Тогда она жила в Ливерпуле, он был американский солдат. «Overpaid, overfed, oversexed and over here» [«Слишком денег, слишком еды, слишком секса и слишком здесь»], как тогда говорили. Ее родители не видели в этом ничего забавного и выставили ее за дверь. Американец сбежал, и о нем никогда больше не слышали. Ее мать никогда не пыталась его разыскивать. Она поступила на работу в больницу в Лидсе и там родила Пат в ноябре 1947 года. Три года спустя она вышла замуж за Артура Холмса. Он работал посудомойщиком в университетской столовой. Он много пил и часто бил Пат. Слишком сильно. Нет, Пат его не боялась. Она научилась не путаться у него под ногами. Это означало практически, что она научилась жить на улице. Потом родились еще двое детей, мальчик и девочка.

– Но неужели у тебя нет никаких приятных воспоминаний о доме? И ты ни разу не могла хоть немножко согреться у домашнего очага?

– Я иногда жалела мать.

Артур может и был мерзким типом, но теперь, оглядываясь назад, Пат и к нему чувствует жалость. В прошлом ему пришлось несладко. С 1941 года он плавал через Атлантику и Тихий океан на судах сопровождения как уборщик и помощник на кухне. Дважды его корабль был торпедирован. Первые полтора года на море были ужасны. Для немецких подводных лодок тогда не существовало препятствий.

В конце недели он обычно допоздна шлялся по городу, не расставаясь с бутылкой, никогда ни с кем не общался, не вступал в

драку. Однажды Пат встретила его далеко от своего квартала, совсем в другой части города, где она была на каком-то празднестве. Она как раз хотела сесть в такси, когда вдруг увидела его. Он шел под дождем, один, и скорее выл, нежели пел песенку Веры Линн:

There'll be bluebirds over  
the white cliffs of Dover  
some sunny day<sup>[192]</sup>.

Тогда она его пожалела.

Ей хотелось вырваться из пучины пьянства, насилия и абсолютной беспомощности. «Невозможно представить себе ничего хуже английской рабочей семьи в 1958 году в Лидсе, на грани приличий околевающей в плохом доме, с плохой едой, плохим образованием и плохой погодой».

И она отправилась в Европу, где скоро оказалась среди торговцев наркотиками и временами даже бывала сравнительно богатой.

– Я прекрасно понимаю, что ты из дурной среды, но предпринимаешь ли ты что-нибудь для того, чтобы у твоего сына было лучшее детство, чем у тебя? Неужели тебя не трогает, что ты смогла обеспечить твоему единственному ребенку такую же скудную и дрянную пищу, которой тебя кормили в детстве в Лидсе? Ведь, насколько я знаю, твой ребенок живет в приемной семье?

– О, оттуда я точно его заберу.

– Пат, я так не думаю.

– Почему нет?

– Потому что ты – о господи! – потому что ты умираешь, вот почему. Но, пожалуйста, оставь что-нибудь для него: письмо, фотографию, ну хотя бы поношенную старую куртку. Какой-нибудь знак, чтобы он увидел, что ты любила его и что для тебя большое горе, что ты должна с ним расстаться. И тогда, вскоре после твоей смерти, он сможет сказать: «Вот, это я получил от моей матери». Ты об этом подумала?

– Нет, не подумала.

– Ну тогда тебе следовало бы хорошо надрать задницу. Растяпа! Чёртовы хиппи! Твой сынок за эти четыре месяца, что ты здесь

находишься, твои последние месяцы, уже дважды был здесь! Твое единственное оправдание – лень. Тебе просто нет до этого дела.

Пора прекратить этот разговор, ведь я стал ее просто ругать, а такого в ее жизни было более чем достаточно. Но как удержаться в рамках профессии, когда люди так поступают со своими детьми?

Я сказал ей, что, пожалуй, не стоит нам больше говорить об этом.



## Узреть небо

Сестра и мать Патриции прибыли сегодня утром. Милые люди. Им бы хотелось забрать Патрицию в Лидс, чтобы она могла умереть у них. Пат говорит, что ей нужно время, чтобы подумать, но ее сестра, ее сводная сестра, сразу же вносит ясность: «Для Пат это означает: как только вы выйдете из палаты, я тут же обо всей этой ерунде и думать забуду».

Она знает свою сводную сестру гораздо лучше, чем мы думали. Мать спрашивает, много ли ее навещают. Отвечаю, что более или менее. Но кто к ней придет? «Видите ли, э-э, собственно, никто не приходит, – говорю я, – муж в тюрьме, сын у приемных родителей».

Де Гоoyer весь субботний вечер провозился с компьютером. Подготовил опросный лист для пациентов, который можно будет использовать как стандартное досье. Он почти всё продумал. После заполнения бланка будет известно, где находится старший сын, когда пациент родился, в состоянии ли он еще достать что-нибудь из своего кухонного шкафа, есть ли у него еще жёлчный пузырь, до какого времени он принимал диуретики и так далее. Трудно поверить, что в своей схеме он не оставил места для таких сообщений, как:

«Мефроу Н. никогда не была замужем, всегда жила вместе со своей сестрой, была первым детским психиатром в Нидерландах».

Или:

«Менеер Х. по профессии адвокат. Потерял свою первую жену и двух детей в период между концом 1943 года и началом 1945 года в Собиборе. После войны женился на мефроу Саломонс. Она умерла 10 лет тому назад. С трудом поддерживает контакты с двумя приемными дочерьми».

Или:

«Менеер К. был первым владельцем белого „форда“ в Гааге. Это было в 1934 году. Его первая воскресная поездка на этом автомобиле в Схевенинген была настоящим триумфом».

В мире Де Гоойера, нет, не в его личном мире, а в мире, разработанном для компьютера, забавная особенность названий Glasgow, Dachau, Oberammergau та, что все они оканчиваются звуком [au]. Вполне логичная бессмыслица компьютерной программы, которая не дает нам увидеть ни виски, ни концлагерь, ни мистерию о Страстях Христовых<sup>[193]</sup>.

Еще раз обсуждаем с Пат возможность умереть в Англии. «Будь я врачом твоей матери, я бы сразу посадил тебя в самолет».

– Но ведь ты мой врач!

– Поэтому я и не знаю, что лучше.

Ее мать привезла ей шесть пар носков. По-моему, очень мило, но Патриции они ни к чему: «Нужны мне эти паршивые носки!» Они и вправду ей не нужны, но как раз поэтому для меня это трогательный жест. И вполне согласуется с моим впечатлением от матери Пат: милая, но не слишком практичная женщина. Что касается идеи умереть в Англии, то хотя она и выглядит привлекательно, но Патриции мало что даст. Для семьи же это означает, что она должна будет умереть не где-то на грани их совести, а в кругу своих, так что они смогут еще потомить ее во всей той любви, которую они всегда хотели ей дать. «All's well that ends well».

Действительно бессмысленная стопка носков.

Появился наконец и ее супруг, Михил. Его выпустили из тюрьмы, но, так же как и ее, временно лишили родительских прав. Ребенок теперь еще дольше останется у приемных родителей. Михил сообщает Патриции, что принимает участие в метадоновой программе<sup>[194]</sup>. Это меня удивляет.

– Да я и сама в толк не возьму, – говорит она как ни в чем не бывало.

– Пояснить тебе, в чём тут суть?

Она бросает на меня один из своих бесхитростных взглядов.

– Он, только держись, героинозависимый, курит опиум, наркоман, торчок и, наверное, не в состоянии заботиться о ребенке.

– Ну, не думаю, чтобы он ширялся или еще что-нибудь.

– Нет, может, он и не колется. Но куришь ли ты, колешься, нюхаешь или медленно вводишь сзади, результат всегда один и тот же: зависимость, – цитирую я из Уильяма Берроуза<sup>[195]</sup>. Обо всем этом я знаю только понаслышке.

– Да, да.

– Ты вообще любишь Михила?

– Не-а.

– Так почему же вы решили создать семью?

– Да вроде думали: обоим подходит.

– Думали: подходит. А ребенок? Для него тоже подходит? Или было трудно с абортom? Слишком поздно заметили?

Теперь взгляд у нее и вправду несколько глуповатый. Не знаю, сколько извилин задействовано у нее в голове. Похоже, что мои длинные фразы для нее – что серпантинные ленты, которые, не переставая, извиваются в воздухе.

– Так что же вам всё-таки подходило: стирать, готовить, трахаться и иметь на нужную дозу?

– Ага.

Стоп, на меня снова находит злость. Чувствую, что сейчас больше не нужно ни о чём ее спрашивать, но я не могу представить, что же она всё-таки видит, когда смотрит в сторону Смерти.

Уильям Блейк<sup>[196]</sup> тоже смотрел в эту сторону, и это записал один из его друзей. Он умер 12 августа 1827 года. Несколько дней спустя Джордж Ричмонд<sup>[197]</sup> писал Сэмюэлу Палмеру<sup>[198]</sup> (неряшливую орфографию сохраняю):

Wednesday Even. g

My Dr Friend,

Lest you should not have heard of the Death of Mr Blake I have Written this to inform you – He died on Sunday night at 6 O'clock in a most glorious manner. He said He was going to that Country he had all His life wished to see and amp; expressed Himself Happy, hoping for salvation through Jesus Christ – Just before he died His Countenance became fair. His eyes Brighten'd and He burst out into Singing of the things he saw in Heaven. In truth He Died like a Saint

as a person who was standing by Him Observed – He is to be Buryed on Fridayay at 12 in morn. g. Should you like to go to the Funeral – If you should there there will be Room in the Coach.

Yrs affection. y

G. Richmond

Excuse this wretched scrawl<sup>[199]</sup>

Великолепная картина наступления смерти! У писавшего возникает впечатление, что окружавшие поэта перед самой его кончиной увидели, что на его лице отразилось сияние вечности, как можно было бы увидеть отблеск коридорной лампы, падающий на лицо ночного посетителя. Словно Блейку со своего смертного ложа дано было узреть небеса.

## Наука и мудрость

Напряженная ночь для моей «Traummaschine»<sup>[200]</sup>: сначала СПИД, я снова им болен. «Нет, не так, как в прошлых снах, – снится мне, – на этот раз по-настоящему».

Началось с синего пятна на коже, посередине предплечья, точно на том же месте, где у Ария была его стигма. И только с невероятным трудом, справляя ночную нужду, я смог выбраться из этого ужасного лабиринта, в котором моя смерть и мои бедные дети бессмысленно кружились вместе друг с другом.

Затем – кончина моей матери. Де Гоoyer констатирует смертельный исход. Я там тоже врач и прослушиваю мать, чтобы быть абсолютно уверенным. Она не умерла, потому что через пять минут полной тишины я слышу, что где-то глубоко внутри что-то медленно расправляется, поднимается и начинает усердно скрестись с краю постели: ее сердце снова проснулось. Я в ужасе. По мне, так было бы лучше, если бы она действительно умерла. Я стыжусь этой мысли и звоню Де Гоoyerу за советом. Однако не могу дозвониться. Пытаюсь связаться с Яарсмой – напрасно. Замешательство всё растет. Представитель похоронного бюро требует наконец принять решение: хоронить или нет? Вокруг гроба разыгрываются страшные сцены: тетя Крис прикатила на велосипеде. Она склоняется над открытым гробом. «Да закройте же его, – думаю я, – иначе она вообще не умрет». Мать наполовину привстала и плача прощается с тетей Крис. Да ведь она же не умерла, понимаю я вдруг. Смерть – это вовсе не прощание в ходе погребальной процессии по пути к темной могильной яме. Я испытываю разочарование и в надежде на лучшие условия на следующей неделе пока что отменяю похороны, как, бывает, мы слышим об отмене футбольного матча.

У Пат не так уж много времени, чтобы принять решение: остаться здесь или отправиться в Англию. Ее мать почти каждый день звонит или говорит со мной, и сегодня утром я настаиваю на решении.

– Я хочу остаться здесь.

– Хорошо. Что сказать твоей матери, если она опять будет звонить?

– Может, лучше всего сказать, что я, м-м, ну да, что я, пока во всяком случае, остаюсь здесь. Ну я посмотрю. Сама не знаю.

Постюма звонит из больницы Хет Феем. Люкас Хейлигерс вчера поздно вечером поступил к ним и умер сегодня рано утром. Знаю ли я кого-либо, кто был ему близок? Нет, сразу, пожалуй, и не скажу.

Что же произошло? Его сосед, нерешительный молодой человек, занимавший одну из комнат в его квартире, вернувшись домой, нашел его со следами кровохарканья и почти без сознания. Он немедленно вызвал «скорую помощь». Переливание крови не помогло.

При нашей последней встрече я с неприязнью высвободился из его колючих объятий, и теперь, узнав о его смерти, чувствую угрызения совести. Словно я оттолкнул от себя утопающего.

Траурное объявление в газете:

## **Люкас Хейлигерс**

**9.9.1935–2.5.1991**

**кремация состоится в узком кругу**

## **I Коринфянам 13**

I Коринфянам 13: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества...».

И снова возникает у меня в памяти тот последний вечер.

Цитата из Коула Портера<sup>[201]</sup> «on friendship»: «If they ever put a bullet through your brain, I'll complain» [«о дружбе»: «Если пуля в тебя попадет, мозг вышибя, я пожалую тебя»].

Ну в точности отталкивающее тебя, но при этом не лишенное юмора безразличие Патриции. Я поделился с ней, и она еще раз засмеялась.

Газетное интервью с профессором Де Грааффом, который много лет лечил Али Блум. Профессор рассказывает о том, почему он остановился на медицине: «Если вы меня спросите, мог ли я стать кем-либо другим, а не врачом, то, оглядываясь назад, отвечу: нет. Мой отец был врачом, первый в нашей семье. Он всегда был занят своей работой, мы его редко видели. Я думал, что эта профессия меня не интересует. Я хотел стать инженером-кораблестроителем. Но когда пришло время решать, мой выбор, к моему удивлению, был сделан в пользу медицины».

Последняя фраза звучит забавно. Конечно, это бессмыслица, как сказал бы Виттгенштайн, удивиться собственному решению. Только решения других людей могут вызвать у нас удивление.

Вероятно, Де Граафф хочет сказать нечто совсем другое, возможно, что-нибудь в таком роде: я вообще не хотел изучать медицину, мое сердце лежало к кораблестроению, но в конце концов я поддался нажиму семьи и переехал из Делфта, где у меня уже была комната, в Лейден<sup>[202]</sup>. Нет, это было совсем не легко.

Визит Франка Бейтендаала, нашего консультанта по психиатрии. Мы завершаем свои рутинные дела и немного болтаем, перед тем как расстанемся.

– А у тебя не возникает желания стать психиатром? – спрашивает он меня. Звучит как комплимент, и ответить нужно любезно.

– Ну, э-э, видишь ли, я прекрасно помню, что раньше представлял себе психических больных как что-то необыкновенное. Скажем, женщина-пастор из Дельф, надыхавшись паров из потаенных глубин, изрекает впечатляющие пророчества о судьбе человечества.

Вместо этого приходится иметь дело с убогими горемыками, которые изводят себя вопросом, каков же всё-таки возраст этой оранжевой ящерицы, которая у них на глазах время от времени задом наперед бежит по столу. Короче говоря, никогда никаких глубоких вопросов. Пифия? Забудьте.

Не помню точно формулировку Фрейда, но не говорил ли он о трудности обращать так называемое страдание в действительное страдание?<sup>[203]</sup>

– А действительное страдание встречаешь именно здесь, в этой больнице?

Франк выражает уважение и спрашивает, сколько часов я работаю. Неполный рабочий день? О да, из-за детей, разумеется. Я объясняю, что и не из-за детей я работал бы неполный рабочий день, потому что для меня эта профессия – адская машина: стоит попасть туда всего лишь одной ниточкой своей куртки, чтобы она затянула и искрошила всего тебя.

С этим Франк, пожалуй, согласен и указывает на то, что у врачей, работающих в больницах, порой отсутствует здоровая дистанция по отношению к профессии. Они слишком заняты своими больными, часто к неудовольствию собственной семьи.

– Франк, ты же не имеешь в виду, что врач беспокоится о судьбе своего больного?

– А разве нет?

– Разумеется нет. Врач, прежде всего молодой, в два часа ночи всё еще ворочается в постели из-за высокого – или низкого – уровня кальция или из-за резкого замечания доктора Буассевена, который всегда всё знает лучше и уже давно вычислил ядерный резонанс промежуточного костного мозга, и при обсуждении, в присутствии остальных, накинется на тебя с убийственными результатами своих вычислений: теперь каждому ясно, что пациент страдал параллельным пипозом (см. также Vaffu, 1987) и что ты сам полный идиот<sup>[204]</sup>.

– Ну, я всё же думаю, это несколько... нет, мне кажется, ты слишком сгущаешь краски.

– Но, Франк, только представь себе, что больницы превратились бы в места, где врачи окружают своих пациентов любовью, по крайней мере – благожелательным вниманием. Тогда они выглядели бы совершенно иначе? И у врачей было бы совершенно другое выражение лица, когда ты здороваешься с ними в коридорах больницы? Но как это может быть по-другому? На чем делают акцент при обучении медицине?

– На интеллекте, может быть, и не слишком; скорее всего – на настойчивости.

– Славно сказано, но это значит сделаться твердолобым и оставаться таким на протяжении пяти-семи лет. Это никому не удается, и для



каждого студента-медика есть риск где-нибудь на третьем или четвертом курсе пойти ко дну.

Чаще всего понимания того, что плыть обратно так же плохо, как продолжать плыть вперед, оказывается достаточно, чтобы хватило сил добраться до другого берега. Но насколько результатом всего этого будет причастность, говорю я ему, сколь велика будет эта причастность к судьбе больного, вот в чём вопрос.

– В больнице всюду, на всех стенах, написано невидимыми чернилами: мы хотим всё знать о вашем митральном клапане, и не приставайте к нам со всякими другими вещами.

– Митральном клапане?

– Ну это в переносном смысле, не всё же прибегать к штампам вроде «соматического лечения».

Должен ли этот юноша оставаться нашим консультантом? Нужно бы поговорить с Яаарсмой. Ведь он мыслит себе нашу профессию по старым католическим молитвам с картинками – подход, с которым встречаешься только в определенного рода телепрограммах.

## Карма, реинкарнация, астрология и всё такое

За ланчем Яаарсма читает: «Для обитающих в саванне обезьян верветок угрозу представляют три хищника: леопард, орел и питон». На что Де Гоoyer сразу же откликается: «Чепуха – в сравнении с такими вещами, как Уход за больными, Пациент и Семья».

Он умиленно рассказывает о статье по сравнительной неврологии с описанием мини-мозга: «Морская улитка аплизия часто используется для проведения исследований в процессе изучения основ биологии, потому что у нее очень простая нервная система, состоящая всего из 20 000 довольно больших нейронов». Он комментирует: «Уж они-то не станут ухмыляться над *Finnegan's Wake*» [*Поминками по Финнегану*] [205].

Яаарсма не может пройти мимо «довольно больших нейронов»; это делает моллюска созданием не только ограниченным, но и нерасторопным.

Разговор переходит на науку – и мудрость. Де Гоoyer утверждает, что наука действительно в состоянии более или менее выручать нас из беды. Для Яаарсмы ничего не может быть бессмысленней, чем вопрос и ответ в чисто научной плоскости в ситуации, если вы, например, только что потеряли жену.

«Возьмем царицу всех наук, математику. Вот что математика может сказать нам о жизни: если ты выбросил из окна человека, а за ним и второго, следовательно, ты выбросил из окна двух человек».

Патриция с каждым днем всё больше и больше исчезает в тумане. На ее изможденном лице застыло выражение легкого замешательства. Мне едва удастся до нее достучаться, но всё же я каждый день пробую это делать.

– Привет, Холмс.

– ...

– Ты похожа на мотылька, припорошенного пылью.

– ...

– Да, да, на мотылька, ночной мотылек. Кто тебе сделал такую красивую прическу? Мике, конечно. По крайней мере, ты уже не

выглядишь как умирающая наркоманка. Скорее как хиппи. Или ты не хиппи?

– ...нет...

– Она заговорила! Ребята, включайте камеру. Ага, никаких хиппи, никаких рокеров, бандан, никакой мистики, ни философов, ни поэтов, а может, просто любишь посачковать? Ты не из сачков, Пат? Ты не одна такая.

Она смеется.

На одном из собраний встречаю Симона Хейсманса. Мы с ним одного года рождения. Я помню его на лекциях. Он всегда сидел впереди, с выражением человека, который именно теперь хочет действительно чему-нибудь научиться. У него слабый подбородок и всё еще неважная кожа; касательно эротики – вынужденный домосед, упивающийся грезами о том, как он странствует в горах Шотландии.

Он рассуждает о Яаарсме и его обширных познаниях.

– В какой области? – спрашиваю я.

– Ну более или менее во многих, а? Не то чтобы он знал всё на свете, но найдется не так уж много тем, на которые он не мог бы порассуждать.

– Дорогой Симон, что знает Яаарсма о том, как Бисмарк льстил Вильгельму Первому, или Пруст льстил Монтеスキе, или Беетс <sup>[206]</sup> льстил Богу, коли уж дело дошло до лести?

– Да, но я не это имею в виду.

– Нет, ты имеешь в виду обширные познания Яаарсмы в области медицины. Я работаю в той же больнице, что и Яаарсма, и скажу тебе, строго между нами, кое-что о его отделении, где я, естественно, время от времени его замещаю. Известно тебе, что у его пациентов депрессия, переломы тазобедренного сустава, декомпенсация, слабоумие, гипервентиляция, фибрилляция, и в конце концов летальный исход, случаются так же часто, как у твоих или у моих пациентов?

Бороться с привычкой переоценивать целительный эффект знаний в области медицины практически невозможно.

Миссис Холмс очень хотела бы, чтобы Патрицию посетил священник для последнего причастия. «Я крестила ее в свое время. И

моя совесть требует, ну, вы меня понимаете».

Для полной уверенности я поговорил об этом с Михилом, ее мужем. «Думаю, это не помешает, – была его реакция, – хотя она, собственно, верила скорее в карму, реинкарнацию, астрологию и всё такое». Прежде всего это добавление «всё такое» является прекрасным завершением ее метафизики.

Через четыре часа после последнего причастия она умерла.

Де Гоoyer объясняет, в чем состоит различие между ним и Яарсмой: «Если я один еду в лифте, то буду долго думать, перед тем как пукнуть, хотя мне уже невтерпех. И как раз после этого на следующем этаже сразу шестнадцать человек заходят в лифт. Яарсма же, будучи в лифте один, сможет сдерживаться и пукнет со спокойной душой только после того, как эти шестнадцать человек уже зайдут в лифт».

Яарсма, который подошел к нам чуть позже, прочитал *Смерть Ивана Ильича* и объявляет нам с трогательной наивностью: «Вероятно, случай костных метастазов при раке простаты, хотя это не совсем может объяснить устрашающие начальные боли». Как если бы кто-нибудь об *Ode to a Nightingale* [Оде к соловью] Китса сказал: «Вообще-то, имеется в виду певчий дрозд, ну да ладно».

Раз уж мы затронули эту тему, он рассказывает об астме Пруста, сифилисе Ницше, туберкулезе Кафки, эпилепсии Достоевского, глаукоме Джойса («I'm an international eyesore» [«Я международное бельмо на глазу»]) и мигрени Вестдейка.

Кроме этого, он привел результаты опроса, из которого следует, что 35 % жителей Нидерландов верят в жизнь после смерти и 12 % верят в привидения. Его комментарий: «Они выявили это в одном опросе; конечно, люди-то одни и те же».

## Боязнь собаки, что ее ударят завтра

Херман, племянник Грета, останавливает меня в коридоре: «Ну а теперь плацебо. Ты обещал».

«Это не так просто. Не думаешь же ты, что можешь меня открутить, как водопроводный кран?» Так что в другой раз.

Не успел я завернуть за угол, как подумал о самом лучшем примере в этой области, о котором я знаю. Менеер А. и менеер Б. получают средство для роста волос в форме препарата, который нужно втирать в кожу головы. Менеер А. получает настоящий препарат, а менеер Б. плацебо. Фотографии того и другого сверкающего черепа в самом начале и затем через три месяца. Череп менеера Б. также демонстрирует заметный рост волос. Всё время хочется что-нибудь возразить против этого, но только не знаю что.

Проблема в том, что неясный стимул (суть которого я не могу хорошо описать) приводит к столь явным последствиям.

Предположим, кому-то дают действенное средство для роста волос, но при этом говорят: «Если смажешь им голову, будешь лучше слышать». Никого не удивит, что через три месяца волосы действительно вырастут, однако слух не изменится. Ведь исходя из биохимического воздействия применяемого средства было ясно, что речь идет именно о росте волос. (Я рассуждаю чисто теоретически, оставляя в стороне irrelevantный биохимический вопрос, существует ли на самом деле подобное средство.)

А теперь пусть кто-нибудь мажет голову йогуртом, что также приведет к росту волос. Удивлять будет следующее: как йогурт оказался способен вызвать реакцию, которую он (стоит лишь обратить внимание на биохимию) вызвать *никак не может*?

Но я думаю, это не йогурт, здесь другое: многозначительная информация, поступившая вместе с йогуртом, его ритуальное применение. Короче говоря, всё, что при применении йогурта не имело никакого отношения к биохимии, вливается в рост волос через другие каналы. Что за каналы? Какие именно?

Неврологические. В них визуальные, слуховые, тактильные, обонятельные и другие раздражители соединяются в одно сообщение: оно и становится средством для роста волос. Слияние раздражителей

происходит в основном субкортикально, но в коре что-то должно проясниться при этом процессе. То есть человек должен был правильно понять поступившее сообщение, оно должно было приникнуть в него.

И тогда начинается самое интересное. Сообщение превращается в ряд раздражителей, которые вызывают тот же эффект, что и при применении настоящего средства для роста волос. То есть в ситуации с плацебо понятие *средство для роста волос* или сообщение *это – средство для роста волос* действительно становится средством для роста волос.

Моя проблема состоит в том, что я не знаю, как надлежащим образом сформулировать то, что мне здесь мешает. Я не могу правильно представить себе весь процесс с момента, в который сообщение *это – средство для роста волос* на короткое время вспыхивает в коре. Ибо теперь раздражители из коры должны достичь корней волос, а для этого, по моим сведениям, связь отсутствует, потому что корни волос нельзя произвольно стимулировать.

Сравним данную ситуацию с обращенной к человеку просьбой махнуть рукой. Сделать это для него не составит труда. При плацебо вроде бы рост волос возникает точно так же, как возникает движение руки, скажем, когда прощаешься.

Однако проблема в том, что ты *не можешь* заставить свои волосы расти, тогда как взмахнуть рукой, разумеется, *можешь*, ведь для передачи сигнала к росту волос не существует никаких неврологических путей – в противоположность сигналу *махнуть рукой*.

Нельзя сказать: «Те же самые неврологические пути используются при употреблении настоящего средства для роста волос, так как при употреблении настоящего средства мы исключили кортикальную связь, указав, что речь идет о средстве, улучшающем слух».

Необходима ли здесь кора? Думаю, да. Плацебо существует по милости сообщения: «Это настоящая таблетка». Поэтому представляется невероятным, чтобы плацебо оказывало влияние на животных. Хотя собака понимает мой жест – гулять! – но не провозглашение – я буду тебя лечить! – если я дам ей то или иное нелюбимое ею питье. Это имеет отношение к определенному уровню

сознания, который Виттгенштайн иллюстрирует указанием, что собака может бояться непосредственно предстоящего ей удара, но не того удара, который может быть завтра: «Мы говорим: собака боится, что хозяин ударит ее, но не говорим: она боится, что хозяин завтра ударит ее. Почему?»<sup>[207]</sup>

(Утверждение Ослера, что разница между человеком и животным заключается в склонности глотать таблетки, выглядит эпистемологическим попаданием в яблоčko<sup>[208]</sup>.)

Для возможности действия плацебо важно существование сознания; и, пожалуйста, не требуйте никакой более точной дефиниции. Сознания в том смысле, что плацебо не действует на пациентов в коме, на животных, а также в том случае, если вы предлагаете его скрытно.

Рассматривая с большей дистанции, можно сказать еще кое-что о предпосылках действия плацебо: раздражитель должен вызывать доверие. Если бы средство для роста волос требовалось намазывать на дверь вашей комнаты, вы бы никогда в него не поверили. Хотя это, конечно, связано с определенной культурой. Можно представить культуру, в которой было бы правдоподобно приносить средство для роста волос в жертву какому-нибудь волосатому богу. Но мы отдаляемся от феномена, который хотели разглядеть более пристально. Речь шла о наименьшем внутреннем круге процессов, которые составляют суть действия плацебо.

Рассматриваемая вплотную, проблема плацебо состоит в том, что существует странное соответствие между словесным раздражителем и физиологической реакцией. Я имею в виду в данном случае отличие от других неврологических путей, которые можно было бы назвать «психосоматическими путями». Кто-то получает язву желудка из-за стресса: например, из-за противоречивых требований: работы – и жены и ребенка; из-за нервной обстановки или страха перед экзаменом и так далее; во всяком случае не из-за сообщения: у тебя будет язва желудка!

Разве что сообщение означало бы: ты живешь в состоянии стресса. Существовал же исторический период, когда язва желудка была известна, а стресс – нет.

В случае сообщения: ты заработаешь себе язву желудка! – имеется в виду: ты испытываешь стресс. И в этом случае говорящий был бы в

той же степени «удовлетворен», если бы с затронутой персоной случился инфаркт, ибо это тоже результат стресса.

Вернемся теперь к росту волос. Если йогурт, втираемый в кожу головы с сообщением: «Это приводит к росту волос», – вызывает быстрый рост ногтей, это нас никак не устроит. Тут не скажешь: «Ну да, хоть что-то стало расти быстрее».

Итак, у нас есть следующие элементы: (а) средство, (b) сообщение о нем, (с) результат. Я перечислю возможные ситуации и попробую показать, какими путями средство и сообщение могут привести к результатам.

1. Втирание средства для роста волос с сообщением: «средство для роста волос».

Результат: рост волос.

Путь средства: локальная биохимия.

Путь сообщения: от ушей к коре головного мозга.

2. Втирание средства для роста волос с сообщением: «йогурт».

Результат: рост волос.

Путь средства: локальная биохимия.

Путь сообщения: от ушей к коре головного мозга.

3. Втирание йогурта с сообщением: «йогурт».

Путь йогурта: локальная биохимия (непроходимый путь).

Путь сообщения: сквозь череп можно было бы видеть, как в коре буквально мелькает вопросительный знак: зачем в кожу головы втирают йогурт?

Результат: вся голова в йогурте.

4. Втирание йогурта с сообщением: «средство для роста волос».

Путь йогурта: локальная биохимия (непроходимый путь).

Путь сообщения: от ушей к коре. А потом? От коры к волосяному покрову?

Так как раздражитель должен воздействовать на волосы.

Результат: рост волос.



Но ведь этот последний путь не существует? Или лучше: раздражитель из коры с зарядом – я хочу, чтобы у меня на голове росли волосы, – должен был бы блуждать в коре и мог бы, как мне кажется, набрести на ногти на пальцах ног с таким же успехом, как и на волосы. Не так ли? А раздражитель, чтобы поднять руку, не может ли он точно так же сбиться с пути? Нет. Попробуйте сами. Посмотрите на ладонь своей правой руки. Вы можете себе представить, что на просьбу поднять руку нальете себе чашку кофе? Нет, конечно.

Еще одно различие между «хочу, чтобы у меня выросли волосы» и «подниму свою руку» – время между действием раздражителя и результатом. До поднятия руки – несколько миллисекунд, до роста волос – дни, недели, а то и месяцы. В последнем случае на корни волос должен действовать постоянный раздражитель, даже если о нем не думаешь.

Удобства ради беру сообщение: вот средство для роста волос, переведенное в кортикально направленный раздражитель: «хочу, чтобы росли мои волосы». Я настаиваю на необходимости бодрствующей человеческой коры головного мозга для возможности эффекта плацебо. Если мне вообще не скажут, что йогурт является средством для роста волос, то ни одного волоса и не вырастит.

Проблема в том, что сколь бы я ни углублялся в себя, мне нигде не удастся обнаружить в своем сознании содержания, которое можно было бы каким-либо образом описать как «отрастить волосы». Неврологически я не связан со своими волосами так, как связан со своей рукой.

Непостижимо в плацебо то, что намерение (я хочу роста волос), психологический концепт, который нам хотелось бы признавать исключительно за человеком, воздействием бодрствующей коры головного мозга претворяется в физический результат: рост волос. Ситуация, сравнимая с тем, как если бы кто-то, прикоснувшись к плите, существующей исключительно в его фантазии, и вправду обжегся.

Но возможный пузырь от ожога – это всё-таки нечто пассивное, тогда как интенция «я хочу роста волос» носит активный характер: как если бы волосы должны были сквозь череп пробивать себе путь наружу.

Для медиков плацебо – темная улочка на задворках цитадели под названием *Медицина*, куда лучше бы не заглядывать, ибо тогда можно вообще сойти с правильного пути и в конце концов заняться изучением натуропатии или примкнуть к антропософии. Здесь действительно немалые риски, но они существуют только для тех, кто со страхом вступает в замок с привидениями, тяготясь ложным отождествлением *психического с непостижимым*.

Сравните замечание Виттгенштайна в *The Blue Book* [Голубой книге]: «...think of meaning or thinking as a peculiar *mental activity*; the word *mental* indicating that we mustn't expect to understand how these things work [...думать о значении или мышлении как об особого рода *ментальной деятельности*; слово *ментальный* указывает на то, что мы не должны надеяться понимать, как работают эти вещи»].

До сих пор мы искали в организме возможные следы действия раздражителя. К сожалению, кора не ведет огонь трассирующими пулями, там не остается следов, и мы не знаем, какие именно проволочки вспыхивают при получении сообщения: «Это – средство для роста волос». Но если я прав, эффект плацебо можно вызвать только при телесных процессах, связь с которыми осуществляется через аксоны<sup>[209]</sup>. Точно не знаю, какого рода процессы тем самым исключаются из соревнования. И если меня попросят привести пример процесса, на который бодрствующая кора безусловно никак не влияет, я скажу: рост волос.

Вкратце о том, какие бывают внешние раздражители. До сих пор я для наглядности уделял внимание эффекту плацебо исключительно при назначении лекарств. Однако плацебо играет роль чуть не в каждой области медицины. Если вы сидите в отделении «скорой помощи» с вывихнутой ногой и вас принимает эдакий крупный, солидный, напыщенный белокурый эскулап с манерным прононсом, представившийся вам как «ван Берген Хенегаувен<sup>[210]</sup>, хирург этой больницы», вы сразу же чувствуете, что попали в хорошие руки, – не то что к какому-нибудь робкому худощавому субъекту в сползающих на нос очках, которому из-за своего тихого голоса пришлось дважды доверительно сообщить, что зовут его Тинюс Крекел<sup>[211]</sup>, что у него сегодня ночное дежурство и что он, собственно, хирург, который должен вас осмотреть.

Современная медицина рассматривает себя как научно обоснованную деятельность, подтверждение законности которой никоим образом не зависит от неопределенного эффекта плацебо. Трудно также представить, что пневмококки пустятся наутек не из-за пенициллина, даже если его будут выдавать менее убедительным образом. Однако в медицинской практике процессы, для которых выявлены биохимические причины, образуют, если их все собрать воедино, лишь небольшую поляну в протяженном лесном массиве. Чаще всего бывает так, что врач должен своими действиями наворожить перед своим мысленным взором эту небольшую поляну, чтобы, блуждая в лесу, всё-таки чувствовать себя не совсем шарлатаном.

О чем, собственно, я говорю? Я говорю о множестве ситуаций, в которых врачи уступают давлению окружающих и сыплют вокруг себя снадобья и приемы, пришедшие прямоком из Лурда. Ведь не можешь ты каждый день три часа кряду подниматься на кафедру и втолковывать людям, что́, собственно, представляет собой медицина, из-за чего эту науку нужно изучать не в Лурде, а в Лейдене.

Эффект плацебо заключается не только в таблетке, или в белом халате, или во взгляде, или в здании, или в тысячелетней репутации нашей профессии – он кроется во всех этих вещах, или воздействует посредством всех этих вещей, или он и есть все эти вещи.

Вероятно, среди всей этой неразберихи вопрос, что же такое плацебо на самом деле, несколько запоздал. Понятие (*лат. placebo*) буквально означает: «буду угоден, успокою, понравлюсь», я бы сказал: «приласкаю»; в нем есть что-то скользкое, льстивое. *Плацебо*, по сути дела, – вместо лимона дать репу.

Так говорят, чтобы обозначить мнимое лекарство: «Не давай ей морфин, дай плацебо». Это понятие употребляется и как описание эффекта от мнимого лекарства или мнимого лечения: например, в стандартном суждении современных медиков относительно прежних методов лечения («не что иное, как плацебо»), которые, однако, давали какие-то результаты.

Плацебо выходит за рамки лекарств, оно распространяется и на поведение. Не только то, что дают или делают, имеет значение, но также и то, как при этом смотрят. Поэтому применяют двойной слепой

метод исследования при изучении действия определенных лекарств или способов лечения. Это значит, что ни испытуемый, ни испытатель не знают, является ли исследуемое средство настоящим или фиктивным.

Об истории этого выражения мне, собственно говоря, ничего не известно. Кто впервые применил его и в каком значении? Можно было бы сказать: если это слово приобрело его нынешнее значение, следовательно, наша наука осознала сама себя. Конечно, было бы прекрасно однажды найти его первое применение, чтобы можно было воскликнуть: вот когда родилась наша наука!

Но более вероятно, что всё это протекало так же, как и происхождение человека из обезьяны: исторически недоказуемо (у нас есть не историческая, а мифологическая *Книга Бытия*), и мы, в сущности, сомневаемся, что оно полностью удалось.

Что настоящим и засвидетельствовано.

## Макаронное месиво у нас в голове

Что ужасно в инсульте: через полтора года после случившегося человек роется в ящике своего письменного стола и ему попадает на глаза письмо, которое он написал перед инсультом своему старшему сыну в Канаде. Перечитывая письмо, он растроган нежностью, с которой оно написано. Отца охватывает безысходная грусть, ибо он осознаёт, что уже не чувствует такой любви к сыну, как раньше, и во всяком случае никогда не будет знать, что именно нужно будет ему написать.

Кстати, о мозге. Во время практики по неврологии я робко спросил доктора ван дер Стелта, нейрохирурга: «Вы не испытываете страха при операции на мозге? Я имею в виду, если скальпель чуть-чуть соскользнет, то пациент может забыть, что он женат».

«Ты шутишь? – был его ответ, – люди вообще мозгом не пользуются».

Однажды мне пришлось вместе с ван дер Стелтом вести прием в поликлинике. Дементный пациент, менеер Де Хонд, никак не мог уяснить следующий день приема. Когда он вышел, ван дер Стелт сказал: «Da's geen hond, da's een rund»<sup>[212]</sup>.

Возможно, даже очень возможно, процент грубиянов и циников среди нейрохирургов чуть выше, чем среди прочих врачей. Это происходит, вероятно, из-за того, что феномен, с которым они имеют дело, куда грубей и абсурдней, чем смерть: к тому же они, вообще говоря, больше других связаны с довольно скверным пристанищем души в макаронном месиве у нас в голове.

Когда я изложил это ван дер Стелту в качестве *возможной* причины *предположительно* повышенного уровня цинизма его собратьев по профессии, он расхохотался. «Да никакой души нет, и нигде ей не нужно никакого пристанища, или как ты там выражаешься. А что касается цинизма, знаешь, сколько в среднем зарабатывает в год пластический хирург в Америке? Ну?»

Де Гоoyer рассказывает о своих детях. Собственно говоря, они оба – главное в его жизни. И почему именно?

– Антон, ты разве не хочешь расширить свои знания?

Ну а что же мы знаем? Константинополь пал в 1452 году, любовь – сплошное разочарование, при кардиальной астме дают морфин, Рембрандт – великий художник, стареть плохо, секс слишком переоценивают, мы все умрем, перхоть предшествует выпадению волос.

– Но я же не это имею в виду.

Нет, разумеется, он не это имеет в виду. Но тогда что?

– Ну, скорее, что жизнь стоит наших усилий.

– Всех наших усилий? И единственный результат – жизнь?

– Стоит ли издеваться? Наверное, ты считаешь, что жизнь очень даже стоит наших усилий, иначе зачем было бы жить дальше?

– Постой-постой! Мы живем не потому, что считаем, что жизнь стоит усилий. Жизнь – это не поезд, в который мы сели сознательно и по своей воле, предварительно изучив маршрут до станции назначения. Мы постепенно просыпаемся как люди, уже находясь в пути. Сцену посадки в поезд мы вспомнить не можем. Самосознание – это растение, которое годами нужно терпеливо выхаживать, пока *Я* не появится и не окрепнет. Но тогда будет уже слишком поздно, как сказал бы Беккетт.

А поезд идет себе тысячелетие за тысячелетием. Продолжать ехать не означает считать, что оно того стоит. Это означает самое большее, что ты всё еще слишком труслив, чтобы прыгнуть. Потому что на каждой двери красуется надпись: «springen mag – sautez si ça vous plait – Sprung erlaubt – salto permesso – please adjust your clothes before jumping off»<sup>[213]</sup>.

Де Гоoyer этот ответ не удовлетворил: «Я еще до тебя доберусь!»

В лифте слышу: «У всех этих курильщиков, что закупоривают свои сосуды, к семидесяти годам часто уже по два инфаркта, в том числе и инфаркт мозга, и сплошь и рядом уже нет одной ноги. А мы словчили, курить не курим, а от души поддаем и распеваем себе йодли<sup>[214]</sup> в Лувре».

По телевизору, в комнате ожидания, друг Хендрикса<sup>[215]</sup> рассказывает, как тот умер. Когда человек засыпает, то, пройдя несколько шагов, видит он две дыры. Одна – Смерть, другая – Сон. Иногда случается, что человек ступает не в ту дыру, однако вовремя замечает и успевает из нее выпрыгнуть: это пугливое вздрагивание иногда можно заметить у человека вскоре после того, как он заснул. «Now Jimi, being Jimi, wandering into the wrong hole thought to himself. Hey, let's check this one out for a change! And that's how it happened» [«Но Джими, пока он был еще Джими, подумал, когда шагнул не в ту дыру: „Эй, посмотрим, а что здесь?“ И вот что получилось!»].

Тейс Крут тоже пошел в эту сторону. За два дня до его смерти я видел, он прогуливался в саду, как всегда, полузакрыв глаза, в которые свет, из которых свет, в которых свет вообще уже больше... Ну да, он взглянул на меня, и я на него, и мы оба попробовали слегка кивнуть друг другу – короткие кивки, которыми обмениваются прихожане после воскресной службы, – и потом снова пошли каждый своей дорогой.

Для него это был прекрасный последний день. Его родители нашли возможным четко и ясно дать понять, что в случае смертельного исхода они ни в коем случае не желали бы, чтобы их беспокоили в ночное время.

Я ставлю в известность мейфру Улмстейн, социального работника, которая в свое время так мне помогла, и она сообщает, что хочет приехать на похороны. Я тоже хочу, но не смогу высвободить время для этого. Хендрик Терборх скажет несколько слов. Я рассказываю ему, что Тейс однажды весьма своеобразно водил меня за нос. Он настораживается, как служащий загса, с нетерпением предвкушающий анекдот про супружескую пару, – потому что не знает, что он должен сказать, стоя у этой могилы. Лучше всего что-нибудь о том, что злую колючку, сидевшую в этом парне, наконец удалили. Я рассказываю ему о неудавшейся попытке эвтаназии. Нет, на это он не отважится.

– Нужно что-то дающее облегчение, чтобы люди не уходили с кладбища еще более отчаявшимися, чем перед тем, как пришли.

– О господи! Нет, этого ты говорить не должен. Я имею в виду: бог ты мой, если ты найдешь такой текст, позвони мне, я тоже хочу его знать.

## С тех пор как Бог больше не смотрит вниз

О медицине до 1850 года мы с удовольствием говорим: «Всё это было плацебо». И испытываем облегчение: «К счастью, теперь мы этим больше не занимаемся». Но поскольку лишь весьма ограниченная область сегодняшней медицинской практики может выдержать испытание научной методикой – небольшая поляна в густом лесу, – врачи всё еще часто действуют в манере, распространенной до 1850 года, «когда у них еще ничего не было». Тогдашний врач, разумеется, так не сказал бы («how not to patronize the past» – «как избежать снисходительного отношения к прошлому»).

Нынешний врач еще меньше хотел бы, чтобы при взгляде на современную медицину утверждали, что «у него ничего нет», если против *просто-высокой-температуры* он бросает в бой *просто-пенициллин*, научно не обоснованный образ действий, который на Западе ежедневно практикуют десятки тысяч врачей. Я задаюсь вопросом, нуждается ли в защите утверждение, что сегодня врач зачастую действует так же, как и до 1850 года.

Читаю биографию Джона Китса Роберта Гиттингса<sup>[216]</sup>. 3 февраля 1820 года. В начале февраля после долгих морозов настала оттепель. В четверг, 3 февраля, Китс отправился в город, без пальто по случаю довольно мягкой погоды. К 11 часам вечера он поехал обратно, не внутри дилижанса, а сзади. Это дешевле, но на улице оказалось гораздо холоднее, чем он ожидал, так что он продрог до костей, пока наконец добрался до дома, где его друг Браун посоветовал ему сразу же лечь в постель. В тот самый момент, когда он уже собирался лечь и Браун приготовил ему питье, Китс закашлялся. Показалась кровь.

«That is blood from my mouth [„У меня кровь изо рта], – сказал Китс, взглянув на каплю крови на постельном белье. – Bring me the candle, Brown, and let me see this blood [Принеси свечу, Браун, дай мне посмотреть, что за кровь]. – После этого он сказал совершенно спокойно (согласно Брауну): – I know the colour of that blood; it is arterial blood. I cannot be deceived in that colour. That drop of blood is my



death warrant. I must die“ [Я знаю цвет этой крови; это артериальная кровь. Здесь я не могу ошибиться. Эта капля крови – мой приговор. Я умру»].

Поздно ночью у него было второе, более сильное кровотечение. На следующий день поднялась температура, пришел доктор Родд с Хэмпстед Хай-стрит. Он пустил кровь пациенту и порекомендовал голодную диету.

Это хуже или незначительно хуже *просто-пенициллина* против *просто-высокой-температуры*? Как можно пускать кровь тому, кто уже и так кашляет кровью? Ведь это должно еще больше ухудшить картину болезни. Ну а все эти резистентные бактерии, следствие применения *просто-пенициллина*, виною скольких жертв они уже стали? Никому не известно. Несмотря на это, пустить кровь выглядит гораздо глупее, чем давать больному пенициллин. Что опять-таки доказывает, как трудно удержаться от того, чтобы отечески не погладить прошлое по головке.

Поздним утром мне звонят по поводу мефроу Тернапел. Не могут попасть к ней в квартиру. Она живет за углом Де Лифдеберга, и, встречаясь, мы киваем друг другу. Ей 81 год, и 16 лет назад она овдовела. Единственная дочь семь лет назад покончила с собой. Ни семьи, ни друзей у нее нет. Раньше она много ездила на велосипеде, по словам соседей, но сейчас она не открывает дверь людям из жилищного кооператива, которым зачем-то нужно попасть в ее квартиру. Не могли бы вы посмотреть, что там такое?

Каждый думает то же, что думаем Де Гоoyer и я. Мы идем туда вместе с ним, дверь легко открывается; закрыв ее за собой, мы остаиваемся на коврике и прислушиваемся, в квартире абсолютная тишина. Мы оба не решаемся ее окликнуть. Даже не могу сказать почему. Через прихожую осторожно ступаем к гостиной, словно мефроу может внезапно выскочить нам навстречу. Медленно открываю дверь. Везде царит полный порядок. В кухне тоже ничего. Может быть, она гостит у своей внучатой племянницы в Гронингене? Вполне возможно, но нужно заглянуть и в спальню.

Потребовалось несколько секунд, пока до нас дошло то, что мы увидели. Посреди комнаты фигура висит, перегнувшись через ходунок, как через садовый забор, словно для того, чтобы поднять что-то с

земли. Она мертва. Свисающая вниз голова отекала и приобрела неприятный синюшный оттенок, на кончике носа повисла странная бурая капля. Она в платье, умерла, вероятно, накануне вечером, по дороге к кровати, держась за ходунок, который катила перед собою и в который и свесилась, так и застыв в этом странном положении: ни стоит, ни висит.

Почувствовав облегчение, садимся на постель, до которой она так и не успела добраться.

– Скончалась совсем одна, – прерывает молчанье Де Гоoyer.

Не могу удержаться от смеха.

– Чего ты смеешься?

– Sorry, вспомнил менеера Тана, первого пациента, смерть которого я увидел в больнице. Он умер не один, а в довольно-таки дурном обществе, а именно в окружении медиков.

Тан поступил к нам с болезнью сердца. Однажды вечером, когда я дежурил с Михаелом, молодым терапевтом, Тану сделалось плохо. Когда мы пришли к нему, рядом с ним были его близкие. Он умирал. Даже я, практикант, это видел. Михаел принял меры: человек задыхается, стало быть, нужно дать ему кислород. Ему нужна другая палата. Мы хладнокровно выпроводили удрученную семью в коридор, а сами стали биохимичить над его телом. Сердце билось всё медленнее. Кровяное давление падало. Дыхание становилось всё более слабым. Температура тела снижалась. Уровень сахара в крови падал. На каждый симптом мы отвечали какой-нибудь манипуляцией или лекарством. Мы накрыли его еще одним одеялом, вкололи ему адреналин, поставили еще одну капельницу, увеличили подачу кислорода, кто-то предложил сделать ЭКГ, бросились за аппаратом. Но Тан просто продолжал умирать.

«Не хватало только, чтобы кто-нибудь, вспрыгнув на старика, сел на него верхом, чтобы через его беззубый рот вдунуть обратно покидающую его душу».

Когда мы, как куры, которым отрубили головы, всё еще трепыхались ради из-за всей этой суматохи совершенно забытого умирающего китайца, я впервые увидел в углу Костлявого, с его ухмылкой, с которой он тоже ничего не может поделать.

Минут через десять мы снова вышли в коридор, чтобы сообщить оторопелой семье печальную новость; всем казалось, что мы выдержали тяжелую схватку.

Когда я потом сказал Михаелу, что, собственно, нехорошо было отнимать человека от семьи ради нашего идиотского театра марионеток, он ответил: «Эх, если б сразу вперед смотрели, отец писал бы мимо цели».

«Но ведь он сам так хорошо умирал!» На что Михаел спросил меня, для чего, собственно, я здесь работаю?

После кучи хлопот оказывается, что мы не знаем, кого следует известить о смерти меффоу Тернапел. И после еще больших хлопот оказывается: никого.

С тех пор как Бог больше не существует и не смотрит вниз на людские жизни, они стали еще более пустыми, чем раньше.

## Малая силуэтология

Время от времени на шоссе можно увидеть мертвую птицу. Свежие – тошнотворны: горстка перьев, откуда вьется кверху тоненькая кишочка, словно пружина из заводной машинки, и тут же стоймя торчит крылышко. Но, раскатываемые, останки постепенно становятся всё более плоскими, и наконец на асфальте не остается ничего, кроме неясного силуэта.

Самые неясные следы, по-моему, прекрасней всего. Некоторые я фотографировал; Де Гоoyer тут же дает им названия: Platztauben, или Splatpigeons, или Platduiven [расплющенные голуби, нем, англ, нидерл.] – и начинает изобретать наименования для горестных птичьих останков: Unruffled? [Покойный?] – A brief history of time – Something funny happened on the way to bliss<sup>[217]</sup>.

Иногда на стене лестничного марша видишь силуэт давно раздавленного комара. Но самое красивое из всего, что я когда-либо видел, – это окаменевший отпечаток одной из древнейших птиц в музее Тейлера в Хаарлеме. Непостижимо нежное существо, миллионы лет назад приземлившееся на камне, и я вдруг подумал: «Если бы и моя мать так ласково сплела свои крылья».

Другой прекрасный пример попался мне в книге Н. Л. Кок. *De geschiedenis van de laatste eer in Nederland*<sup>[218]</sup>: «Окрашивание на белом песке указывает место, где когда-то был захоронен покойник... Такой цветовой след называют силуэтом, или тенью трупа» (с. 29). На с. 31 прекрасная фотография такой тени: поразительно красивый рисунок углем.

Красивая тень также *литопедион*, буквально *каменное дитя*. Это крохотный обызвествленный утробный плод, который иногда находят в брюшине женщины при вскрытии или во время операции: плод, неправильно закрепившийся вне матки в брюшной полости. Плод какое-то время развивается, но в конце концов погибает, не имея никаких шансов найти выход. «Some people have all the luck» [«Некоторым везет»], как сказал бы Беккетт.

Каждый силуэт – след, немое послание, случайный знак, который оставили раздавленные шинами птицы, комар на стене лестничного

марша, птица, жившая 150 миллионов лет назад, неолитический крестьянин в песке Дренте и севшее на мель в брюшине дитя.

Каждый труп – на свой лад силуэт.

А вот совсем другой тип силуэта: «Проходящая в провинции Утрехт дорога Амерсфоорт-Хоогланд была вымощена гранитным булыжником, который Мюссерт<sup>[219]</sup> лично выискивал в шведских и норвежских каменоломнях и который всё еще лежит там под слоем асфальта» (J. L. Bloemhof. *Amersfoort '40 – '45*, 1990).

Звонит доктор Виллемс, последний домашний врач Брама Хогерзейла. Да, он понимает, это несколько неприятный вопрос, но помню ли я еще о менеере Хогерзейле? Конечно. И не поступил ли он тогда в больницу Хет Феем? Точно. И там умер? Да, именно так.

– У меня до сих пор есть несколько счетов, так как я тогда пару раз посещал его дома. Но всё, что я посылаю на его адрес, приходит обратно. Может, ты знаешь кого-нибудь из его семьи или кого-то еще, к кому могли бы мы обратиться?

– Кого-нибудь, к кому могли бы МЫ обратиться? Мне это нужно? Ты не знаешь Брама Хогерзейла. Он не даст спуска врачам, которые охотятся за ним аж до могилы. Он, вероятно, сидит прямо у своего почтового ящика, этакий астральный скелет, и презрительно сдувает твои счета туда, откуда они пришли. И сколько раз ты уже отправлял их?

– Два раза.

– Поражаюсь то ли твоей смелости, то ли легкомыслию. И чье же имя ты пишешь?

– Просто Б. Хогерзейл.

– Но ведь он умер! Виллемс, побойся Бога, не посылай ему больше никаких счетов. Эти шесть или семь паршивых десятков – мертвые деньги, которые ты можешь использовать как страховку для покрытия расходов на свое погребение.

– Значит, из его семьи ты никого не знаешь?

Вот уже и Де Гоoyer мучается с эвтаназией: «Каждый вызывает у меня чувство, что я всё делаю неправильно. Собирающийся умереть думает, что я слишком выжидаю; для ухаживающего персонала – всё делается слишком быстро. Доктор А. считает, что вообще всё

неправильно, старшая дочь придерживается мнения, что это, собственно говоря, вообще не нужно. Доктор Б. считает, что диагноз не окончательный, аптекарь полагает, что доза слишком мала. По мне, пусть их всех прохватит *singultus vaginalis*!»!

– *Singultus vaginalis*?

– Именно, вагинальная икота, – и удалился.

У менеера ван Рита плохие сосуды и поэтому повсюду закупорки: в мозге, в сердце, в почках, в ногах. Стоя около него, опасаясь, что из-за всех этих разрушенных обызвествленных сосудов он с треском рассыплется, превратившись в облако пыли.

Мы говорим о Смерти.

– На что можно рассчитывать после смерти, как вы думаете?

– На завершение в любви, – решительно отвечает он.

– Но что это такое – завершение в любви?

В ответ он указывает мне на оставшуюся часть моей жизни.

У ван Рита приятная черта: в разговоре с ним у тебя никогда не возникает чувства, что пока что ты дурак, который, быть может, когда-нибудь и созреет до прекрасных истин.

– Это учебная планета, друг мой. И ты учишь здесь совсем не то, что я.

Он вырос в Амстердаме, в квартале близ Вондел-парка, и рассказывает, что профессор Бурема, хирург, даже в самый разгар лета всегда был в белых матерчатых перчатках, когда проезжал на велосипеде через Вондел-парк, направляясь в Бинненгастхёйс<sup>[220]</sup>. «Чтобы защитить свои руки», было понятно каждому. Врач как священнослужитель, тело как храм. Замечательная виньетка для Медицины 1958 года.

## Магистр Магии

В середине дня с Карелом ненадолго зашли на кладбище. Мне кажется, он прекрасно сможет провести время: спокойно пройтись по залитым солнцем дорожкам, не читая при этом надгробные надписи и не высчитывая каждый раз возраст покойников. Но из этого ничего не выходит. Он всё говорит, говорит – о сроках разложения трупов, о цитостатиках и антибиотиках, которыми некоторые из них наполнены до краев, когда их кладут в могилу; о пластиковых мешках, в которые в наше время часто заворачивают тело, чтобы воспрепятствовать проникновению влаги; о шансах находящихся в земле бактерий добраться до таких трупов.

Освободить могилы никогда не представляло особых трудностей, потому что уже через несколько лет труп превращался в чистый скелет и не вызывал отвращения. Но в последние годы это стало одной из наиболее отталкивающих сторон работы на кладбище. Для могильщиков существует опасность наткнуться на труп, полный «кимихалиев», завернутый в еще не до конца разъеденный пластик, так что приходится иметь дело с огромным мешком отвратительной дряни, и еще нужно надеяться, что там нет смертоносного излучения.

– Карел, пожалуйста, прекрати. Сейчас лето. И мы еще живы. К чему эти разговоры о мертвечине?

– Прошлым летом я два месяца проработал на местном кладбище.

Там его поразила невероятная чушь, которую люди на полном серьезе выкладывали друг другу о вещах, привидившихся им со страху. Могильщики расписывали труп, до того переполненный мерзкими веществами, что земля на два метра вокруг превратилась в слизь. Подобные рассказы можно было услышать и о наступлении смерти: «Сначала она вся разбухла, а потом померла».

– Знаешь, пожалуй, пойдем обратно, – говорю я по прошествии получаса.

– Пошли. А неплохо прогулялись на свежем воздухе?

Мы идем обедать вместе с Эссефелдом и Яарсмой. Эссефелд рассказывает об одном коллеге-священнике, который после сильной душевной борьбы наконец осмелился-таки пойти к женщине. Он стал

совсем другим человеком и в слепоте, которую иногда приносит любовь, поведал эту потрясающую новость своему епископу, монсеньору Б. Реакция была следующая: «Было бы лучше, если бы ты был гомофилом, ибо когда ты идешь по улице с мужчиной, это никого не шокирует».

– Эссефелд, – спрашиваю я, – почему ты всё еще состоишь членом этого клуба? Мне кажется, ты вовсе не циник.

– Ах, куда я пойду в таком возрасте? Господь поймет, почему я всё еще там.

Поскольку мы заговорили о католицизме, Яарсма сообщает, что, возможно, напал на след католических бородавок. Речь идет об одной до сих пор всё еще неясной классификации определенного вида бородавок на подбородке, верхней губе или щеке пожилых женщин. Названные бородавки встречаются только у худых женщин, не у пухленьких или полных, «что сразу же дает отправную точку для этиологии этих дермальных повреждений: почти наверняка это сгущение либидо, процесс, который никогда не наблюдается у полных особ, так как в этом случае наличествует течь в оральном удовлетворении».

Есть еще много неотложных вопросов в далеко не освоенной области этих захватывающих кожных коринков. «Так, например, я предлагаю различать католические и протестантские бородавки». Согласно Яарсме, все они социогенного происхождения, так что полностью излечимы посредством плацебо. Попутно он дает свое определение «абсолютного нуля плацебо: это если стену сначала красишь ничем, а уже потом – краской».

Повсеместно существует полная неразбериха с лекарствами в дешевых упаковках, выпускающимися по лицензии, например в Италии, так что в точности одинаковые таблетки в простых картонных коробочках или пеналах поступают на рынок.

«Я слышу, как уже кричат, – вещает Яарсма, – нет, послушайте, дайте мне настоящее французское лекарство, которое на три гульдена дороже. В конце концов ведь это мое тело!»

Карел рассказывает, что он применяет также акупунктуру. Сейчас на это большой спрос во врачебных практиках. Читайте объявления.

«Знаю, но ведь в этих объявлениях прочитывается: „Кандидаты с дипломом магистра Магии получают преимущество“. Ты же не



попадешься на эту удочку?»

Тем не менее он ставит иголки с тем же непроницаемым видом, с которым делает инъекции пенициллина, хотя кто его знает, *что он при этом думает.*

Ничего хорошего здесь нет. Я хочу сказать: это великолепно в ресторане нашей профессии, но на кухне, когда никто из гостей не подслушивает, нужно всё-таки выбирать или одно – или другое. Но и на кухне Карел, не моргнув глазом, говорит, что эти альтернативы вовсе не так уж бессмысленны, и ратует за толерантность. То есть пытается избежать кухонного разговора, но ведь это единственный стоящий разговор.

Вчера вечером в отделении Де Гоойера умерла некая мефроу Феннема. Семья прибыла поздним вечером, чтобы с нею проститься. После этого тело привели в порядок и перенесли вниз, в холодильник.

Сегодня утром мефроу Браат не может найти свой нижний протез. После основательных поисков, которые хотя и обнаруживают протез, но не тот, что днем носит мефроу Браат, становится ясно: протез внизу, во рту тела, помещенного в холодильник.

Мике предлагает извлечь протез.

«Не-е-е-т! – сразу вопит Де Гоойер. – И как тебе такое могло прийти в голову? Ты с ума сошла? Оставь ты его, ради бога, там, где он есть».

И мефроу Браат получает новенький зубной протез за счет клиники.

В Австрии несколько лет назад был найден замечательный *силуэт*. Через пять тысяч лет глетчер в Тирольских Альпах высвободил тело мужчины, который попал туда в каменном веке. Литопедион – каменное дитя.

## Not born for this

Де Гоoyer всё еще терзается вопросом о смысле жизни. Тот факт, что мы не вступаем в жизнь, а просыпаемся в ней, еще не доказывает, что жизнь бессмысленна. Это приносит ему облегчение.

– Должно же там ЧТО-ТО быть! – восклицает он.

– Знаешь, здесь мы можем с тобой согласиться: да, ты прав, там что-то *есть*. ЧТО-ТО! Как ты хотел. Теперь тебе лучше? Схватил мировую загадку за глотку?

– Нет, конечно нет. Но, бог ты мой, не могу представить, что всё бессмысленно.

– Жизнь не имеет смысла, и жизнь не бессмысленна. Ты не можешь спрашивать о смысле жизни, но можешь спрашивать, например, о смысле молотка, которым забивают гвоздь в стену. Или о смысле пальто: чтобы защититься от холода. Или кредита: чтобы купить дом. Или светофора: чтобы избежать несчастных случаев. Но что касается жизни, бессмысленно спрашивать себя, для чего она. Если все вещи, которые действительно нужны для чего-нибудь (молотки, пальто, кредиты, светофоры), свалить в одну кучу и назвать это *жизнью*, никоим образом не получится, чтобы эта куча вообще для чего-нибудь пригодилась.

В безысходном горе Китс изрекает: «I was not born for this» [«Я был рожден не для этого»]. Он имеет в виду, что был рожден для чего-то иного, не для того, чтобы умереть так рано, безвременно, столь многого не совершив.

Но я думаю, что мы никогда не рождаемся для чего-то. Ни для горя и ни для счастья. Впрочем, разумеется, только в несчастье мы спрашиваем: «Почему?»

Никто не теряется в догадках над *почему* своей радости? Но в несчастье мы требуем объяснения.

Кеес Фалкенгуд, один из наших физиотерапевтов, увлекающийся акупунктурой, недавно провел несколько месяцев в Пекине. Обрато он летел через Коломбо, в Шри-Ланке, где посетил профессора,

назовем его Бандеролла. Именно там он научился исключительным образом сочетать с акупунктурой гомеопатию.

«Господи Иисусе! Не может быть! – вскрикивает Мике. – Он сперва погружает иголки в свои растворы?» Вот те раз. «Откуда ты знаешь?»

К моему изумлению, Кеес рассказывает об этом на полном серьезе и явно в восторге, видя бесспорно *понимающее* выражение моего лица. – Мне настоятельно требуется пройти курс выражения недовольства.

Впрочем, в том, что он делает, нет ни капли злого умысла, и, разумеется, он нисколько не хуже нас. Но если рассуждаешь подобным образом, то в чём же тогда различие между альтернативной и академической медициной?

Относительно академической медицины можно утверждать, что ее деятельность имеет рациональную базу, даже если на практике это совсем не так. Чтобы хоть что-нибудь спасти на этом зыбучем песке, можно было бы сказать: как академическая, так и альтернативная медицина что-то всё-таки делают. Обе они пускаются в свободное плавание – с той разницей, что академическая медицина, по крайней мере, старается удерживать в поле зрения береговую линию научного подхода.

Альтернативную медицину отличает нечто совсем другое – идея, что в случае катастрофы, например Смерти, всегда можно что-то урегулировать, что-то исправить; отрицание трагического, словно жизнь может быть нарисована Уолтом Диснеем.

Ну а что делает академическая медицина, когда сталкивается с трагическим? Удирает, как правило; но не всегда. Практика эвтаназии в Нидерландах этому доказательство.

Поступил менеер Мак-Коннелл, 61 года. Родом из Англии. Многие годы был здесь корреспондентом нескольких английских газет. Гомосексуал, уже 20 лет в Нидерландах и страдает опухолью поджелудочной железы.

«Еще месяца три протяну». Он смеется, не пренебрежительно, а добродушно. Смеется так, как можно было бы смеяться над самим собой, если после бешеной беготни по перрону поезд в конце концов тронулся бы перед самым вашим носом. На этот счет есть еврейский анекдот, где кто-то из находящихся на перроне говорит напрасно бежавшему Мойше: «Ну что, догнал?» На что Мойше: «Нет, прогнал».

Нечто подобное происходит теперь и с Мак-Коннеллом. Всю свою жизнь он бился ради спокойных дней старости. «Я думал, после шестидесяти... а, чего уж там...» И снова эта ироническая улыбка.

Он поставил крест на спокойных днях старости и в последний момент выкинул замечательный фортель: на прошлой неделе взял в жены роскошную суринамку.

«Теперь ей достанется мой договор аренды. Я так и вижу перед собой физиономию домовладельца». Он живет в шикарной части города. Такого рода брак заключаешь в молодые годы ради получения визы. Но совсем другое дело уметь сохранить беспечность вплоть до владений Смерти.

## Антиотчаянит

Мефроу ван Доорн 87 лет, и после инсульта она наполовину в коме. У нее опять сильно поднялось кровяное давление. Следует ли проводить лечение? Допустимо ли спокойно ожидать, пока где-нибудь снова не лопнет сосуд? Семья настаивает не столько на лечении, сколько на мнении, которое ей никак не удастся обнаружить в моем неуверенном взгляде. Оказывается, я даже не знал, что у нее такое высокое давление.

К концу дня, в наступающих сумерках, присаживаюсь к ней. Она изредка издает какие-то ворчливые звуки. А не видеть ли в этом нескладно проистекающее переселение души? Крупная мебель, книжный шкаф, электроника, кухонные приборы, постели и прочее – со всем этим давно управились. Теперь только осталась разбросанная то тут, то там всякая мелочь: домашняя туфля, плюшевый мишка, карандаш, календарь дней рождения в туалете. Возможно, в этой пустой квартире ночью где-то в подвале погасят последнюю лампочку?

В отделении на третьем этаже, кажется, стало худо нашему хомячку. Это золотистый хомячок, как мне объяснили; маленькая зверушка, помещается у меня на ладони. Дышит прерывисто. Мне кажется, вдохи и выдохи у него довольно спокойные. Кладу его обратно в его соломенное гнездышко.

Нас посещает доктор Фрейланд. Он на пенсии и может регулярно заглядывать к мужу своей умершей сестры, который уже несколько лет коротает время в Де Лифдеберге.

«Ах, я никогда особенно много с ним не общался, я делаю это ради моей сестры».

Он просит меня поговорить с ним о том о сём и вскоре погружается в прошлое. Перечисляет поликлиники, центры и фонды, которые он основал или помог их основать, в которых он работал или был членом административного совета, часто среди людей и в зданиях, которых уже давно нет на свете. Он получил за это небольшой орден и указывает на розетку в петлице. Сами орденские регалии висят под

стеклом у него дома. За внедрение того и сего и за особые заслуги перед городом. Последнюю награду он считает излишне помпезной, чтобы слишком уж ею восторгаться. «Да, им было бы нелегко перечислить все операции, которые я делал».

Меня, впрочем, больше интересует, что он сделал *после* того, как вышел на пенсию. «Первым делом я основательно всё расчистил. Вынес из дома почти сорок годовых комплектов медицинских журналов и не одну дюжину устаревших учебников». Вслед за этим его жена решила, что ему следует научиться печатать на машинке, потому что это всегда делали за него другие. Ну, теперь он это освоил. Кроме того, он начал играть в гольф, но пока что без особых успехов. Да, и до 72 лет он был членом одной из медицинских дисциплинарных коллегий.

«К тому же я обстоятельно изучаю возмутительную почтовую рекламу, отчеты комиссий, рецензии на книги, сообщения о конгрессах, словом, всё то, что раньше я не глядя выкидывал вон. Впрочем, дело не в том, что я действительно нахожусь в курсе событий. Да и, собственно, какой в этом смысл?» Он чувствует себя как человек, который уже больше не может сесть за руль и себе в утешение часами изучает дорожные карты.

Время от времени он еще поддерживает контакты с некоторыми из коллег, главным образом по случаю похорон или кремации. «Да, всё уже понемногу заканчивается для моего поколения. Празднования после выпускных экзаменов, экзамен на степень доктора, присуждения ученой степени, иногда речь в честь принятия профессорской кафедры, свадьбы – всё в прошлом».

Он хочет вернуться к рассказу о поликлинике в квартале А («Сейчас он называется *Излучения*, не правда ли? А какую бурю пришлось выдержать с бургомистром и муниципальными советниками, пока не пришли деньги!»). Между тем меня уже в третий раз вызывают по пейджеру.

«Коллега, мне очень жаль, но мне действительно пора идти».

«Нет проблем, нет проблем, спасибо, что уделили мне столько времени. Да, в вагоне прошлого далеко не уедешь». Звучит прямо-таки посмертным признанием.

Если бы я мог рассказать Мак-Коннеллу, что он упустил не свой, а «разве что катившийся за ним вслед пригородный поезд, останавливающийся на всех полустанках! Вечер жизни – не что иное, как поезд-музей, который никуда не едет, обклеенный рекламами о вещах, которых уже давно нет в продаже, и весь в граффити в память умерших».

Но у Мак-Коннелла совсем другое на уме. Не пробыв у нас и двух недель, он твердо решил вернуться домой и там умереть. Наш дом милосердия, по его мнению, отвратителен. Лучше уж околоть дома, он цитирует У. Х. Одена<sup>[221]</sup>: «I have no gun, but I can spit» [«Оружия нет, но плевков готов»]. И снова одаряет меня своей мягкой улыбкой.

Хомячок, оказывается, впал в зимнюю спячку. Нашлась книга из зоомагазина, и там всё подробно описывалось.

«Ты лучше его не трогай, – внушает Де Гоoyer, – от этого они умирают». Он сам сегодня утром стал причиной смерти, но там всё обстояло совсем иначе.

Его вызвали к менееру Биккерсу. Он уже умирал, но сделался так беспокоен, что решили всё же позвать врача. У страдальца был переполнен мочевой пузырь, а помочиться он не мог и страшно мучился. Де Гоoyer быстро ввел катетер, и как только мочевой пузырь опустел, Биккерс умер.

«Болевой раздражитель был последней нитью, которая связывала его с жизнью».

Яарсма возмущается модой прописывать антидепрессанты, как если бы это были таблетки от горя. Представь себе драму: тебе 82 года, ты полон жизни, живешь один и пишешь вполне приличные акварели. Но если вдруг, очнувшись после инсульта, видишь, во что ты превратился и что всё утрачено: ты не можешь сам пользоваться уборной, не можешь говорить, стоять, ходить и, разумеется, писать акварели, – конечно, тебя охватывает отчаяние, ты испытываешь подавленность, из которой тебе уже, вероятно, не выйти.

Чтобы избавить себя от вида чужого горя, мы говорим: человек в депрессии. Это звучит совершенно иначе, чем: он впал в отчаяние. И вот он получает антидепрессанты, с помощью которых мы задерживаем штору перед его страданиями. Ибо это таблетки для нас, находящихся снаружи. А человек остается один на один со своим отчаянием.

*Антидепрессанты* – одно из тех слов-пинцетов, с помощью которых мы можем касаться таких вещей, до которых иначе не осмелились бы дотронуться. *Гомофил* тоже относится к словам такого рода. Если бы такую таблетку назвали *антиотчаянием*, сразу было бы ясно, о чем идет речь и что ничего подобного просто не существует.

Ведь если бы эти таблетки помогали против бессмысленного отчаяния, в которое может обрушиться жизнь человека и против которого их так бодро прописывают, тогда в случае необходимости этим снадобьем не следовало бы массировать кору головного мозга, проделав отверстие в черепе, или, проникнув еще глубже, вливать его прямо в таламус, если бы это было единственным способом добраться до нужных клеток?



## Alle Pilze kann man essen

Симону Дофею 52 года и у него рак легких. Это одинокий брюзга. У него была небольшая автомастерская. Всегда жил ради себя, рассказывает его младший брат Рихард. «Вообще-то, Симону следовало бы жить в конце XIX века. Был бы кучером и каждый вечер спал бы себе в каморке над конюшней, а то и вовсе рядом с лошадьёю. Всё лучше, чем в дыре над мастерской, где он ночует. С людьми он не ладит, хотя наших детей прямо-таки обожает».

Единственная его страсть – собирать чаши для святой воды. Не те, большие, стоящие у стены с обеих сторон, какходишь в католическую церковь, но маленькие, которые раньше часто вешали в детских. В основном они из гипса или фарфоровые, и над чашей можно увидеть ангела, свечу, крест, голубя, Марию, коленопреклоненного Младенца, благочестивый стишок или еще что-нибудь в этом духе. Над своей кроватью он повесил одну такую, с Иисусом, который обеими руками обнажает грудь, чтобы показать свое позолоченное сердце, как будто оно прикреплено к его телу.

После того как Дофей попал к нам два дня тому назад, он лежит всё время лицом к стене, в ярости из-за своей болезни, как мне кажется. В тот момент, когда мой взгляд переходит от чаши для святой воды вниз на его спину, он произносит: «Я хочу эвтаназии».

– Ну, – говорю я, – так просто это не делается. Это нужно обсудить с целым рядом людей.

– Так обсудите же.

Звонит ван Лоон из больницы Хет Феем. Они там с ним натерпелись. Дофей, добиваясь ясного ответа на вопрос, может он вернуться домой или нет, в конце концов решил, что его водят за нос. В пятницу вечером медсестра отказалась отпустить его на выходные, и он пригрозил, что подожжет шторы в комнате отдыха. Сестра подумала: «Будет он мне лапшу на уши вешать», – и продолжала развозить кофе. Не прошло и трех минут, как Дофей уже стоял в коридоре и кричал ей: «Гляди, горят!» И, чёрт возьми, они и вправду горели. После этого его отправили к психиатру.

В середине дня прохожу мимо, как раз когда он разговаривает с Рихардом и его женой Эмми. Еще издали он кричит: «Доктор!

Доктор! Когда же я дождусь эвтаназии?»

Взываю к нему: «Пожалуйста, не в такой форме. Подумай о других пациентах». Ведь все они здесь принадлежат к поколению, для которого понятие *эвтаназия* всё еще ассоциируется с *умерщвлением*<sup>[222]</sup>.

Позже, у него в палате, я его спрашиваю: «Ты понимаешь, что нельзя так кричать об эвтаназии, словно тебе нужна таблетка аспирина?»

«Нет!» – сухо отвечает он. Ну как найти управу на такого строптивца?

– Неужели ты не видишь, что ставишь меня в неловкое положение, когда так грубо и так громко вопишь об этом?

– О!

– К тому же я вовсе не убежден, что тебе пора думать об эвтаназии, потому что ты еще в состоянии говорить, спать, есть, пить, читать и даже немного ходить. Тебе не кажется, что ты должен попытаться это как можно лучше использовать, так чтобы по крайней мере еще несколько...

– Хватит с меня твоих причитаний! Я хочу умереть. Я просто хочу умереть! Для меня это не жизнь.

Я привык к совершенно другому: «О, доктор, как трогательно с вашей стороны, что вы мне хотите помочь. Для вас это, конечно, тоже очень трудное дело», и так далее, и тому подобное, так что я уж и не знаю, что возразить. Но Дофею наплевать, каково это для врача. Его послание: «Руби давай и оставь свои сопли для крематория».

С души воротит, когда слышу эти настырные требования. Куда приятней деликатная просьба, да, сначала *место!* и *дай лапу!* а потом уже и печеньеце.

Хомяк, *золотистый хомячок* в нашей книге, всё-таки умер. Ни днем, ни ночью, ни во сне, а в своей зимней спячке. Более мирной кончины и не придумаешь. Едва ли ему нужно было взять хоть какой-то барьер, перед тем как он воспарил над бездной. Более кроткой смерти, думаю, и быть не может.

В обед ненадолго иду на кладбище. Этой осенью я там еще не был. Гораздо холоднее, чем я думал. Термометр на домике могильщиков

показывает ноль градусов. Слабый ветер, воздух сизый и влажный. Мне не везет: своими хрипло воющими машинками они как раз сдувают с могил палые листья. Это отравляет мою прогулку, ведь я пришел сюда именно ради листьев, и из-за тарахтящего визга не могу проникнуть в мир этого неизъяснимого сна под могильными плитами. К счастью, отыскиваю на кладбище место, где еще осталась часть нетронутой осени. Большинство могил анонимны – силуэты, под слоем напáдавших листьев.

На новой уродливой колонне красного мрамора читаю:

Яаап, почему?  
коротко ли  
долго ли ждать  
но я приду

Смолк натужный гул листодеув. Перерыв на обед. Смотрю на несколько прекрасных деревьев у трогательного надгробия четы Радзивилл. Скульптор изобразил обоих такими, какими их можно было увидеть в тот вечер 1937 года в освещенной люстрой гостиной: ее, штопающую носки; его, с трубкой, читающего газету. И нигде никакой войны.

Сижу в палате у ван Рита, снаружи вдруг налетает настоящий шквал с градом. Два голубя жадно склевывают белые крупинки на подоконнике. «Манна небесная», – говорит он.

Ван Рит оставался на выходные в большой квартире своего друга, процветающего художника. И постоянно тихо жаловался на затруднения, из-за которых один жить не может.

Реакция его друга, с широким жестом в сторону своей мастерской: «Всё, что тебе нужно, мальчик мой, это Искусство!»

На взгляд ван Рита, пошлое замечание. Как если бы тонущему кричали с берега: «Всё, что тебе нужно, парень, это твердая почва под ногами!»

Он рассказывает, что раньше у них в доме была служанка, которая для него, мальчика, собиравшего сигарные банты, отправлялась в

город искать их на ступенях Большого Клуба<sup>[223]</sup> – по ним входили и выходили знатные господа. И чаще всего возвращалась не с пустыми руками.

Он разглядывал то, что люди развешивали на стенах над своими кроватями: фотографии внуков, свадебные фотографии (соль на раны – в сравнении с тем, что на самих кроватях) или убийственное изречение, подходящее к нашим проблемам. Нередко такое изречение кем-то аккуратно вышито и помещено в рамку под стекло. Часто попадает на глаза: *Никому не дают программку концерта жизни*.

Ван Рит поясняет мне смысл этого изречения: «Обычно имеется в виду, что на земле, если мечтаешь о велосипеде, тебе неизменно суют в руку половник. Такая уж у нас планета».

Другой вариант: *Сделай мир лучше, начни с себя*. Что натолкнуло Мике на такие вариации в ее кабинете: *Ублажай мир, начни с себя*; рядом *Кто знает себя, не прощает никому* и *Жизнь может быть песней, maar het refrein is Hein*<sup>[224]</sup>.

Над кроватями нередко встречаются сентенции и такого типа: *Друг, входящий сюда, не торопится никогда, опаздывает – всегда*. Ван Рит указывает мне еще на одно изречение, над кроватью мефроу Тен Кате, той, с которой пытались считать<sup>[225]</sup>. Его выжгли на дереве: *Alle Pilze kann man essen, aber manche nur einmal* [Все грибы можно есть, но некоторые только один раз].

Над его кроватью висит удивительная по качеству старая фотография. На ней вид из детской в квартире, где он жил со своими родителями. В обрамлении небольшого окна мансарды видно залитое солнцем море верхушек деревьев. «Ребенком я фантазировал, что наш дом – это огромный ковчег, который буря гонит по водам, и это первое окно, которое Ной открыл через 150 ужасающих дней. Через окно влетел голубь с зеленой оливковой веткой в клюве – знак того, что вода отступила».

## О концерте жизни

Менеер Адема умер в возрасте 78 лет, в глубокой деменции. От главного регионального инспектора по охране растений осталась какая-то сморщенная мартышка. Недели три назад к нему еще раз приходила его жена, ей пришлось добираться с другого конца города на трех автобусах и еще довольно много пройти пешком.

На ней было платье, вероятно, 1954 года или около того. Очень худая, она выглядела так, словно война только что кончилась. Я невольно подумал об одном японском солдате, который вышел из джунглей в 1965 году единственно лишь для того, чтобы узнать, что война проиграна, – настолько нелепым казалось ее платье, напоминавшее о других временах, что давно уже миновали. Она немного постояла в ногах у его кровати, покачивая головой, и ушла домой. Казалось, она пришла, чтобы окончательно разделаться с беременем – там, в постели, и, успокоенной, уползти обратно в дыру, где будет сидеть в ожидании, когда ничто разверзнется и под ней тоже. «Я больше не приду», – ее последние слова Мике. А еще она сняла их свадебное фото, висевшее над кроватью, и спрятала в тумбочку. С концерта жизни.

Выхожу от Адемы и встречаю семью Гейтенбеек: мать с одним или двумя из своих трех сыновей и сумками, полными стиранного белья, еды и питья. Каждое утро в десять часов они врываются в отделение, чтобы душиТЬ в объятиях своего тяжело пораженного инсультом незабвенного, дорогого мужа, отца, тестя и дедушку.

Мать и сыновья при этом стараются быть в центре внимания, отчасти из-за синдрома самовосхваления: они охотно соревнуются с родственниками других пациентов, которые редко или вообще никогда не приходят; или с теми, которые, если и появляются, разобраться в том, что там происходит, не в состоянии.

Кровать отца они обвешали всякими цацками-мацками, мишками, шторками, рюшиками, карточками, картинками, зеркальцами и прочим слащаво раскрашенным дерьмом с бантиками, которое выводит меня из себя, но для них – зримый символ их преданности.

Наблюдая за тем, как они суетятся, так и видишь их вскоре ухаживающими за могилой, где, пожалуй, наверняка будет надгробие гладкого красного мрамора, поверх которого искусственные цветы и словно сделанные из конфетти веночки из гладкого натурального камня розового, желтого и неестественно зеленого цвета. Они обращаются с человеком как с куклой.

Яаарсма врачует уже лет тридцать и для разнообразия задается вопросом, что же он всё-таки вылечил: «Главным образом мои собственные ложные представления об этой профессии, хотя от них никогда полностью не избавишься. Как бы там ни было, это была большая работа! Но тратить время и энергию на то, чтобы санировать идеи других людей, теперь я на это действительно не способен».

Одна пациентка очень серьезно, уже во второй раз, спросила его, что он думает о переживании близости смерти, которое она испытала во время наркоза. Пресловутый рассказ о темном туннеле, в дальнем конце которого стоял в свете некто в длинных одеждах и подал знак, настойчиво призывая душу вернуться обратно. Что она тут же и сделала. «И когда я проснулась после наркоза, я была бесконечно рада, потому что теперь знала несомненно и навсегда, что есть жизнь после смерти!» – заявила она восторженно и всё еще сияя от счастья.

Уже в прошлый раз ему не удалось отмахнуться, так что теперь он раздраженно сказал: «Мефроу, вся жизнь – это переживание *околосмертного* состояния!» – и стремительно пошел прочь. Он как раз должен был осмотреть женщину, для которой этого *около* уже не было. Она была найдена мертвой в своей постели. Никаких признаков насилия, как сообщали газеты.

«Ну, мне это по душе – отзывается Де Гоoyer, – уйти таким образом». Мне – нет. Я бы всё же кивнул, прежде чем сойти на берег, и с окружавшими перекинулся бы несколькими словами: «Счастливо оставаться!» – «Спасибо!» – «Всего хорошего!» – «Мы еще встретимся!» Что-нибудь в таком роде.

Разговор в лифте: «И что за людей можно встретить в дзен-буддистских монастырях?»

«Ну, э-э, женщину, которая спрыгнула с Эмпайр-стейт-билдинг, и, после того как она пролетела два или три этажа, порыв ветра снова

затянул ее внутрь; редактора, который отклонил рукопись *Gone with the Wind*<sup>[226]</sup>; летчика, который сбросил бомбу на Хиросиму. В общем, всех, кто обмишулился, понимаешь?»

Доктор Олденборх рассказывает. При операции на гипофизе до него можно добраться через нос, но можно и сквозь черепную коробку, когда после трепанации височную долю мозга как бы приподнимают, чтобы открыть доступ к турецкому седлу. На пути туда «нейрохирурги всё-таки неизбежно задевают некоторые капилляры, о которых, если невролог морщится, приободряюще говорят: „А, ничего страшного“. Но семья получает обратно своего папочку, который ничего не может поделаться с этими повреждениями, терзает близких необъяснимыми приступами ярости и в самые мучительные моменты откалывает совершенно отвратительные фокусы. Да, да, нельзя иметь всё, ведь правда?»

Некоторые пациенты неврологических отделений ужасные нытики, носятся со своими неутихающими болями, которые врача могут с ума свести. После сканирования, анализов, рентгена и ультразвука часто всё еще нельзя найти никакого решения.

Олденборх тогда говорит осторожно: «Может быть, в вашем случае имеет смысл попросить *second opinion*<sup>[227]</sup>, посоветоваться с кем-то еще, одна голова хорошо, а две лучше, мы не всезнайки. Что вы об этом думаете?»

– Да, но где? – спрашивает простак второпях.

– Ну, в больнице Хет Феем, например, там опытные специалисты, думаю, это как раз то, что вам нужно.

А там они уже и так осатанели от своих жалующихся на боль пациентов.

– Но, – вмешиваюсь я, – ведь это приводит к обратной реакции: вам шлют зануд из больницы Хет Феем.

– Ты что? Эта спесивая братия, они знают всё. Да они скорее слопают свои сканеры, чем признают, что чего-то не могут. Идеально, правда?

## Сначала живем, понимаем после

Мы всегда видим перед собой лицевую сторону биологии, то есть из Конечного пункта смотрим на формы жизни, которые устремляются именно к этому пункту. И удивляться тому, что эти формы жизни туда приходят, – значит удивляться всего-навсего тавтологии.

Нужно было бы стать за спиной этих форм жизни, как Дарвин, и бежать к будущему вместе с ними. Первое, что мы бы обнаружили, что перед нами вообще нет никакого пути.

*How not to patronize the past* [Как избежать снисходительного отношения к прошлому].

Кьеркегор: «Сначала живем, а понимаем после».

На восьмом этаже лежит, скорее сидит, уже полторы недели умирая в своей постели, менеер Бродкопер, негр из Суринама; думаю, в нем течет и индейская кровь. Квикег<sup>[228]</sup>. Глаза у него закрыты, кроме тех редких моментов, когда он пьет. Есть он уже давно отказывается. Из-за своей неподвижности, молчания и всё более заостряющихся черт он чем дальше, тем больше напоминает мрачного сфинкса.

Даже Гейтенбееки прекращают на какой-то момент тараторить, когда им нужно пройти мимо его кровати, а у ван Рита чувство, что он должен из всего этого что-то усвоить, «ибо многие из нас уже больше ничего не в состоянии ожидать спокойно. И уж конечно, не Смерти».

Когда появляется дочь Бродкопера, кажется, что ему приходится подниматься на поверхность из чудовищной глубины, столько проходит времени, пока он наконец откроет глаза, чтобы посмотреть на нее.

Она спрашивает, не нужно ли ей остаться у него на ночь. «Есть в этом смысл? Я имею в виду, что не могу же я двадцать четыре часа в сутки быть рядом с ним, а то вдруг он умрет, когда я выйду выкурить сигарету или еще что».

В ее замечании две мысли о наступлении смерти, которые почти всегда приходят нам в голову:

– что умирающий словно бы покидает дом своего тела;



– и что этот момент важен как для уходящего, так и для остающихся, потому что в дверях часто говорится что-то очень значительное.

В этих мыслях скрывается страх перед тем, что кто-то за вашей спиной сделает так, что, вернувшись из туалета, вы найдете дом опустевшим.

На практике я никогда не видел, чтобы из тела когда-либо что-нибудь улетучивалось, и на пороге вечности никогда не слышал ничего такого, что звучало бы как разрешение мировой загадки.

Глядя на умирающего, я всегда думал, что душа не отлетает от тела, а скорее в нем тонет. Что же касается «последних слов», то можно ли здесь ожидать чего-либо иного, чем: «Дай мне картошки», «Можно немного воды?», «Боже мой, для чего Ты меня оставил?»<sup>[229]</sup>, «Mehr Licht!»<sup>[230]</sup>, «Позаботься о Мипи», «Я прожил прекрасную жизнь», «Не дыши на меня, твое дыхание как лед», «Дайте мне опиум» и так далее.

Мы не хотим понять, что это всего лишь последние по счету слова и что они ничем не отличаются от множества прочих слов, которые нам приходилось слышать от кого-нибудь раньше.

И всё же в последних словах есть нечто такое, что чувствуешь, например, глядя на ее последний сигаретный окурочок, который хранишь как реликвию; что-то такое, что никогда не придет в голову при виде тысяч других окурочков. Подчеркнутое внимание к последним *словам* не может не вводить в заблуждение. Возникает склонность искать особый смысл в том, что речь идет о словах особо многозначительных, но теперь утративших всю полноту значения Последних Слов. Думаю, что упор нужно делать на Последних, а не на Словах. Тогда и возникает место для Последней недокуренной сигареты, Последнего дня рождения, Последней куртки. Это вид размышления о той точке, которую поставила жизнь. Краткая медитация смерти.

Симон Дофей хочет со мной поговорить. Он снова просит об эвтаназии, но на этот раз уже не орет на весь коридор.

Спрашиваю его, как он себе это представляет, может ли он точно сказать, что я могу для него сделать.

– Ну, как обычно, снотворное, чтобы я и не заметил, соображаешь?  
И я начинаю соображать.

На мой вопрос: «Отдыхаете после обеда?» – ван Рит отвечает: «Спасибо, я еще наотдыхаюсь».

Мы выпиваем с ним по чашечке чаю, и я предлагаю ему тезис: если высшая точка жизни позади, то можно было бы думать, что уже не остается ничего другого, кроме раскатанной дорожки к могиле.

– Можно было бы думать? – его реакция. – Сползать вниз гораздо труднее, чем лезть наверх.

Он что-то читает о войне и указывает мне на портрет Гитлера: «Прикрывает обеими ручками своего Адольфа». В киножурналах и хрониках бросается в глаза, как небрежно Гитлер отвечает на прославленное приветствие: «Не резко, неумолимо выбрасываемая вверх рука, но полусогнутая, с манерно приподнимаемой и опадающей ладонью. Ну да, не станет же Бог сам себя осенять крестным знаменем».

Он напал на новый эвфемизм: «Сейчас говорят „еврейская нация“, а не „евреи“. Теперь спросишь: „Вы еврейской нации?“ – а не: „Вы еврей?“»<sup>[231]</sup>.

Он полагает, что это из-за чувства вины, из-за того, что мы позволили уничтожить «евреев», факт, объясняющий наше нынешнее ревностное отношение к «еврейской нации».

Чтобы почтить память о прошлом, он на автобусе для инвалидов-колясочников снова отправился в места своей юности. Это было совсем не легко.

«Там происходят большие изменения, которые я слишком поздно заметил и которые были для меня шоком. Дома ничего этого нет, потому что в собственной жизни вазочки не переставишь, чтобы этого не заметить. Но по соседству, в местах, которые и мои тоже, или, лучше сказать – *были* моими, я сразу вижу, что изменилось, стоило мне ненадолго отвлечься, и мне становится ясно, что там произойдет, когда я уже отвлекусь *навсегда*, когда я умру. Во всех возможных местах, и прежде всего в твоём родном городе, сооружают тебе надгробие, которое растёт, фрагмент за фрагментом, пока ты совсем не скроешься под землей, и она будет покоиться на тебе, и тебя больше не будет. Нет, сползать вниз гораздо труднее».

## Надежда и биохимия

Разница между биологией и естествознанием: все молекулы одинаковы; я имею в виду, что все молекулы воды одинаковы в той же степени, в какой все руки, или все голоса, или все носы отличаются друг от друга.

Кроме того, молекулы не изнашиваются, они не стареют. И самое главное: они не умирают. Физика не знает смерти. Не знает истории. В физике нет памяти и нет шрамов.

Когда умирает наше тело, молекулы катятся себе дальше. *Наши молекулы.*

*Жизнь*, концепт XIX века, сделалась биохимией. Значительная часть того, что мы называем «слишком далеко заходить в медицине», основана на поговорке современного врача: «Пока есть биохимия, есть и надежда».

Национальная дискуссия о пилуле смерти и о том, следует ли ее выкладывать на полки в супермаркетах *Алберт Хейн*<sup>[232]</sup>. Де Гоoyer: «Каждый раз, когда прохожу по отделению для престарелых, думаю: люди, скажите на милость, и как же вы всё это выдерживаете? Разве это жизнь? Они же как урны в колумбарии. Думаю, от 50 до 60 % людей в таких заведениях сразу же приобрели бы эти пилули».

Как ни странно, у человека сила желания умереть довольно неопределенным образом связана с его бедственным положением.

Во всяком случае вовсе не так, что люди тем сильнее желают смерти, чем они ближе к ней. В Де Лифдеберге 300 пациентов. В среднем один-два раза в год кто-нибудь из этих трехсот действительно хочет умереть.

Лидия Гинзбург так говорит об этом: «Утопающему, который еще барахтается, – не лень барахтаться, не неприятно барахтаться. Это вытеснение страдания страданием, это безумная целеустремленность несчастных, которая объясняет (явление, плохо понятное гладкому человеку), почему люди могут жить в одиночке, на каторге, на последних ступенях нищеты, унижения, тогда как их сочеловеки в удобных коттеджах пускают себе пулю в лоб без видимых причин»

*(Записки блокадного человека).*

Герард Схотхорст – католик, прибыл из Маастрихта. Милый скромный юноша, который еще не успел переварить открытие, что является гомосексуалом, а ВИЧ уже тянет его в могилу.

У нас он умирает на безопасном расстоянии от своего родного дома. Его шесть или семь сестер, все они живут в Маастрихте или его окрестностях, несмотря на отдаленность, преданно его навещают. На мое предложение перевести его в Маастрихт – и он мог бы с кем-то общаться, и им было бы проще – они реагируют отрицательно. Нет, нет, правда не нужно, и к тому же будет затруднительно для его здешних друзей.

И только потом мне пришло в голову, что эта идея возникла у меня исключительно потому, что здесь у него нет никаких друзей. К нему никто никогда не приходит. Когда спустя несколько дней я снова возвратился к этой идее, я услышал в ответ: «Нашему отцу этого не хотелось бы».

Однажды днем встречаю у его кровати одного из его зятьёв. В последние дни Герард почти не приходит в сознание, и этот человек заговаривает со мной. Вид худого как щепка, дышащего на ладан больного пронзает его до глубины души, и он не может сдержаться: «Никогда со мной такого не будет, чтобы я околевал в таком месте. Никогда! Я давно бы уже пустил себе пулю в лоб!»

Знакомая песня, которую люди то и дело заводят, когда видят такую тяжкую смерть. И когда в пятый или шестой раз это слышишь, презрительно думаешь: «О-хо-хо, снова заладил».

Но тот, кто так говорит, открывает себе самого себя, и его слова звучат тем более комично, потому что это неправда. Ибо тот, кто теперь лежит здесь в таком виде, бедняга, допустивший, чтобы всё так далеко зашло, еще вчера говорил в точности то же самое. Отсюда и «о-хо-хо, снова заладил».

Как будто кто-либо когда-либо держал курс на то, чтобы околеть, именно попав в дом милосердия. Но людей успокаивает, если они клянутся, что скорее пустят себе пулю в лоб, чем позволят себе дойти до подобного состояния.

Герард умер, и Эссефелд может отслужить панихиду. Нет, не в Маастрихте. Очевидно, есть еще что-то, чего нашему отцу не хотелось бы. Кроме того, нет согласия в том, как следует поступить с телом. Герард выражал желание, чтобы его похоронили вместе матерью, в ее могиле. Она умерла несколько лет тому назад. Реакция отца: «Такого прекрасного места он не заслуживает. Кроме того, тело со СПИДом, нет, он не имеет права лежать рядом с матерью».

В конце концов нашли компромисс: сначала его кремируют, а потом прах его будет захоронен рядом с матерью. Опасность того, что от его праха мать может посмертно заразиться СПИДом, очевидно сочли допустимым риском.

Эссефелд рассказывает, что нередко во время панихиды он чуть не плачет. Он знает, с этим нужно бороться, потому что если у тебя потекут слезы, то обряд будет разрушен.

Священник, служащий мессу, это полюс покоя при совершении обряда: в процессии, прибывшей на кладбище, кто-то ведь должен знать, в какую могилу опускать гроб; нельзя же искать ее всем вместе.

Плачущий священник был бы почти столь же плох, как и смеющийся.

## Предотвращать скучнее, чем исцелять

Философ Зенон в 84 года сломал палец на ноге, воскликнул: «Я уже иду, зачем меня зовешь?» – и лишил себя жизни. Да, такой вот рассказ.

Де Гоoyer ведет совсем иной разговор со Смертью. Сегодня утром, подъезжая на велосипеде к Де Лифдебергу, я увидел, как он в своем стареньком «саабе» пересек улицу прямо перед мчащимся навстречу грузовиком, чтобы буквально в последний момент, заложив опасный вираж, успеть влететь на парковку.

Его манера впрыскивать себе дозу адреналина – чтобы заметить, как сквозь серую вуаль повседневности блеснут в ухмылке зубы Костлявого: «Вижу тебя, но не пойду».

Анс ван Дейн 47 лет. Она уже почти восемь лет в Де Лифдеберге. Рассеянный склероз. Теперь еще осложнение, упорное воспаление сетчатки, из-за которого она почти совсем ослепла. Она не замужем, детей нет. Она единственный ребенок; родители навещают Анс почти ежедневно. Вижу ее плачущего отца в коридоре. Он не из тех, что льют слезы, и я спрашиваю, что случилось.

Его жена, кормившая дочь, на какой-то момент отвлеклась, и вилку с едой, которую Анс не видела, она пыталась нащупать губами.

Ее ищущий рот... и он уже не мог совладать с собою.

Де Гоoyer провел уик-энд у родителей: «Никогда не знаешь, что рассказывать отцу о своей работе. Он думает, как мне кажется, что каждый больной, который попадает ко мне, это что-то вроде пазла, на который я тут же набрасываюсь: что бы это могло быть? Ради всего святого, что бы это могло быть? И через шесть недель или через шесть месяцев поисков, фотографий, сопоставлений, анализов мочи, прощупываний, просвечиваний, наблюдений, размышлений, копания в книгах и звонков коллегам наконец-то прихожу к выводу: *параллельный нипоз*<sup>[233]</sup>.

Я выхожу на поле битвы и после жестокой борьбы, во время которой неоднократно приходится хватать пациента буквально на краю пропасти, куда *нипоз* угрожает его столкнуть, усталый, но

удовлетворенный стою на крыльце нашего богоугодного заведения, прощаясь с ним под градом цветов и печенья, и еще долго машу рукой нашему славному исцелившемуся, которого ошалевшая от счастья семья увозит наконец с триумфом домой.

Примерно так. Теперь мой отец знает, что на самом деле всё обстоит совершенно иначе. Но он не знает, зависит ли это от того, что наука наша ничего не стоит, или от того, что я ничего не стою как врач».

Один из вариантов. Профессор Энсхеде, ему, вероятно, за 80, пишет следующее: «Разве не удивительно, что я всё еще жив, тогда как без современного медицинского обеспечения и медицинской техники я бы давно уже умер? С 1977 года ежедневно принимаю таблетки для сердца. Мы остаемся в живых, потому что напичканы медикаментами. И это справедливо, по моим оценкам, для 80 % моих сверстников» (*NRC Handelsblad*, 26 октября 1991).

Умилительно, что кто-то может до такой степени верить в Медицину. Только блаженное незнание сути и истории предмета позволяет говорить подобные вещи. Ведь мы все без исключения доживаем до старости не благодаря медицинскому вмешательству, но потому что вполне удовлетворительно питаемся и, что касается микробиологии, живем в чистоте.

Насколько чисто мы живем, иногда можно узнать из довольно неожиданных источников. Вот, например, отрывок из *Дневника* Сэмюэла Пипса (20 октября 1660): «This morning one came to me to advise with me where to make me a window into my cellar in lieu of one that Sir W. Batten had stopped up; and going down into my cellar to look, I put my foot into a great heap of turds, by which I find that Mr. Turners house of office is full and comes into my cellar, which doth trouble me, but I will have it helped»<sup>[234]</sup>.

Нашей чистой жизнью мы обязаны гигиенистам XIX столетия, которые ратовали за карантин во время холеры и за городскую канализацию, ибо это способствует гораздо больше ожидаемой продолжительности жизни, чем любое вмешательство медицины.

Но предотвращать намного скучнее, чем исцелять. Поэтому профилактике мы отводим более скромную роль. *Исцеление* порождает

куда больше шума, *предотвращение* по самой своей природе беззвучно.

Нелепость того, что мы слышим о якобы существующей взаимосвязи между болезнями, медициной и образом жизни, сразу видна при взгляде на Африку, где люди, как уверяют телепередачи на медицинские темы, ведут исключительно здоровую жизнь: мало едят, много двигаются, не курят. При этом средняя продолжительность жизни там едва достигает 40–50 лет.

Европеец, который курит, переезжает и ездит на автомобиле, живет намного дольше. Хорошо, пусть это упрощенное представление, но всё же гораздо менее упрощенное, чем полагать, что достижение глубокой старости обеспечивается приемом лекарств. Разве что в весьма редких случаях.

Иногда кажется, что мы вместе с Анс ван Дёйн медленно приближаемся к мысли об эвтаназии. Она уже несколько раз осторожно заговаривала об этом. Болезнь ее зашла очень далеко, она больше не может сидеть и говорит, что с нее довольно. Я отношусь к этому спокойно, и сейчас меня не пугают эти последние пять минут, которых я всегда так страшился.

Это из-за того, что она слепа. Я буду чувствовать, что за мной не так наблюдают, и смогу более раскованно действовать.

– Со стороны видно, что я слепая? – спрашивает она.

– М-м, нет, то есть, думаю, да. Я вижу твои глаза, но при этом вроде бы заметно, что меня ты не видишь. Понимаешь?

– Да, понимаю. Но я, собственно, спросила, потому что мои глаза выглядят так, словно с ними ничего не случилось, никакого бельма или чего-либо в этом роде.

Как только понимаешь, что за глазом уже больше нет глаза, рождается мистерия зрения. Слишком часто мы представляем себе глаза (окна души) как отверстия, через которые мызираем на мир. Но тогда за нашим глазом должен быть другой глаз, потому что отверстие ничего не видит. Глаз за глазом. А за ним еще глаз, и так далее. Проиллюстрировать? – Эшер<sup>[235]</sup>.

Так же точно нет уха за ухом или хватающей руки за хватающей рукой, а также тела за телом.



Душа за телом – всё равно что глаз за глазом. Другие предлоги тоже подходят: душа в теле – всё равно что глаз в глазу.

Возможно, отсюда совсем недалеко до замечания Виттгенштайна: «Человеческое тело – лучшая картина человеческой души» [236].

За глазом нет глаза. Глаз – не окно, через которое мы смотрим на мир. Также и мир не вбрасывает в нас законченные картины. Скорее мир вбрасывает внутрь кисти, краски и холст, который стремительно заполняется в зрительной коре больших полушарий. Или лучше: не мир рисует что-то на сетчатке глаза, но дальше, в мозге, вырабатывается образ мира.

Этому процессу нужно учиться. Больше того, ему можно научиться только на определенной стадии развития, скажем, от нуля до четырех лет. Только в этот период нейронные «подключения» могут быть «обкатаны» таким образом, что возникнет путь, на котором оптическая информация может быть преобразована в видимый внешний мир.

Если бы кто-нибудь провел эти годы с завязанными глазами, то, когда через четыре года ему бы сняли повязку, он ничего не видел бы и никогда не научился бы видеть, потому что необходимые вещества, которые делают возможным «обкатку» определенных нейронных путей, вырабатываются именно в этот период обучения.

«Так что сделать слепого зрячим, как это проделал Иисус, – восклицает радостно Яаарсма, – гораздо сложнее, чем кажется. Он должен был не только чудодейственным образом снять помутнение роговицы, хрусталика и сетчатки, но и волшебным мановением руки выявить лежащие за ними необходимые нейронные подключения для всех последующих процедур, которые создают образ мира».

«Вот-вот, но только если при этом тебе известно, что от сетчатки никакие изображения внутрь, в череп, не проецируются».

Менеер ван Дёйн рассказывает о своей дочери Анс. С ней всегда было нелегко. Несколько лет она изучала историю, но должна была прервать учебу из-за ухудшения памяти – предположительно из-за того, что она много пила. Потом она уже не могла больше ходить. Дело кончилось тем, что она утратила зрение. Всё это настораживало. И вот тебе на! Выяснилось наконец, что это рассеянный склероз.

Звучит так, словно он всё еще обижается на нее за то, что с ее стороны не было никакого притворства.

Ему причиняет боль, что после стольких лет болезни у нее почти нет друзей. Не очень понимаю, что он хочет сказать: это из-за ее продолжительной болезни или из-за ее характера?

Во всяком случае для нас она просто ангел. У нее доброе сердце. Это видно из того, как она обходится со своей болезнью: словно речь идет о докучной собаке, которая увязалась за ней и которую ей пришлось у себя оставить. Она говорит без всякой злобы о выпавшей ей на долю судьбе. Когда я рассказываю об этом ее отцу, он отвечает: «Ах, если бы она всегда была такой!»

За ланчем Де Гоoyer простодушно рассказывает о медбрате из своего отделения, который разработал метод помощи пациентам, страдающим запором. Он подвешивает их в медицинском подъемнике над унитазом «и, взяв на перчатку немного вазелина, массирует им около ануса, чтобы вызвать рефлекс дефекации. Срабатывает великолепно».

Яарсма раздражается хохотом.

– В чём дело? – нерешительно спрашивает Де Гоoyer.

– Медбрат ваш пачкун, либидо – змея, а ты простофиля. Ничего, не переживай. Наш Антон, который сидит себе усмехается, тоже всё еще не вполне уверен, что он врач.

Терборх говорит нам, что, по его мнению, люди делятся на две группы: тех, кто знает о Смерти и говорят об этом с улыбкой или слезами, в стихах или в музыке; словом, верующие смертные. Другая группа – те, кто пишут *смерть* с маленькой буквы.

## Смирение

В моем кабинете меня ожидает посетитель. С подчеркнутой радостью он поспешно передает мне самый сердечный привет от Карела Ньиуланда. Он встретил его в одной из врачебных практик поблизости.

Я спрашиваю: «И как он там, наше золотце?»

Тотчас же мой в высшей степени ухоженный, изящный, чисто вымытый и прекрасно пахнущий гость чуть отклоняется и берет строго официальный тон, который, очевидно, должен служить доказательством того, что у него бесспорно передний привод, в чём я как раз усомнился и что он тут же заметил. Короче говоря, подспудно тот еще диалог, хотя внешне мы разговариваем о новых растворимых таблетках Lobak<sup>[237]</sup>, неприятных, ядовито-розовых громадных пилюлях, которые он носит с собой в изящной коробочке из-под обручальных колец.

Анс ван Дёйн, как я уже говорил, хочет мое питье. Она предлагает, чтобы в конце я рассказал что-то веселое: «Тогда я уйду, смеюсь». И ни в коем случае не хочет, чтобы ее родители участвовали в наших переговорах. «Для них это слишком. Ты знаешь, я единственный ребенок. Я не могу от них требовать, чтобы они принимали это как должное».

Она делится со мною одним детским воспоминанием. Ребенком ей казалось, что это ужасно: не иметь ни брата, ни сестры. В обеденное время, когда всех детей звали домой, она, понарошку представляя, что у нее есть брат, тоже звала: «Кеес! Кеес, мы идем есть!» Однажды отец поймал ее на этом и даже шлепнул из-за этой бессмыслицы.

– Нет, с ним я об этом не могу говорить.

Чего у нее не отнять, так это смирения. Это уже несколько вышло из моды. Она знает себя, не впала в отчаяние и не отгородилась от окружающих.

Хотя я думал, что на этот раз мне будет спокойнее, чем когда-либо раньше, всё это сразу же начинает на меня действовать. Сегодня ночью приснилось, что она умерла и лежит в нашей приходской церкви.

Наполненный формалином стеклянный гроб стоит наискось на алтаре. У церкви встречаю Мике. Она спрашивает: «Тебе не кажется странным, что они всё это выставили напоказ?» Войдя внутрь, я понял, что она имела в виду: на алтаре, позади гроба, лежат всевозможные искусственные клапаны, стальные головки тазобедренного сустава, протезы сосудов, множество катетеров, которые ей ставили все эти годы; словно дамба вокруг, мириады таблеток, которые она проглотила. Люди в трауре стоят полукругом около гроба. И то, чего все боялись, случилось: она пошевелила ногой и сдвинула крышку гроба. Неловко высвободилась из аквариума. Белоснежка, Гудини<sup>[238]</sup>. В обвисшем промокшем покойницком платье она выбегает наружу. И во второй раз она нас обхитрила. У выхода она указывает на (ту самую) палату, в которой она воскресла на прошлой неделе.

Как я уже сказал, на сей раз процедура кажется мне менее трудной, потому что Анс ван Дёйн слепа. Примерно за час до смерти я еще раз промыл ей левое ухо. Ей очень хотелось.

Она не хочет, чтобы кто-либо при этом присутствовал. Когда я, как мы с ней договорилась, вхожу к ней, она поворачивает ко мне лицо и смотрит в моем направлении. Нащупывающие движения ее незрячих глаз заставляют меня с трудом сдерживать слезы.

Взяв питье, она спрашивает: «Ты сядешь рядом со мной? Можно я буду держать тебя за руку? Да, так».

Мы еще можем чуть-чуть поболтать. Об ее отце. Он всегда был тяжелым человеком. У нее были прекрасные годы студенчества, пока года через два, ей был тогда 21 год, она не забеременела. Отец всяческими угрозами заставлял ее сделать аборт. Она вынуждена была уступить. В 1965 году это было уже довольно легко устроить.

«Но это правда было... аборт... да, наверно, слишком много алкоголя, я думаю... что аборт, это правда не нужно, ведь у нас было достаточно места... и денег... и детские вещи...» Потом она привалилась ко мне.

«Детские вещи...» – это были ее последние слова. У них было вдоволь детских вещей. И то, что с этой крохотной смертью на устах она должна была вступить в другую, большую смерть, пронзило меня такой грустью, что я заплакал.

Через десять минут входит посмотреть Мике. Анс уже мертва.

- Антон, что ты здесь делаешь?
- Плаксиваю.
- Кого?
- Детей и родителей.
- А, ну да, тогда ты охватил, пожалуй, все категории.

Отец Анс вздыхает, услышав сообщение о ее смерти. «Когда-нибудь это должно было произойти». Он сейчас же свяжется с ее священником. Я говорю, что это кажется мне хорошей идеей.

- О, вы тоже религиозны, доктор?

Протестанты спрашивают, религиозны ли вы. Католики – верите ли вы в Бога.

## С пустыми руками

До того как пойти на похороны Анс, хочу сначала встретиться с мефроу ван Вееген и менеером Де Бремером. Первая – старушка с коричневым дубленным лицом, вырастившая двенадцать детей, и все двенадцать до сих пор остаются под ее строгим надзором. Она всё еще не дает Костлявому вырвать скипетр из своих рук.

Ей почти 96 лет. Один из ее сыновей, получивший нагоняй, потому что не появился на Троицу, недавно вздыхал, стоя рядом со мною в лифте. Наконец, решившись, спросил: «Скажите, доктор, вы больше книг проглотили, чем я, вы точно знаете, что каждый из нас умрет, а?»

С неделю тому назад умерла сестра-близнец мефроу ван Вееген, и та, с настойчивостью, какой она всегда отличалась, сидит теперь целыми днями, не переставая звать и кричать, а время от времени прямо-таки визжит: «Я хочу умереть! Хочу умереть! Помогите же мне, я хочу умереть, умереть хочу, пусть кто-нибудь мне поможет, я хочу умереть, помогите же!»

Я решил, что этот истерический крик пора всё-таки прекратить. Попробую с ней спокойно поговорить. Как-нибудь утром, когда она не чувствует себя уставшей, посмотрю, что с ней такое. Но как только я присаживаюсь рядом, она говорит совершенно спокойно, уважительно и настойчиво: «Я хочу умереть». А я всё еще надеялся на что-то другое.

Ну а теперь к менееру Де Бремеру. Он уже лежит на боку, спиной ко мне. Бедро в ужасном состоянии. Страшный пролежень быстро превратился в дыру с омертвевшей тканью. Ножницами и пинцетом отделяю слои, чтобы увидеть, насколько глубока рана. Из-за моей возни и из-за того, что он чуть подвинулся, отвратительный бздёх пыхнул из раны мне прямо в лицо, вместе с брызнувшей оттуда жидкостью Я отшатнулся и только успел отвернуть лицо, как пол подо мною поехал.

– Что ты здесь делаешь? – кричит Мике, стоя на краю ямы, в которую я рухнул.

На соседней койке потешается менеер Фейненберг: «Бог ты мой, грохнулся  
в  
обморок.

Силы небесные господи боже мой чтоб тебя чёрт побери! Врач! В обморок!»

Менеер Де Бреемер теперь тоже выказывает некоторое замешательство.

– Чего это? – спрашивает он Фейненберга. – Чего случилось?

– Врач грохнулся. – Фейненберг ликует вовсю. – Один взгляд на твою задницу – и готов.

– Фейненберг, ради бога, заткнись. Ты знаешь мое плацебо, его осталось не так уж много.

– Твое что?

– Всё, проехали. Сестра, можно вас попросить? Да помогите же мне наконец!

Вслед за этим на похороны Анс ван Дёйн. На подъезде к кладбищу вижу человек тридцать-сорок и несколько блестящих черных «мерседесов». Еще одни похороны, думаю я, идя в сторону группы. Но когда я приближаюсь к ним, вперед выходит отец Анс. Он передает мне записку с текстом песни.

«*Abba, Vader, U alleen*<sup>[239]</sup>. Поем при погребении Анс ван Дёйн, 22 июня 1946–19 мая 1992».

Иду обратно к концу процессии и встречаю там Мике. Эти сорок человек просто бесят меня. Ни разу ни одного из них не видел я в Де Лифдеберге. По мне, лучше бы все они отправились по домам: «Примазались, что-то я не очень-то видел вас у больничной койки».

Мике рассказывает, что в последние годы для Анс всё труднее было принимать посетителей, приходивших «просто так», посмотреть на ее борьбу с этой гнусной болезнью, которая раз за разом пинала Анс, сбрасывая ее всё ниже и ниже, разрушая ее с каждым годом всё больше и больше, пока, ослепшая и парализованная, она не запросила выстрел из жалости. Нет, зрителям здесь не место. Многим из пришедших гораздо ближе родители Анс, чем она сама.

Когда все сошлись у могилы, нас попросили встать вокруг. Вижу, что и Яаарсма здесь. Мике тоже удивлена. Что ж, приятное удивление. Священник произносит время от времени прерываемые шумом уличного движения затасканные слова о вечной жизни, обещаниях

Иисуса и о том, что мы уйдем с кладбища не с пустыми руками, «иначе жизнь на нашей земле была бы пустой и ничтожной». Это звучит настолько бессмысленно, что я чуть не спросил его: «Всё ли у вас в порядке с головой? Не взглянуть ли нам еще раз в гроб для вящей уверенности?»

Может быть, всем нам следует месяца через три прийти сюда снова, заглянуть в гроб и увидеть, что же нам с кладбища взять домой.

Мы слишком быстро хороним своих мертвецов. Они еще слишком хорошо выглядят, о них еще можно что-то сказать. Вот завести бы еще и стеклянные крышки гроба и чтобы прихожане по очереди приходили их чистить?

Отрицание того, что труп это труп, может производить тягостное впечатление.

И всё же мы с Мике идем выпить кофе. Яарсмы не видно. Родители пожимают руки в толпе. Я не могу подавить в себе чувство враждебности и подойти к ним. Упиваются своим горем.

Вздрагиваю, когда ван Дёйн кладет мне на плечо свою руку: «Спасибо, что вы пришли».

«Да», – говорю я. Звучит смешно. Стараюсь побыстрее уйти. Как только оказываюсь снаружи, в этот невыразимо прекрасный весенний день, я еще раз возвращаюсь к могиле, словно пришла моя очередь сделать уборку. Все цветы сложены в сторонке, и рабочий занят тем, что засыпает могилу. Он сидит в крошечном экскаваторе, совершенно игрушечном, который доставил бы мне массу радостей, если бы я был мальчишкой. Лучше пусть он меня не видит, ибо прилично ли так скоро возвращаться обратно? Яма не слишком глубокая, и он справляется с ней довольно быстро. Получился песчаный холмик, лопатой он придает ему форму, напоминающую пирог. Затем кладет на холмик цветы, и с легким пофыркиваньем игрушечная машинка с водителем внутри удаляется.

Становится тихо. Я иду к могиле, крадучись, словно боюсь, что меня здесь застигнут, хотя вроде бы что здесь такого? Подойдя ближе, вижу – на ленте одного из букетов, которую этот человек немного расправил, написано: «Кеес».

«Кеес, ты идешь есть?» Бац!

Так вот оно и ведется у нас на земле. Поведай, что у тебя на сердце. И умри.



## Фантомная боль

После смерти Анс ван Дёйн нет спасения от привычной мигрени. Даже через несколько дней боль не утихает, но висит в голове – квазимигрень, которая не настолько грызет, чтобы вынудить лечь в постель, но достаточно тяжела, чтобы отравить тебе жизнь. Боль начинается, если держать голову прямо. Когда лежишь, всё в порядке. Возможно, подвижная опухоль мозга, рассуждаю я, которая при изменении положения замыкает пазухи мозга и вызывает боль (висячая эпендимома).

У меня всё чаще длительные головные боли, вплотную приблизившие меня к компьютерной томографии. Но Олденборх считает, что делать сканирование еще рано. Однако я нервничаю и уже дважды звонил ему.

– И что это по-твоему? – спрашивает он раздраженно.

– Разумеется, опухоль мозга, что же еще?

– Разумеется, как же иначе? Знаешь, хватит. Опрокинь-ка на ночь стаканчик и поройся у себя в шкафчике с опиатами. Нет, никакая инъекция тебе не нужна. Глоток коньяку, хорошая сигара, чуть-чуть петидина<sup>[240]</sup>, и будешь себя чувствовать, словно родился заново.

– Ну что ж, так и сделаю, – отвечаю я вяло.

Он думает, что я *waving*, а я *drowning*<sup>[241]</sup>.

Возвращаюсь на велосипеде домой, в голове мелькают все эти фразы. «Кто стольким жертвам помог найти дорогу к концу, теперь сам должен...» Ипохондрия: чуть кольнет – и слышишь погребальный звон колокола. Ask not for whom it tolls, it tolls for me!<sup>[242]</sup>

Мефроу Гейтенбеек, ту, что с цацками-мацками, недавно на переходе «зебра» сбила машина. Перелом лопатки, и очень серьезный. Из-за затруднений с дыханием она должна была даже провести ночь в палате интенсивной терапии, но потом всё наладилось, и сегодня я снова встречаю ее в полном здравии у постели ее мужа.

Ее реакция на случившееся: «Теперь ясно видно, что я всегда была хорошим человеком. Потому что у меня, как бы это сказать, всегда было чувство ответственности, я всегда делала свою работу, доктор».

Если бы я услышал такое от человека более оборотистого, меня бы это озадачило, но от нее – полностью обезоружило. Ее мысль сводилась к тому, что ведь она же не заслуживала не вполне оправиться от перелома. Оскар Уайлд возразил бы, что большинству из нас нисколько бы не понравилось, если бы мы получали то, что заслуживали.

На ее мужа и на то, что он получил, ее взгляды, впрочем, никоим образом не распространяются.

Головные боли не прекращаются. Словно Судьба решила: пусть и он сделает несколько шагов в сторону Смерти.

Да еще и ухмылка свыше: «...пожалуй, и для книги неплохо, если он сам тоже немного поумирает».

Всё, что я об умирании говорил умирающим, теперь возвращается ко мне с кислой гримасой и целый день звенит в голове: «Ах, но умирать же – это совсем просто, вроде бы засыпаешь, собственно что-то вроде обморока. Это даже не переходный глагол, так что не нужно ничего делать, лежишь себе совершенно спокойно. Не нужно слишком много думать об этом. Всё это не так уж и тяжело. Подумай о миллионах бедняг, которые делали это до тебя. Умирать совсем просто, быть мертвым еще проще. До того как ты родился, ты был мертв миллионы лет – ну и что? Ничего страшного».

Появляется Олденборх и пробует меня отвлечь. Наш первый больной – менеер Харинга, которому доктор Баккенс делал когда-то операцию на гипофизе и который теперь ослеп.

«Меня это не удивляет, – говорит Олденборх, – это был худший хирург во всей Голландии. Однажды мне довелось увидеть, как он за двадцать минут отправил пациентку на тот свет».

Я реагирую вымученной улыбкой. Его рассказ просто ужасен. «У женщины был энцефалит, и Баккенсу нужно было принять меры, чтобы снизить внутричерепное давление или что-то в этом роде. Операционная в полной готовности. Пациентка на операционном столе. Он сверлит первое отверстие в черепе. Ба! Фонтанчик крови. Очевидно, небольшая артерия. Ничего страшного. Сверлит второе отверстие. Чёрт! Снова изящный кровавый фонтанчик. В этот момент входит Опмеер, шеф, взглянуть, как идет операция. „Где ты, собственно, сверлишь, Герт?“ Оказывается, это был *sinus sagittalis*<sup>[243]</sup>.

Ну да, у нее был энцефалит, и они утешались шаблонным: „Кто его знает, от чего еще нужно было ее избавить?“».

Он пытается разъяснить понятие *инсульт*. Представь себе слабую фантомную боль, то, как она возникает, если защемлен всего один нерв: чувство, когда у тебя затекает нога, если долго сидишь, положив ногу на ногу. Теперь поднимемся вверх, в мозг, где из-за кортикального, лимбического или таламического инсульта возникает сравнимое нарушение (но намного более длительное, разветвленное, многослойное), стесненность в душе, в тебе самом. И как нога превращается в огромную неповоротливую портновскую подушечку для булавок, так же деформируется и то, что мы называем душой.

Инсульт как наихудшая фантомная боль.

За ланчем Яаарсма так подразделяет мужчин: «Те, кто охотятся за призраками; те, кто охотятся за юбками, и последняя категория – те, кто под юбками охотятся за призраками».

Де Гоoyer в годы своего студенчества однажды посетил в провинции врачебную практику отца одного из своих соучеников. В обед вбегают взволнованный отец: «Bechterew! Я нашел у него Bechterew! Чёрт возьми, уверен, что Bechterew!<sup>[244]</sup>»

Сравним с рассказом И. Ф. Стоуна<sup>[245]</sup> об одном репортере: «Надо же! Какая удача! Дом объят пламенем. Если я прав, много жертв, и я первым оказался здесь. Парни, это будет фантастический репортаж!»

Де Гоoyer рассказывает, что у его отца есть кредо-карта. Я ожидал объяснения, что его отец просто не знал, что такое кредитная карта, однако, оказывается, речь шла о заявлении об антиэвтаназии, в котором провозглашается: «...чтобы дали совсем пустой стакан».

Яаарсма реагирует слегка раздраженно: «Ну что ж, мы специально для него выскребем стакан до последней молекулы, предоставьте это нынешнему здравоохранению».

Ближе к полудню меня вызывают в отделение для престарелых к менееру Мейеру. В кровати под громадным портретом лежит девяностодвухлетний мужчина. Его бьет дрожь, хотя в палате не холодно, у него нет лихорадки, и у него ничего не болит. И всё же это какой-то приступ.

Чтобы завязать разговор, спрашиваю, кем написан портрет и кого он изображает. На портрете похожая на ангела девочка в ночной рубашонке. Она прижимает к себе плюшевого мишку. Портрет написан в 1937 году. Менеер Мейер с трудом произносит: «Не спрашивайте, о, этот июль, и как вы можете спрашивать?»

Колю ему валиум<sup>[246]</sup> и продолжаю обход. И только в коридоре Мике сможет мне объяснить, в чем дело. Сегодня, ровно пятьдесят лет назад, его дочь, изображенная на портрете, была убита в Аушвице. И я думаю: что́ это, как не попытка осмыслить – прожить пятьдесят лет под этим портретом.

Потом уже он сказал Мике: «И нужно же было доктору, как назло, начать с портрета».

«Да-а», – только и могла ответить Мике и сразу представила себе эту и впрямь такую большую картину.

– Ты знаешь, можно ли вообще такое осмыслить, если твоего ребенка убили в Аушвице?

– Нет, – отвечаю я, – вообще-то нет.

## Думать и задумываться

Впервые за много лет чуть не поругался с одной из медсестер. Из-за мефроу Схенк, ей 96 лет, деменция, упала, сломала шейку бедра, в больницу не направлена, но назначен морфин, чтобы уменьшить боль и облегчить конец.

Женщина спокойно лежит в постели. Она не ест и не пьет. Сестра Геа отказывается сделать ей укол морфина.

– Почему?

– Из-за моей веры.

– Может быть, ты не сочтешь за труд изложить свою веру, чтобы мы получили связный рассказ с заключительным выводом: поэтому я и не хочу сделать мефроу Схенк укол морфина?

– У меня нет надобности защищать здесь свою веру.

– Я вовсе не прошу тебя ее защищать. Я спрашиваю, во что ты, собственно, веришь?

– А зачем тебе это знать?

– Отвечаешь вопросом на вопрос, чтобы сменить тему? Спасибо, Геа. Вижу, разговаривать дальше не имеет смысла.

Как поясняет Мике, эти люди обеспокоены не болями, которые мучают мефроу Схенк, но возможностью получить потом взбучку от Бога за то, что, оставляя в стороне нюансы и всяческие хитроумные доводы, они приложат руку к приближению чьей-то смерти.

Так что лучше уж я поговорю с моей португалкой, с которой едва могу обменяться парой слов и которая уже несколько недель как находится здесь. У нее в печени метастазы неизвестной, угнездившейся где-то опухоли. Виллемс, домашний врач ее дочери, к которой она приехала в гости, уберег ее от медицинского насилия и постарался, чтобы она осталась у нас.

«Пациентка с метастазами в печени поставлена вне закона. Она обречена, поэтому каждый может с нею экспериментировать в полной уверенности, что ему ничего не грозит, потому что она не в состоянии протестовать из-за незнания языка», – объяснил он, приведя ее к нам.

Она едва говорит по-голландски, но я думаю, что всё-таки должен ей что-то сказать относительно ее ситуации. Она сообщает, что немного говорит по-английски, и я спрашиваю ее: «Do you realize what is the

matter with you? Do you know what's going on inside your body? Are you aware of your situation? Do you know what your problem is?»<sup>[247]</sup>

Она смотрит на меня с доброй улыбкой и говорит: «I die»<sup>[248]</sup>.

Когда я ухожу, она дает мне руку и говорит: «Please don't worry»<sup>[249]</sup>.

За ланчем Яаарсма, что бывает нечасто, распространяется о своей плотской природе: «Я уже почти сорок лет состою членом клуба *Стоп-мастурбация*. Никогда туда не хожу, но всё еще записан».

«Какой же ты всё-таки предусмотрительный тип», – со вздохом замечает Де Гоойер и рассказывает, как Яаарсма однажды утешил родственницу, упрямо настаивавшую на точном прогнозе для своего восьмидесятилетнего отца: «Думаю, бóльшую половину своей жизни ваш отец уже прожил».

«Ну, – говорит Яаарсма, – бывали еще более скандальные случаи подобных прогнозов». И рассказывает об одном разозленном коллеге, который на настойчивый вопрос: «Сколько моему отцу осталось жить?» – ответил язвительно: «Три года и два дня».

Я полностью согласен с Терборхом в том, чём люди религиозные отличаются от нерелигиозных. Религиозный человек верит, что, кроме того, что мы имеем дело с самими собой, есть еще кто-то (для Де Гоойера ЧТО-ТО) над/рядом/под нами. Предпочтительнее, разумеется, предлог НАД. Неверующие верят, что мы имеем дело только с самими собой.

«Итак, всё-таки есть ЧТО-ТО НАД нами», – умиротворенно резюмирует Де Гоойер. После этого он хочет перейти к душе, но я от этого уклоняюсь, потому что он всегда чувствует себя обиженным, если нам с ним не удастся прийти к согласию.

Если думать представить как *танцевать*, то он ступает свинцовыми башмаками на паркет и виснет на тебе, вместо того чтобы сделать несколько па вместе с партнером. И тогда получаешь такие непреклонные высказывания, как: «ДОЛЖНО быть что-то! На том стою!» Ну и чего же ты хочешь: танцевать или еще глубже врасти в землю?

Это *что-то*, за что он так держится, состоит, при более тщательном рассмотрении, из нескольких искаженных понятий с многовековой традицией ошибок и путаницы. И он вставляет это, чаще всего вверх ногами, в волшебный фонарь своего ума и думает, что видит Карлов

мост в Праге, тогда как на самом деле речь идет о первом издании *Titaantjes*<sup>[250]</sup>.

Он не понимает, что стряхнуть с себя традиционное представление в сфере духа – это прекрасно и может стать самым волнующим опытом всей нашей жизни. Он бы увидел тогда, что сбивающая с толку несвязанность понятий *душа* и *переживание смерти* или *Бог заботится о нас* способна быть всего лишь закопченными окнами, скрывающими от нас действительную непостижимость земной жизни: «Не как существуют вещи, но что они существуют».

Но столь далеко он, по-моему, не заходит.

Яаарсма: «Де Гоoyer, ты и вправду любишь думать о философских вопросах, но ты никогда не задумываешься *над* ними».

Хотя его никогда не поймаешь на формулировке, за которую можно было бы ухватиться, сам Яаарсма думает, что мы нечто вроде снов, которые видит вошь, живущая в волосах некоего Гигантского Существа. Другими словами, нечто Гигантское существует, но к нам это никакого отношения не имеет. Так он пытается высказать идею о том, что во вселенной существует нечто великое – и одновременно выразить представление об убожестве всей нашей здешней возни.

Этот пассаж из Лихтенберга<sup>[251]</sup> заставил меня подумать о Де Гоoyerе: «Es ist schwer anzugeben, wie wir zu den Begriffen gekommen sind, die wir jetzt besitzen: niemand, oder sehr wenige werden angeben können, wann sie den Herrn v. Leibniz zum erstenmal haben nennen hören; weit schwerer aber wird es noch sein, anzugeben, wann wir zum erstenmal zu dem Begriff gekommen, daß alle Menschen sterben müssen; wir erlangen ihn nicht so bald, als man wohl glauben sollte» [«Трудно сказать, как мы пришли к понятиям, которыми ныне располагаем: никто или весьма немногие смогут сказать, когда они впервые услышали имя господина фон Лейбница; однако будет намного труднее сказать, когда мы впервые пришли к понятию, что всем людям предстоит умереть; оно дается нам не так скоро, как следовало бы думать»].

Но представим себе шута, который, услышав подобный вопрос, задумывается: «Та-ак, и когда же всё это было, дай-ка подумать».

Виттгенштайн часто прибегает к помощи такого шута.

Глен Бакстер<sup>[252]</sup> просто подписывает свой рисунок: «The day Phoebe discovered man's mortality» [«День, в который Фиби открыла, что

человек смертен»].



## Катастрофилия

Катастрофилия: желание чего-то ужасного, чего-то, что ужасно высоко, ужасно далеко, ужасно грустно, ужасно низко, ужасно опасно, ужасно приятно, ужасно пугающе – лишь бы только ужасно. Это позднейшее ответвление инстинкта исследования молодых животных и важная движущая сила, которая многих врачей вовлекает в эту профессию. Это тяга мальчишки вскочить на велосипед и за оглушительно сигналящей пожарной машиной мчаться к месту пожара.

У менеера ван Рита рак кишечника. Диагноз поставили после недолгого пребывания в больнице из-за его растущей усталости. Его направили обратно в Де Лифдеберг, чтобы мы подумали о том, какие меры необходимо принять. Собственно говоря, нужна была операция, но он этого не хотел. Но и опухоли он тоже не хочет. Он отчаянно обороняется: «Почему я должен подчиняться вашим медицинским законам? Я не дам себя оперировать. Меня поймали в моем собственном теле, а с вашим диагнозом ваши медики загоняют меня еще дальше в острог. И куда меня это приведет, мой дорогой? Я имею в виду, где это кончится?»

– Думаю, что на кладбище.

– Это понятно. Но каким образом я туда попаду?

– Лучше без операции. Посмотрим, куда причалим.

– Думаю, что на кладбище.

Он сразу же начинает составлять заявление на эвтаназию. «Здесь есть также скапулярий<sup>[253]</sup> мне на шею, чтобы, если я отправлюсь в Зандфоорт<sup>[254]</sup>, меня не извлекали из моря, если чересчур далеко отважусь заплывать. Понимаешь?»

– Скапулярий, вы говорите? Вы по воспитанию католик?

– Конечно, конечно, но мой католицизм далеко отсюда, в шкафу на чердаке, который я когда-нибудь еще раз основательно расчищу.

Де Гоoyer был со своим сыном у домашнего врача. У ребенка воспаление миндалин, и он не переставая кашляет. Де Гоoyer думал:

сделаю всё как следует, не буду сам лечить собственного ребенка. После простукивания и прослушивания женщина-врач порекомендовала проконсультироваться у отоларинголога.

В ожидании консультации его послали за каплями и выдали рецепт, который он зажал в руке. До свидания, следующий, пожалуйста.

И только очутившись на улице, он увидел, что она выписала ему гомеопатическое средство. Он не хотел устраивать сцену, пока был с сыном. Поэтому сначала доставил его домой. Потом, горя праведным гневом, поехал на велосипеде обратно. Сам Де Гоoyer вовсе не прочь напустить метафизического туману, тем не менее к сути нашей профессии он подходит достаточно трезво.

В кабинете врач снова несколько удивленно с ним поздоровалась. Он сказал ей твердо, но не теряя самообладания: «Дорогая коллега, я требую, чтобы вы лечили моего ребенка, прибегая к методам, имеющим серьезную научную базу. Я никогда не давал вам повода заподозрить меня в каких бы то ни было симпатиях к Ханеманну<sup>[255]</sup> и его идеям, если позволительно их так называть, и не желаю подвергаться воздействию, основанному на этой бессмыслице».

Она считает, что он слишком уж раздражается.

«Да, – подтверждает Де Гоoyer, – возможно, следующий пример вам объяснит почему. Представьте себе, что вы привели ко мне свою мать с переломом шейки бедра. В ожидании хирурга, который придет только завтра, я даю вам пузырек с водой из Лурда. Думаю, вы бы сказали: „Ты что, спятил? Что ты себе думаешь? Шут гороховый!“».

Она считает, что я захожу слишком далеко.

«Ничуть. Хочу сказать только две вещи. Вычеркните меня и мою семью из своей картотеки. Прошу меня извинить, но в связи с этим я подам жалобу. Я считаю, что вы подрываете доверие к врачебному сословию».

Впрочем, подавать жалобу его жене не хотелось, и она совсем не была уверена, что следовало бы поискать другого домашнего врача.

На плакате внизу в холле перечисляются услуги Центра, находящегося по соседству:

– Виллем Бейзеком: гипнотерапия и нейролингвистическое программирование.

– Ольга Рейкилентра: эскулап исцеления и здоровья.

- Аафке Стемердинг: советы относительно энергетики пирамид.
- Геерд Беземер: терапия реинкарнации.

Наше тело – как последнее прибежище, куда сбегаются разодранные в клочья стародавние картины мира. Но альтернативных автомехаников почему-то не существует.

Олденборх рассказывает о докторе Де Вите, молодом терапевте, который недавно принял практику от своего более пожилого коллеги. Предшественник Де Вита увлекался синдромом Шёгрена<sup>[256]</sup>, и у него было определенное число пациентов с этим заболеванием. Де Вит снова осмотрел их и при детальном обследовании убедился, что многие из них этой болезнью не страдают. Он отменил далеко не безопасную терапию. Среди тех, кто, как оказалось, вовсе не болен, находится председательница Общества Шёгрена-пациентов. Женщина в бешенстве. Злится на прежнего врача, который ошибочно и т. д.? Вовсе нет. Виноват Де Вит. Она требует свою болезнь обратно.

## Исследование рака и заклинание дождя

Каждое вскрытие – это Магритт, который совсем отбился от рук: вместо эвокативного соседства частей человеческого тела, включая присутствие прозектора, нечто нарубленное, чем быстро заполняют лоток.

Это могло бы, пожалуй, чем-то казаться, но тогда оттуда должны были бы торчать по меньшей мере глаз кролика или, скажем, яркое перо попугая.

Терборх терпеть не может того, что врачи думают, что могут занять место священников.

– Не бойся, Хендрик: пока твоя фирма выступает с лучшими результатами на рынке Улучшения Собственной Судьбы, вы идете с нами ноздря в ноздю.

– Но ты же сам всегда говоришь, что врачи ничего или почти ничего не могут.

– Ну да, однако речь не о том, что мы можем. Речь о том, что люди думают, что мы можем: почти Всё. Пиар у нас пока что вне конкуренции. При наличии веры, что мы всё можем, нам не нужно предъявлять никаких достижений. Каждый вносит в это свой вклад. На прошлой неделе я видел в тележурнале, что снова достигнут колоссальный прогресс в борьбе против рака. Явная чушь, которую слышишь чуть ли не каждый месяц. Исследование рака уже 30–40 лет стоит на грани Большого Прорыва, и самое замечательное, что все в это верят, хотя никакого прорыва так и не было сделано.

– Я в это не верю.

– Ты так думаешь? Ты тоже в это веришь и при этом не можешь отличить исследование рака от заклинания дождя. А ведь ты сам недавно читал в *Libelle*<sup>[257]</sup>, что в настоящее время 50 % видов рака могут излечиваться.

– Да, там это действительно было написано.

– Конечно было. *Libelle* уже не один год на нас работает. Они, впрочем, не сообщают, каков был процент излечений в 1950 году. Я тоже точно не знаю, но вряд ли он сильно отличался от этого.

## Катастрофилия у Беккетта

A terrible screech of brakes rent the air, followed by a scream and a resounding crash. Mercier and Camier made a rush (after a moment's hesitation) for the open street and were rewarded by the vision, soon hidden by a concourse of gapers, of a big fat woman writhing feebly on the ground. The disorder of her dress revealed an amazing mass of billowing underclothes, originally white in colour. Her lifeblood, streaming from one or more wounds, had already reached the gutter.

– Ah, said Mercier, that's what I needed, I feel a new man already.

He was in fact transfigured.

– Let this be a lesson to us, said Camier.

– Meaning? said Mercier.

– Never to despair, said Camier, or lose faith in life.

– Ah, said Mercier with relief, I was afraid you meant something else.

As they went their way an ambulance passed, speeding towards the scene of the mishap<sup>[258]</sup>.

К концу дня иду к Грете. Стучу в дверь и сразу вхожу. Она сидит в своем инвалидном кресле у окна, и ван Рит в своем кресле рядом с нею. В тот момент, когда я вхожу, они разлетаются в стороны, насколько это возможно в креслах-колясках, и лукаво на меня поглядывают.

Небольшая заминка, и я снова во всеоружии: «Можете ничего не рассказывать, и так вижу. Попали в сети романтики? А знают ли об этом ваши родители? А знаешь ли ты, Грета, что этот человек уже много лет не заглядывал в церковь? А ты, ван Рит, думаешь, что пред тобой белая невеста?»<sup>[259]</sup> Позор всему нашему дому! Давайте-ка лучше выпьем, пока не поздно».

– Посмотри-ка, мы еще не такие старые, – говорит Грета.

Ван Рит что-то читает вслух, и я должен решить, откуда отрывок. Коварная затея, особенно если очень хочется не ошибиться.

– Вот слушай: «Я был счастлив и дочитал до того замечательного места, когда все окружили мертвого тигра и сторож приносит известие, что лев улегся на солнце подле руин»<sup>[260]</sup>. Ну, откуда это?

Мне кажется, что это Карл Май<sup>[261]</sup>, одна из книг Кара-бен-Немзи.

– Нет, это из Эккерманна, *Разговоры с Гёте*. 15 января 1827 года Гёте дал прочитать Эккерманну свою новую новеллу. Впрочем, *Разговоры с Эккерманном* Гёте я тоже с удовольствием почитал бы.

И только по дороге домой я опять думаю о том, что у него рак кишечника.

## Божественность Александра

Люди охотно смотрят друг на друга сверху вниз. Особенно врачи. Хирург с удовольствием поливает психиатра, до тех пор пока сам не впадет в депрессию или не сделается импотентом; терапевт – дерматолога, пока у его дочери не обнаружится псориаз; невролог – домашнего врача, до тех пор пока его жена не захочет умереть у себя дома. Убеждение, что все остальные халтурщики, сильнее всего распространено среди дантистов.

Сегодня в первый раз показываю моему новому зубному врачу свои зубы, или то, что еще от них осталось. Она испуганно вскрикивает, потом тяжело вздыхает и с состраданием на меня смотрит. В ее глазах я читаю: «Господи, и кто же это здесь поработал?» Такого стресса я не переживал ни в одном врачебном кабинете.

В комнате ожидания на стене висит на вешалке, вероятно, раза в полтора увеличенное Деревянное Пальто. Скульптура, надо полагать.

Хотя зубные врачи действуют в значительном отдалении от могилы, но неужели столь далеко, что размеры гробов им неизвестны? Деревянный бушлат?

Пытаюсь это обдумать и тут же получаю ответ, ибо стоило мне воззрится на это пальто, как она восклицает: «Классная вещь, вы не находите? Правда, забавно?»

В Де Лифдеберге сначала иду к моей португалке. Еще раз пытаюсь сказать ей о серьезности ее состояния, но она хватает меня за руку и говорит: «I like you come. Please don't talk die»<sup>[262]</sup>.

«Он когда-нибудь бывает серьезным?» – слышу я чьи-то слова, сказанные обо мне. Непостижимо, до чего интересно услышать чужое мнение о себе. Даже если оно сложилось в чьих-то куриных мозгах. А, это опять Геа, которая из-за своей веры и т. д.

Не могу удержаться, чтобы не сказать: «Дорогая Геа, есть две вещи, которые ты должна запомнить о Боге».

– О Боге?

– Первая: Его не существует. И вторая: Он никогда не шутит. И это справедливо для всех недотеп, которые существуют еще в меньшей степени; которые слоняются в отдалении от края Смерти, что называется – по самой середке, и которые прекрасно усвоили, что всё сводится к тому, чтобы появиться на свет, опостылеть самим себе и загнуться. Они никогда не смеются.

Восседаешь на насесте в курятнике и разглагольствуешь, дабы углубить собственные извилины.

Ван Рит читает что-то вслух из Тухольского. На этот раз мне не нужно отгадывать. «Услыхав фразу: „Есть Бог“ или: „Кит рождает живого детеныша“, – большинство из нас ничего не могут себе представить. Они выучили это в школе, и так оно в них и засело».

Не могу не рассмеяться. Он захлопывает книгу и решает тотчас же дать ее мне. «Хочешь почитать? Вот, бери. Мне будет приятно, если оставишь ее себе. На память».

– Sorry, мне это было бы нелегко. Не хочу, чтобы это было «посмертно». Не нужно.

– Ну, тогда я дам тебе ее почитать, а ты просто забудешь ее вернуть. Так будет лучше?

– О, с удовольствием.

Терпеть не могу этих подарков *бери-спокойно-всё-равно-я-умираю*. Они вызывают чувство, что ты хочешь ускорить чью-то смерть, потому что только *post factum* действительно можешь считать это подарком. И все недели и месяцы, предшествующие концу, эта вещь пронзительно кричит: он еще не умер; я еще не твоя.

Ван Рит задается вопросом: «Откуда известно о новой „тойоте“, что это новая модель, а не забытая разработка 1963 года, которую извлекли из подвала?» Что касается его собственной ситуации, здесь он уже не так уверен. «Во всяком случае ясно, что меня они не только что извлекли из подвала. Но как я попаду туда обратно? Как снова очутиться в забвении?»

Вначале он опасался, что лечение загонит его глубже в подпол собственного тела, как он выразился. Но теперь он чувствует свое тело всё более тяжелой одеждой.

«Сплю плохо. С тех пор как ты сказал, что у меня рак кишечника, стою на страже где-то в глубине самого себя. Особенно ночью, когда



уже начинаешь засыпать. Напряженно вслушиваюсь тогда во все эти шорохи, в то, как что-то шуршит, бормочет, урчит, вздыхает в тысячах закоулков моего тела, и знаю, что где-то там, среди всего этого, не смолкает тяжелая поступь».

Еда для него утратила всякий вкус, ему стало неудобно лежать в любом положении, у него колющие боли в животе, возобновилась тяжесть в груди, стул твердый, как камень («из-за твоего морфина»), и к тому же эта смертельная усталость. С него достаточно.

«Даже при виде пролетающих мимо птиц думаю: „Господи, да присядь же, пташка, не хлопочи, не утомляй меня так своей хлопотней“. Понимаешь? Теперь тебе, конечно, приходит на ум: почему он не положит всему конец? Но так далеко я не захожу. Я должен немного думать о Греет. И сейчас, когда мы с тобой здесь болтаем, мне кажется: „Нет, нет, отложу еще на немного“. Как потвоему?»

«По мне, так всё правильно. Я бы это знал, если бы у меня был выбор: или потихоньку скатиться в могилу – или подойти к ее краю и спрыгнуть».

«И всё же скатиться? Знаешь, я скатываюсь, потому что я... Давай-ка я расскажу тебе замечательную историю. Найдешь еще минутку-другую? Про смерть Александра. Было это в Вавилоне. В ночь своей смерти он лежал один в своем шатре и знал: „Я ухожу“. Желая убедить всех в своей божественности и заставить поверить, что он со своим телом и всем прочим вознесся на небо, – ночью, смертельно больной, потащился на берег Евфрата, чтоб утопиться. Его тело подхватило бы течение, и его никогда не нашли бы. Когда ценой невероятных усилий он добрался до берега, там стоял Аполлон. Молча указал он Александру путь обратно к шатру, где он этой же ночью и умер. Ну и что ты думаешь по этому поводу?»

«Я бы сказал: „Добро пожаловать к нам, Алекс!“».

Рассматриваю изображение мозга трехмесячного человеческого плода. Бросается в глаза, что наш мозг вначале вовсе не так сильно покрыт извилинами. Как только начинается встреча с миром, появляются бороздки, складки, извилины: он становится похож на высохшее яблоко. В конце пути, во всяком случае если речь идет о

деменции, складки немного выравниваются и внешне мозг снова выглядит более гладким.

Словно мир слегка подсушивает начинающую неиспорченную душу, так что она, сморщившись, стягивается, чтобы спустя 80 лет снова расслабиться. В точности тот самый вздор про «всё-таки что-то есть», с чем никогда не встретишься, – разве что в каком-нибудь стихотворении, возглашающем самые безумные альтернативы.

## Письма Дональду

Умирает менеер Доррестейн. Ко мне подходит его дочь, чтобы что-то спросить. Торопливо говорит, как в тех случаях, когда спешно хотят выяснить какую-то важную деталь. «У мужчин – или у женщин сначала холодеет верх, а потом низ?»

Я осторожно выражаю мнение, что это вряд ли имеет значение. И только спустя какое-то время до меня доходит, до чего это был идиотский вопрос. Допустим, мужчины холодеют сверху, а ее отец стал холодеть снизу, что тогда? Он оказался бы женщиной?

Думаю, ее вопрос означал: «Я так хорошо ухаживаю за папой, так слежу, что аж с ног валюсь».

Примерно через час, когда ее отец уже умер, она говорит: «Теперь нужно открыть окно, да? Так полагается?»

Я было подумал, что она опасается запаха, но дело не в этом. Итак, я говорю «да» и добавляю, что это старинный обычай, в основе которого лежит идея, что душа тем самым получает возможность вылететь из комнаты через окно.

Как только я сказал, с какой целью нужно было открыть окно, от волшебства ничего не осталось. Ужасно глупо с моей стороны. Минут через десять она опять мне звонит: «А рот, разве его не нужно закрыть? А то потом ведь уже не закроешь».

К счастью, на сей раз я несведущ в том, ради чего нужно его поскорее закрыть.

Яаарсма говорит, что часть этой семьи, должно быть, многие годы прожила в отдаленном крестьянском хозяйстве. Былые столетия задерживаются там надолго.

Ван Рит много времени проводит перед окном и заявляет сегодня: «Птицы недостойны полета». Он наблюдал за изящно пританцовывающей вдали чайкой, которая вскоре пролетела мимо в планирующем полете и на которую просто скучно было смотреть.

Он сильно сдал. Очень устает, едва может встать с постели.

Опять Хендрик и Библия. Или лучше – Бог, Библия и Хендрик. На сей раз он спрашивает, как бы я описал взаимодействие между Богом и людьми – ведь не буду же я отрицать, что многие говорят или думают,

что такое взаимодействие существует. Действительно, на земле есть миллионы людей, которые молятся и приносят жертвы.

«Но это говорит нам только о том, насколько легко люди отваживаются сделать скачок от *Господи, помоги нам* к *Господь помогает нам*».

Сравним Бога и Библию с Дональдом Даком<sup>[263]</sup> и еженедельной газетой того же названия. Да, да, можешь смеяться. Ну а теперь серьезно. Я с превеликим удовольствием уселся бы в его маленький автомобиль, с одним племянником впереди и двумя на откидных сиденьях сзади. Я бы с удовольствием проехался с ним из Дакбурга в лесок, на пикник, где Дональд достает из корзины гору чудесных булочек вместе с ароматными пончиками. Понимаешь? Я бы помогал ему в его неравной борьбе с этим напыщенным щеголем Глэдстоуном Гандером и в скучных перепалках с Дейзи Дак. Но различие между библейским Богом и селезнем Дональдом состоит в том, что у меня никогда не возникла бы мысль позвонить Дональду или попросить у него совета, и именно потому, что не думаю, что у него достанет на это мудрости.

Люди хотят так или иначе приблизиться к библейскому Богу. Но никогда не пытайся – как посторонний – прояснить для себя, можно ли дозвониться до Бога; это полностью скрыто в тумане. Однако контакт возможен. Теологи хорошо знают, как это делается.

Для детей это возможно и с Дональдом Даком. Существует еженедельная рубрика *Дорогой Дональд*, где они обо всем ему пишут.

– И ты видишь в религии вид... э-э...

– Писем Дональду. Не могу смотреть на это иначе. Разумеется, и *письма* и *Дональда* можно отполировать до блеска, но суть от этого не меняется.

На мгновение он лишается дара речи. К счастью, как раз раздается сигнал моего пейджера.

– Sorry, Хендрик, я должен идти. Я прекрасно понимаю, что тебе это небезразлично, но сейчас, право, у меня больше нет времени. Давай в следующий раз продолжим разговор прямо с этого места? И подумай о том, что если ты упомянешь Левинаса<sup>[264]</sup>, я стану кричать.

– Отыди, Сатана! Ибо написано: «Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя? Не будь

слишком безумен: зачем тебе умирать не в свое время?»<sup>[265]</sup>

Иногда кажется, одно смертное ложе – и больше я уже за один день переварить не смогу. Из-за того что я всё время кручусь около Греет и ван Рита, я почти забыл Долфа. Ему 43 года и он уже несколько лет болен СПИДом. Месяцев десять тому назад он просил сначала своего домашнего врача, потом своего терапевта, потом своего невролога и, наконец, своего психиатра об эвтаназии. Все они сказали: «Нет, ты еще слишком хорошо себя чувствуешь».

Теперь он просит меня, и мой ответ его старшей сестре: «Нет, он уже слишком плох».

«Сначала слишком хорошо, потом слишком плохо. Что за игра? Скажите на милость, как еще не старому человеку правильно рассчитать момент своей гибели, чтобы в нужное время воззвать к вам? Кто знает точку, в которой должны пересечься его муки и его рассудок – одни всё увеличиваясь, другой всё уменьшаясь? Существует ли относительно этого единство мнений? Вы всегда создавали впечатление, что с вами можно будет заговорить об эвтаназии. Но теперь, когда дело дошло до точки, вы уходите в сторону».

И всё же теперь и правда нельзя, потому что внутренне Долф настолько исеяк, что на все вопросы, с каким-то странным нажимом, отвечает: «Да, точно, именно так».

Он говорит это, если его спрашивают: «Теперь, когда ты чувствуешь, что уходят последние силы, ты хотел бы положить этому конец?»

– Да, точно, именно так.

– И как только ты узнал, что ты – дочь папы римского, ты больше не хочешь питаться в жилом фургоне, это так?

– Да, точно, именно так.

Это напоминает мне рассказ о лошади, умевшей считать. Долф реагирует на интонацию фразы и уже после первых трех слов знает, что именно спрашивающий хочет услышать: *да* или *нет*. В результате получается:

«И тогда выходит, что ты...» – взглянув на твое лицо, он уже перебивает тебя:

– Да, точно, именно так.

Менеер Виллемарс, почтенный старый господин, которому 91 год, у которого очень плохо с ногами да и мозги несколько подзапылились, говорит о себе: «Я прожил очень интересную жизнь» – и предостерегающе поднимает при этом указательный палец. Звучит это как «моя жизнь показалась бы вам невероятно захватывающей, это ясно, а ваша жизнь – сплошное ничтожество».

Его племянник тут же подхватывает: «Это и правда очень интересный человек, он прожил интересную жизнь. Он был одним из ведущих теософов своего времени. Я как раз сейчас пишу книгу о нем». И укоризненно добавляет: «Могу вас заверить, что этого – попасть в дом милосердия – он никогда не хотел».

Его дочь тоже превозносит интересную жизнь отца и укоризненно высказывается о приеме в дом милосердия.

Вероятно, глупо с моей стороны, но я не могу не откликнуться: «Ваш отец, ведущий он теософ или нет, начиная с 70, 75, 80, 90 лет имел достаточно времени, чтобы всё яснее видеть приближение старости. Если бы он не хотел того, что сейчас, он должен был бы заранее принять меры, чтобы завершить свою жизнь. То, что он этого не сделал, его вольная воля и не дает оснований для упреков в мой адрес».

Старость жестока, особенно глубокая старость: это ловушка, в которую попадаешь совсем незаметно. Но когда захочешь повернуть назад, оказывается, что она давно захлопнулась, а ты этого не услышал.

Никто не может ответить на вопрос, когда же следует закончить свою жизнь, чтобы не оказаться в ловушке. Например, нужно ли сделать это за десять минут до того, как с вами случится роковое кровоизлияние в мозг, или за год до того, как развившееся слабоумие приведет к тому, что вы уже не будете знать, что именно вы хотите закончить. Короче говоря, нужный момент можно установить только тогда, когда это уже слишком поздно.

Одно из решений – в том, чтобы при наступлении восьмидесятилетия сказать: «Это было прекрасно, а теперь я ухожу». Но большинство из нас до такой степени алчны, когда дело касается продолжения жизни, что мы ни за что на свете не позволим отнять у

нас последние, часто достаточно тусклые, а то и откровенно паскудные пять-десять лет.

Де Гоoyer сравнивает возможность рассчитать этот последний момент с продажей акций. Их следует продавать, пока курс их растет, пусть весьма незначительно. Ждать, пока они достигнут максимальной стоимости, слишком рискованно, ибо никогда нельзя предсказать, когда пик будет достигнут, и может случиться, что вам придется продавать акции, когда их рынок обрушится.

Если ждать единственного, последнего ограничения, которое позволит принять окончательное решение, возрастает опасность, что этим последним ограничением будет как раз нарушение вашей способности положить конец своей жизни.

Меня всегда раздражает тон, каким люди произносят: «Он совсем этого не хотел». При этом они имеют в виду, что он вовсе не такой уж тьюфяк, сопровождая эти слова сострадательной улыбкой по адресу 36 000 прочих голландских пациентов домов по уходу, которые позволили себе дойти до подобного состояния.

Но вернемся к Долфу и к лошади, которая умела считать. История разыгрывается в XIX веке, на каком-то деревенском празднике. Там присутствует кто-то из известных биологов, забыл его имя. Итак, лошадь, которая умела считать. У лошади спрашивают: сколько будет 12 минус 5? И лошадь 7 раз бьет в землю копытом.

Как такое могло быть? А вот как. Йоахим, не то слуга, не то конюх, не то владелец, всегда стоял рядом с лошастью, и, когда лошадь ударяла копытом нужное число раз, он или облегченно вздыхал, или переступал с ноги на ногу, или вытирал себе лоб, то есть подавал один из сигналов, которые лошадь прекрасно знала, сопровождая это поощрением в виде кусочка сахара, – далее см. у Павлова.

Присутствовавший биолог это увидел и попросил Йоахима стать за стеной.

Урок арифметики на этом закончился.

Так же и с Долфом и его способностью считывать желаемое *да* или *нет* по интонации и выражению лица спрашивающего.

У консультирующего у нас психиатра спрашиваю без особой надежды, что он может сказать о внутренней жизни нашего Долфа. Ответ гласит: «Безвидна и пуста, коллега, и ничто не носится во тьме над водой»<sup>[266]</sup>.

## Анатомия повседневной жизни

Анатомические рисунки Леонардо да Винчи так поражают нас потому, что, кажется, основываются на концепциях, которых у него еще не было. Изображение мышц такими, какими мы их видим, не так удивляет, поскольку ему была известна структура утолщающихся и укорачивающихся связок, натянутых, словно струны, на части скелета. Но то, что такие органы, как аорта, *vena cava* [полая вена], почки и отчасти даже сердце и печень он увидел почти такими же, какими видим их мы, уже не очень понятно. Что кровеносные сосуды – это толстые или тонкие трубки, знали анатомы его времени, но Леонардо рисует их как те полые трубочки, которые с такой точностью можно было видеть только после Гарвея<sup>[267]</sup>.

Поясним: обратите внимание на понятия из анатомии, которыми пользуются в мясной лавке. Сопоставьте незначительные кусочки, попадающиеся на частях разделанной курицы (почти всегда печень и сердце). На карбонате с ребрами, бараньих котлетах с косточкой часто бывают видны, со стороны позвонков, крупные сосуды и нервы и кусочек межпозвоночного диска. *Anatomie des Alltagslebens* [Анатомия повседневной жизни].

Хотя вовсе не ожидаешь, что Леонардо будет смотреть на труп взглядом мясника, шаг от подобного видения до его рисунков все-таки слишком велик.

Это становится ясно на первом же практическом занятии по анатомии, когда при вскрытии в животе не видно вообще ничего такого, что обещает анатомический атлас. Наглядной арматуры мы не увидим: артерии – никакие не толстые красные трубки, сосуды не голубые, нервы не желтые. Всё, что открывается первому взгляду, – неразличимое клейкое месиво.

Ван Рит каждое утро звонит Грее, через две палаты от его собственной, как только думает, что она уже проснулась. Я вхожу как раз во время такого звонка. «Всё хорошо. Ну да, умираю, но умираю хорошо. И потому, что Антон дает мне морфин».



Он действительно лежит на матрасе из валиума<sup>[268]</sup>, укрытый морфином, и смотрит на прекрасные светлые дали осеннего неба. «Ну, Швейцер, знаешь, не так уж и плохо умирать. В общем-то, я не против».

Когда я вхожу – «телозависимый», «служитель плоти», как он меня называет, – он считает своим долгом подать мне рапорт о своем состоянии, как солдат своему сержанту. Моча, стул, пища, кашель, боли. Только после этого я могу убрать свой стетоскоп, я вижу светлые прогалы осеннего неба, и он рассказывает сцену из своего сна.

«Генералы не стреляют друг в друга. И всё же мне захотелось получше разглядеть поле битвы в собственном теле. Я чувствую, как во мне полчища солдат бегут навстречу друг другу, они бешено рубятся и стреляют друг в друга, поражая так же часто своих, как и врагов. Я бессильно витаю над всей этой сценой и разыскиваю в хаосе боя Наполеона и Веллингтона в надежде, что хотя бы эти двое среди общей неразберихи стоят где-нибудь друг против друга, глядя друг на друга в упор и нацелив пистолет в грудь противнику, чтобы решительно изменить ход сражения. Но когда я наконец замечаю Наполеона, он сидит в рощице позади Жозефины, *ne te lave pas*<sup>[269]</sup>, а Веллингтон играет *croquet on a lawn* [в крокет на лужайке], и я хочу им крикнуть: „Сражайтесь же, чёрт возьми! В бой!“ Но они не могут меня услышать».

Он в хорошем настроении и хочет от меня узнать, как, собственно, возникает рак.

– С научной точки зрения и прямо сейчас?

– Да, всё же с научной, но с объяснением.

– Месяцы или годы тому назад та или иная молекула белка в одной из клеток кишечника села мимо стула и, падая, повалила еще несколько других, что в ДНК вызвало нечто вроде инсульта, в результате которого одна из клеток озверела и превратилась в чудовище. Приблизительно так.

– Вот-вот, – он криво усмехается, – и нечего было спрашивать.

Ближе к вечеру захожу к Грете. Ван Рит опять встал с кровати, уютно устроился и потягивает из стаканчика. Он вспоминает прошлое. В 1950-х годах он некоторое время работал в NASA. Участвовал в разработке так называемой куриной пушки. Для проверки, могут ли

птицы причинить ущерб самолету, был создан аппарат, который со скоростью 800 километров в час выстреливал умерщвленной, но покрытой перьями курицей по стоявшему «фоккеру». Мы все трое вымученно усмехнулись. Ван Риту стоило определенных усилий убедить фермеров из окрестностей, что ему нужны неоципаные мертвые куры. Некоторые отказывались, так как считали такие опыты этически неприемлемыми.

До войны он занимался банковским делом и некоторое время работал финансовым представителем торговой компании в Калькутте и одновременно представителем KLM<sup>[270]</sup>. Калькутта была в то время промежуточной остановкой для первых пилотов KLM, которые летали на самолетах Fokker F XII или Fokker F XIII и осуществляли почтовую связь между Амстердамом и Батавией. Самолетам давали названия индонезийских птиц: Голубь, Ястреб или Жаворонок. Однажды на одной из таких машин подняли в воздух индийского поэта и философа Рабиндраната Тагора.

Будучи представителем KLM, ван Рит должен был заботиться о размещении экипажа и иногда проводил вечер с пилотами. Однажды им нужно было вылетать очень рано, и они попросили его выехать на своей машине на летное поле, чтобы освещать автомобильными фарами взлетную полосу.

«И вот я трясусь в своем „моррисе“, подъезжаю к концу взлетной полосы, разворачиваюсь, останавливаюсь с зажженными фарами и спокойно жду. Естественно, вечером я много выпил, мало спал и сейчас, в предрассветных сумерках, находился в паскудном состоянии похмелья. И только увидев бешено мчащийся прямо на меня самолет, я вспомнил инструкцию: поставить машину около взлетной полосы, а не на нее; и когда самолет прямо над повинной моей головой прорезал воздух, сквозь рев моторов я вроде бы услышал громовое: „Мудак!“ – и с этим словом и размахивая кулаками они растворились в небе. Это были хорошие парни, похоже, всех их оторвали от теннисного корта в Вассенааре<sup>[271]</sup> в конце тридцатых годов».

Разговор с сыном менеера Ункаута. Отцу 92 года, его поразило тот злосчастный инсульт, при котором спрашиваешь, почему Бог, Провидение, Природа или Судьба настолько спустя рукава берутся за дело. Человек как личность совершенно разрушен, но дышит, глотает,

мочится, испражняется и при кормлении через зонд может прожить еще год.

Но никто этого не желает, и вот минуту-другую мы с сыном говорим обиняками о сложившейся ситуации, пока наконец он не сообщает: «У меня заявление отца на эвтаназию. Вы можете что-то сделать?»

В коротеньком скетче дальнейшее могло бы выглядеть следующим образом: «Заявление на эвтаназию? Так что же вы сразу не сказали? Циска, переведите пациента в отдельную палату. Хенк, принеси морфин. Корри, позвони в похоронное бюро. Ну а вам, сударь, всего хорошего!»

Что, не так? Пожалуй, что так. Но не так сразу.

## Почему я?

Сидел допоздна, дочитывая биографию Китса. Мне всегда казалось, что Китс писал стихи, временами неважно себя чувствовал, но всё же писал и внезапно умер. Я не знал, что последний год жизни был для него годом бесконечных страданий. Китсу не дано было умереть, не испытав жестоких мучений. В самом деле, по-видимому, все свои последние месяцы он влачился к могиле – с убийственным сознанием приближения к цели. Для меня было новостью, что не раз он хотел расстаться с жизнью. Так же как и то, что Северн, остававшийся с ним до конца, неизменно отказывал ему в увеличении дозы.

О последних днях Китса в феврале 1821 года Гиттингс<sup>[272]</sup> пишет: «His thoughts now were almost all of Severn's ordeal at seeing him die: „Did you ever see anyone die?“ he asked, „well then I pity you poor Severn“: then, reassuring, „Now you must be firm for it will not last long“. He specially cautioned Severn not to inhale his dying breaths. His horror and disappointment when he woke from sleep to find himself still alive was great, and he cried bitterly; but soon he became calm again. On the night of 21 February he seemed to be going, and asked Severn to lift him up to ease the pain of the coughing that racked him. Still he lingered for a day or two more. Throughout Friday 23 February, the nurse stayed in the house for Severn to snatch some sleep; but at four in the afternoon, Keats called to him, „Severn – Severn – lift me up for I am dying – I shall die easy – don't be frightened – thank God it has come“. It had not quite come yet. For seven hours he lay in his friend's arms, clasping his hand. He breathed with great difficulty, but he seemed calm and without pain. Only once, when a great sweat came over him, he whispered, „Don't breathe on me – it comes like ice“. At eleven o'clock that night he died as quietly as if he were going to sleep»<sup>[273]</sup>.

Со всем этим ужасом у себя в голове я лег спать. Когда я утром проснулся, голова моя была полна черепков и меня не оставляло чувство странной опустошающей скорби по Китсу.

Ван Рит – первый пациент, к которому я захожу в это утро. Как только я просовываю голову в открытую дверь, он тут же говорит:

«Заходи. Я еще тут».

Подойдя ближе, вижу, как быстро произошло ухудшение. И он видит, что мне всё понятно.

– Дошел до точки. Утром приходится собирать себя по частям, и кажется, что какие-то части каждую ночь оказываются всё дальше и дальше, так что, проснувшись, думаешь: они от меня больше не зависят, у меня уже нет на них сил.

Рассказываю ван Риту о последних днях Китса и, не замечая этого, начинаю говорить уже и о его близящейся смерти: «Ты оглядываешься назад, на свою прекрасную жизнь. Ты добился почти всего, чего хотел; ты умираешь действительно в конце пути, и не в коме, а где-то в середине неожиданного приключения. Юность, зрелые годы, старость, ты смог всё это испытать», и так далее и тому подобное. Я словно закусил удила.

– Постой, постой. Я вижу, мне нужно из черепков его смерти склеить вполне сносную урну<sup>[274]</sup>, чтобы я умер измученный, но полностью удовлетворенный. Так?

И я чувствую, что попался.

Яарсма предупреждает дежурного врача относительно мефроу ван Поппел. «Чтобы заглушить тайное удовлетворение от смерти своего мужа, она будет преследовать нас вплоть до врат ада, если мы не переведем его в отделение интенсивной терапии или не положим под нож хирурга, который решится из-за нее на отчаянную операцию; или не подключим к аппарату искусственного дыхания, или не подвергнем исследованию на томографе. Всё лучше, чем чтобы он по собственной инициативе ускользнул от нас к вечеру в воскресенье. Пусть менеера Поппела, если возникнут проблемы, переведут в другое место, а там посмотрим. До понедельника!»

И, подмигнув, обращается ко мне: «Ведь примерно так действует алхимия любви, Антон?»

Альтернативная медицина во всей своей неопределенности исходит из того, что люди сами вызывают свои болезни и должны упрекать в этом самих себя. Собственная доля в причинах болезни не есть нечто понятное, как, например, связь между курением и раком легких, нет, это лежит гораздо «глубже» – «за» курением находится нечто, могущее

с таким же успехом привести к циррозу печени. Идея состоит в том, что мы тем или иным способом проникаем к себе в трюм и где-то в глубине что-то там повреждаем.

Не знаю, что более абсурдно: представление, что рак легких возникает просто так, или что мы сами его вызываем.

Я решаю в пользу «просто так», но не потому что это менее абсурдно.

Однако человек, заболев, ищет собственное объяснение, почему именно его настигла болезнь. Это больше всего бросается в глаза, и здесь есть тысячи вариантов.

Одна пациентка, у которой обнаружили рак груди, объясняла мне, что затронута была именно та грудь, которую ее ребенок не высасывал до конца; именно поэтому.

Речь идет об ответе на вопрос: «Почему я?»

Китс думал, что причиной его болезни было то, что у него никогда не доходило до полной близости с его невестой Фанни. Следствием этого был некоторый застой, касавшийся не столько семени, сколько его души, блокада, которая так или иначе позволила чахотке завладеть им.

У нашей коллеги, физиотерапевта, вижу книгу Рудольфа Штайнера<sup>[275]</sup>: *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes* [Человек как созвучие *творящего, образующего и формирующего Мирового Слова*] об органическом функционировании человека с мировыми существами и космическими явлениями, издательство Freies Geistesleben [Свободная духовная жизнь], Цайст.

Признаться, я подумал, что это насмешка, но нет. Я даже списал заглавие – иначе Яаарсма мне ни за что не поверит. Когда я ему зачитал его, он предложил: «Прочти-ка еще раз, но вместо „человек“ произнеси „музыка“. Или „римляне“. Или „дух времени“».

Тут и Де Гоoyer очнулся. «А как вам *Человек как мировая гармония творящего звука? Или Творец как звучание мира в гармоничном человеке? Или Творящая гармония мирового звучания в человеческом слове?*»

Разговор с мефроу ван Поппел, поднаторевшей в алхимии чувств. Ее муж в этот уик-энд всё-таки умер. Его просто обнаружили мертвым. Она мне как-то рассказывала, что находит утешение в мысли о реинкарнации. Себя и своего мужа она какую-то долю секунды уже видела в одной, более ранней, жизни. «Но тогда он передвигал мое кресло, а не я его».

«Но ведь это ужасно».

«Что вы имеете в виду?»

«Вы же не будете утверждать, что всегда получаешь ту же самую жену во всех следующих одна за другой реинкарнациях?» Бедный ван Поппел.

«Конечно, вы снова об этом думаете. Нет, это не обязательно. В следующей жизни, например, твой сын может вообще стать твоим отцом».

«Но это еще более ужасно. Представьте себе, мой сын когда-нибудь получит возможность отплатить мне за свое воспитание. А я-то думал, что речь шла о некоей утешительной доктрине?»

## Вечером в Исфахане

То, что Шелли описывает как нашу unprofitable strife against invulnerable nothings<sup>[276]</sup> [«бессмысленную борьбу с неуязвимым ничто»], не раз безжалостно захлестывало нас самих: Коперник, Юм, Дарвин, Фрейд... все точные попадания. Со времен Платона мы медленно сползали с Небес. Покинув кристальную ясность Платона, причастную Вечности, мы, приземлившись, попали в зернистый мир Виттгенштайна, полный вещей, которые с тем же успехом могли быть совершенно иными. С Виттгенштайном мы вновь стоим на земле. И самое невероятное в его философии то, что он показывает, каким, в сущности, громадным приключением это является.

Я застаю Мике за разговором с ван Ритом.

– Ты в чём хочешь быть, когда будешь лежать в гробу?

– В своей пижаме.

– Нет, мне очень жаль, но так нельзя. Ты будешь в своем обычном костюме, с галстуком.

– Тоже неплохо.

Он выглядит смертельно уставшим. Чуть позже он говорит, и в его голосе даже слышится радость:

– Но у меня нет здесь костюма.

Видно, он плохо знает Мике, потому что она вместе с Греет уже давно позаботилась о том, чтобы ему принесли из дома костюм. Она показывает ему костюм.

– Вот такой цвет хотел менеер? – Она изображает из себя продавщицу.

Он смеется и обращает взгляд на меня.

– Ну что ж, тогда мы его берем, а ты как думаешь, Антон?

Не знаю, что сказать. Я, собственно, хочу, чтобы он вообще не умирал.

Когда после обеда я снова заглядываю к нему, у него сидит Греет. Они вспомнили о моем дне рождения и, когда я вхожу, запевают *Многая лета*. Это звучит довольно необычно при нынешних обстоятельствах.



– Еще, еще... да-да, еще много, много лет, мой дорогой, – и он плачет, потому что «много лет» – это слишком тяжело для него.

Греет тоже плачет, и когда он видит, что и я вот-вот разревусь, он смеется.

– Что мы тут сидим втроем и хнычем, когда у нас прекрасная бутылка вина, потому что у тебя день рождения, и впереди еще годы, да, я повторю, еще долгие ГОДЫ. Счастья тебе, мой дорогой! Давай открывай бутылку.

Сангвинический, холерический, флегматический и меланхолический – понятия Гиппократовой медицины, письменно зафиксированные в V, IV или III веке до Р. Х., когда полагали, что тело, среди прочего, строится из крови, желтой жёлчи, слизи и черной жёлчи. Болезнь была следствием неправильного распределения жизненных соков. Этого учения придерживались двадцать, а то и все двадцать два столетия, и врачи вплоть до середины XIX века продолжали пускать кровь и вызывать рвоту и диарею без какого-либо доказуемого результата: таковы комариный полет истории медицины и загадка этой истории.

Почему люди продолжали делать то, что не помогало? Думаю, потому, что результат не имел значения или же имел существенно меньшее значение, чем мы, задним числом, считаем возможным. Такие манипуляции можно сравнивать скорее с молитвой.

И что касается «задним числом»: есть немало медицинских манипуляций, которые мы уже сейчас способны оценить «задним числом» и о которых спрашиваем себя, как такое возможно, что мы всё еще продолжаем к ним прибегать.

Яннеке, физиотерапевт и внучка мефроу Вилбринк, говорит: «И не думай, что я когда-нибудь окажусь в таком заведении».

Нам грозит разговор «о-хо-хо, снова заладил». Но вот вариант.

– Ты этого не знаешь. Прими к сведению, что все 280 человек, которые здесь находятся, думали точно так же. Или ты думаешь, что твоя бабушка молилась об этом: «Прошу, чтобы на восемьдесят втором году жизни, после потери мужа, со мной случился инсульт, так чтобы я больше толком не знала, что делается со мной и вокруг меня, чтобы я не могла больше ни ходить, ни говорить и не понимала, что писаю или какаю»?

– И всё же я убеждена, что человек в какой-то степени сам выбирает свою болезнь.

И мне опять вспоминается: она практикует акупунктуру, и у нее на столе лежит *Weltharmonie in Menschenklang und Schöpfungswort* [Мировая гармония в созвучии с человеком и Словом Творения]<sup>[277]</sup> Рудольфа Штайнера.

– Выбирает? Я выбираю молочный шоколад, потому что полугорький шоколад я не люблю. Но я не выбираю ни рак, ни инсульт. В каком смысле слова *выбирать* кто-либо себе выбирает рак?

– И несмотря ни на что, это именно так, только никак не на уровне шоколада: молочный – или полугорький. Скорее здесь речь идет о глубоко укоренившемся в конкретном человеке представлении, которое приводит к тому, что он выбирает именно рак.

– Такое мне бы никогда в голову не пришло и кажется совершенной бессмыслицей. Но почему бы не обратиться к специалисту?

– К кому именно?

– Яннеке, в этом здании находятся двести восемьдесят таких *избирателей*. Мы просто пойдем к менееру ван де Хазелу, после инсульта он наполовину парализован, но говорит хорошо. Мы его спросим, почему он выбрал именно инсульт.

– Мы не можем так спрашивать.

– Почему? Ван де Хазел меня уже знает. Он хорошо говорит по-голландски, я тоже, он прекрасно меня понимает.

– И всё-таки так нельзя.

– Но откуда же ты тогда знаешь, что инсульт – именно то, что он себе выбрал?

– Во-первых, я на него смотрю; вижу, как он двигается; прислушиваюсь к его голосу, исследую его энергетику, истолковываю его ауру.

– Это способности, которыми я совершенно не обладаю, но допустим, ты сумела его разглядеть. Ну и что ты увидела? То, что ты уже и так знала, а именно, что он выбрал инсульт? Или, может быть, ты увидишь, что он выбрал себе болезнь Паркинсона, а она – ОНА? – взяла и послала ему инсульт?

– Почему ты превращаешь это в насмешку?

– Я только стараюсь, насколько возможно, прояснить для себя этот выбор. Думаю, что за этим что-то кроется. Носом чую. Вероятно, в

основе здесь лежит мысль, что нам кажется невозможным, чтобы наказывали хороших людей. Ведь твоя бабушка была хорошим человеком? Почему же тогда это с нею случилось? Может быть, потому, что свою болезнь она сама вызвала, с мыслью, что это нужно ей как очищение?

– Может быть, эта болезнь – самое мудрое решение в ее жизни.

– Вот теперь мы почти у цели. Дело в том, что нужно вытеснить неудобоваримый факт, что засранцам так часто хорошо живется на нашей земле, а в наказанном праведнике видеть человека, который успешно работает на самого себя.

– То есть ты имеешь в виду, что человек выбирает себе болезнь, так как знает, что, может быть, это самое горькое, но всё же наилучшее средство для исцеления его души?

– Именно! А за этим старым как мир забором лежит дохлая крыса, мерзкий запах которой я уже давно чую: представление, что жизнь справедлива.

– Что за нелепая манера рассуждать?

– Давай-ка оставим пока всё это и вернемся к исходному пункту, к твоему убеждению, что ты здесь не окажешься. Что защищает тебя от инсульта или другой болезни, из-за которой ты не сможешь получить должной заботы ни у себя дома, ни в доме престарелых, ни в больнице и в конце концов окажешься здесь?

– Со мной этого не случится. Я знаю тибетские упражнения смерти и смогу умереть, когда захочу.

– Из Фолендама<sup>[278]</sup> такое никогда не появится. Яннеке, не заносчивость ли дает почву твоей уверенности, что ты никогда не попадешь сюда? Разве не высокомерие думать, что ты сможешь перехитрить жизнь, сможешь обмануть судьбу и выскользнуть из ее когтистых лап с помощью тибетских упражнений смерти?

– Ну а почему нет? Я уже много лет углубленно занимаюсь техникой медитации и могу сказать, что кое-чего достигла. Почему я стала бы это отрицать?

– Возможно, я тебя недооцениваю, но я просто не в состоянии представить, что тебе, впервые в истории, как Одиссею, удалось выколоть глаз рока, в пещере которого все мы заперты, чтобы стало возможно бежать оттуда<sup>[279]</sup>.

– Возможно, в твоих глазах я этого и не достигла. Но ты тоже сгущаешь краски. Для меня речь идет о том, чтобы уже теперь быть во всеоружии по отношению к тому, что может случиться.

– А для меня – о том, чтобы показать, что в этом столько же смысла, как в том, чтобы носить очки от солнца для того, чтобы не потеть под мышками. Урок, УРОК этой клиники состоит в том, что независимо от того, насколько хорошо мы искали бы по ту сторону больничной койки, никогда не всплывет нечто, о чем можно было бы сказать: ага, этот человек сидит здесь в инвалидном кресле потому, что в своей жизни он делал слишком мало того и слишком много этого.

– И даже тот, у кого рак легких, из-за того что он много курил?

– Если ты так хочешь рассматривать всё с этической точки зрения, твой вопрос должен был бы звучать так: почему у тысяч других людей, которые так же много курят, нет рака легких?

– А почему, по-твоему, люди сидят в инвалидных креслах?

– Просто не почему. Потому что. Потому что если ты упал с лестницы, то будешь лежать там, где упал. Я не знаю. На это ответа нет. Просто не почему – наилучший ответ. Но это скорее анализ твоего вопроса, а не ответ на него.

– То есть ты хочешь сказать, что важнейший вопрос жизни основан на недоразумении?

Мысль об упражнениях смерти вызывает у меня воспоминание об одном фильме Вуди Аллена, кажется *Бананы*<sup>[280]</sup>. В одной из сцен герой стоит перед расстрельной командой, за ним стена. Солдаты нацеливают на него ружья, но, когда они уже готовы стрелять, внезапно случается что-то, что дает ему возможность бежать через стену. По другую сторону он осторожно спускается со стены и не сразу осознаёт, в какой ситуации он оказался: снова перед расстрельной командой. Так, я думаю, обстоит дело и с кармой, и с судьбой, которая, согласно Сенеке<sup>[281]</sup>, ожидает человека в том месте, куда он бежит, чтобы спастись от нее: «Ik was verrast, / Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, / Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan»<sup>[282]</sup>.

Неужели эта девушка не могла где-нибудь поучиться на курсах скромности, включая уроки, как не попадать впросак? Может быть, тогда она смогла бы снова найти себе место среди обычных, неприметных недотеп, как все мы.

Яарсма: «Для себя она, вероятно, выбрала жаловаться на климакс».

[vk.com/occultumlibris](https://vk.com/occultumlibris) - [t.me/Occultum\\_Libris](https://t.me/Occultum_Libris)

## Фасад медицины

Представление, которое у меня было о медицине в самом начале: электромагнитное поле, которое везде одинаково сильное, то есть независимо от того, кто туда попадает: ребенок или старик – оно охватывает их одинаково. Отсюда мое изумление, когда Брюммелкамп на одном из первых семинаров о показаниях к оперативному вмешательству сказал: «Если речь идет о пациенте старше восьмидесяти, мы должны дважды подумать, прежде чем взяться за операцию». Тогда мне это показалось неслыханной черствостью. Это был мой первый взгляд за фасад медицины.

Авиакомпании кичатся столь же незапятнанной внешностью. Но если заглянуть за кулисы, придешь в ужас или умрешь со смеху. Несколько лет назад я прочел в *Guardian*<sup>[283]</sup> статью о том, что обнаружил в кабине пилотов инспектор во время, как известно, достаточно утомительных трансатлантических перелетов. Кроме вполне ожидавшегося количества секса и алкоголя, внимание обратили на одну пару пилотов; этим двоим, что меня особенно поразило, больше всего нравилось сидеть за штурвалом абсолютно голыми.

За фасадом медицины сталкиваешься со столь ужасающими головотяпами, что и представить нельзя. Вспомнить, например, Баккенса<sup>[284]</sup> и его фонтанчики крови. Яарсма рассказывает в связи с этим о Зауербрухе<sup>[285]</sup>, прославленном берлинском хирурге, у которого на склоне лет очень быстро стала развиваться деменция. Несмотря на это, он отважно брался за скальпель, потому что ни у кого не хватало смелости указать ему на то, какие зверские расправы учинял он в животах своих пациентов. Иногда случаи были столь серьезны, что его ассистенты, вместо того чтобы поправить его в ходе операции («Нет, профессор, это не дистальная, а проксимальная петля»), прокрадывались вечером в клинику, снова укладывали пациента на операционный стол, проверяли все швы, а неправильно сшитые участки кишечника снова отделяли друг от друга, так что при утреннем обходе всё было в полном порядке. Естественно, это привело к тому, что Зауербрух позже, чем уже слишком поздно, вынужден был оставить клинику.

Бывают моменты, когда фасады полностью рушатся: если самолет падает или во время незначительной операции под наркозом у ребенка происходит фатальная остановка сердца.

Один пациент сказал Де Гоoyerу о дерматологах: «They never kill, but they never cure either» [«Они тебя не убьют, но и не вылечат»]. Ну и смотри, что лучше.

Яаарсма: «Наиболее расхожее представление о нашей профессии сводится к тому, что врач всё же ломает голову над точным диагнозом. Словно имеет значение, как будет звучать диагноз, который тебя прикончит: *Арий* или *Александр*».

«Всё-таки *Александр* звучит гораздо шикарнее, эксклюзивнее», – говорит Де Гоoyer. Ведь на самом деле есть люди, продолжает Яаарсма, которые ценят, если Судьба дает себе особый труд свести их в могилу какой-нибудь редкой болезнью. Другие, напротив, испытывают определенное удовлетворение оттого, что тысячи мрут от одной и той же хвори.

Менеер Ункраут умер всё-таки собственными силами. Его уже доставили в крематорий, откуда разыскали меня по телефону с вопросом, не мог бы я приехать, чтобы удалить кардиоритмоводитель. Я даже подумал, а может быть, такие вещи взрываются при сжигании? Во всяком случае они не могут отправить его в печь с этим прибором.

Крематорий расположен на окраине города. Современное безликое серое здание с тонированными бурыми окнами. Называю свое имя в приемной. Сквозь стекло проникает внутрь приятный приглушенный свет, толстый ковролин, всюду покрывающий пол, поглощает всякий шум. Тут и там стоят группки молчаливых людей, скорбно ожидающих своих умерших. За одними из многих дверей, ведущих в траурный зал, слышна тихая органная музыка.

Меня встречает скромно одетый господин, который просит следовать за ним. Он ведет меня по длинному, облицованному плиткой коридору. Мы всё больше отдаляемся от сцены этого театрального предприятия смерти и всё дальше проникаем за его кулисы. Внезапно мы оказываемся в большом, ярко освещенном пространстве, где толпятся смеющиеся, разговаривающие и кричащие люди среди открытых и закрытых, заполненных и пустых гробов. Тут и там лежит на колесных носилках мертвое тело, готовое к тому, чтобы его одели и приготовили для погребения. Молодые люди снуют повсюду с

венками, букетами цветов, молитвенными картинками, траурными открытками, чётками, погребальными рубашками, готовыми костюмами, пижамами (это всё же возможно, думаю я о ван Рите), и всё это перекрывает резкий голос из громкоговорителя: «Внимание, тело Йоханнеса Й. М. ван Эмпелена в камеру С 103». Смерть вроде суматошной пекарни.

Мы находим менеера Ункаута уже в гробу, в гуще всей этой суматохи. На нем его Последний костюм. Чёртов кардиостимулятор помещен у его плеча. Мне помогают два молодых человека, они обнажают его грудную клетку.

Я действую осторожно. Никаких пошлых шуточек, о том что он уже больше ничего не чувствует. Разве что серьезное указание: «Смотри не запачкай. У нас нет для него другой одежды».

Удалить из-под кожи ритмоводитель не слишком сложно, но к нему присоединен проводок. Я начинаю тупо его вытягивать. Один из молодых людей подает мне пассатижи, чтобы перерезать провод. «Оставь остальное внутри, док. Там наверху отсортируют. Мы напишем в формуляре, что настройщик проглотил струну. До свидания и большое спасибо!»

К счастью, мне не приходится снова в давящей тишине идти к выходу по выложенному плиткой коридору; в задней стороне зала имеется служебный вход, через который я прыжком исчезаю из этого котла ведьм и внезапно оказываюсь прямо на парковке.

Только там смог я немного постоять и наконец отдышаться.

В готовящийся к публикации справочник *Болезни, объясняемые любителями* должна быть включена обширная глава под названием: *Если попадает воздух*.

Речь идет об идее, что опухоль где-нибудь в тихом уголке живота постепенно проходит сама собой. Стало быть, ничего страшного – до того неприятного момента, когда тишина и мрак будут нарушены тем, что хирург разрежет живот и животворящий воздух щедро устремится внутрь, из-за чего язва вырвется из своей спячки и начнет расти, как капуста.



## Утопленник и высокая причальная стенка

Рано утром еду на велосипеде на работу. На полпути, на мосту через канал, у перил стоит полуобнаженный, тяжело дышащий, возбужденный молодой человек со спутанными волосами и очумелым взглядом и пристально смотрит вниз в ледяную воду: несомненно психотик, который, побуждаемый тем или иным демоном, вскочил с постели и сейчас стоит в нерешительности, спрыгнуть вниз или нет.

Слезаю с велосипеда – катастрофилия – посмотреть, что будет дальше. Нет, не для того, чтобы, если понадобится, вслед за ним прыгнуть в воду. Ставлю велосипед, оборачиваюсь – его нет. Господи, неужто всё-таки... Но вода неподвижна. И с облегчением вижу, что он уже оставил мост позади, обычный джоггер, который остановился на мосту перевести дух и затем рысцой, легкий, как перышко, потрусил себе дальше.

Сегодня ночью умер ван Рит. Мой не слишком деликатный вопрос Мике, как он умер, остается без ответа: «Его нашли уже мертвым».

Греет задает тот же вопрос, но более прямо: «Как ты думаешь, каковы были его последние часы? Плохо, что никого не было с ним. Что он чувствовал? Я думаю, что когда умираешь, всё время борешься, но в конце уже больше не можешь и сдаешься. Да, что здесь поделаешь?»

Для нее это нечто вроде генеральной репетиции, потому что скоро и ей предстоит то же самое. Ей представляется тонуций, он безуспешно сражается с высокой причальной стенкой и в конце концов, обессиленный, погружается в воду. «Мирно уснуть» – для Греет этого не существует. Смерть, говоря феноменологически, для нее слишком плоха, чтобы ее можно было сравнивать с погружением в сон.

Как многие люди, Греет думает, что *умирать* – это такой же глагол, как *плавать*, *рубить* или *ходить*, когда необходимо обращать внимание на водопад, пальцы или ступеньку.

Пытаюсь ее успокоить: «Греет, могу я тебе рассказать, как это было у ван Рита? В тот последний вечер, когда никого не было рядом, он услышал голос Смерти: „Тшш! Ван Рит, вот, смотри, маленькая пещера.

Спрячься в нее на минутку, пока всё не кончится“. И больше уже ничего не было».

Когда я спускаюсь вниз посмотреть на него, он еще без костюма. Лежит обнаженный на цинковой каталке в зале морга, на чресла наброшена какая-то тряпка, руки скрещены на груди. Ессе homo<sup>[286]</sup>. Как тихо ты лежишь, думаю я.

Позже этим утром замечаю в фойе Де Лифдеберга девочку с пугающе всамделишной куклой. Самое жуткое в куклах, что голову можно произвольно поворачивать туда или сюда относительно туловища, словно у них сломана шея. Целый день смерть настигает меня повсюду.

Олденборх объясняет, что для акупунктуры хорошего плацебо не существует. Можно было бы попросить провести для плацебо-группы фальшивое иглоукалывание и погружать иглы на 5 или 10 сантиметров больше или меньше, чем было бы нужно. Проблема в том, что все иглоукалыватели, например в Хаарлеме, утверждают, что *это* и есть *правильные* точки.

Ну а плацебо совсем без иголок, естественно, никого не устроит.

Терборх произносит длинную речь о человеческом достоинстве. Я пытаюсь отвадить его от двух его любимых прилагательных при описании человека: *высокий* и *глубокий*. Мне это не очень удается.

– Во всяком случае мне кажется, что вы имеете перед нами некоторое преимущество, – пытаюсь я сменить тему, – вы не болтаете бесконечно об альтернативной религии.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну, скажем, есть психология и парапсихология, но не бывает теологии и *паратеологии*, поскольку всякая теология – *пара*. Не так ли?

Он взял у меня почитать *Concept of Mind*<sup>[287]</sup> Райла. Я спрашиваю его, не чувствует ли он себя легче и просветленнее теперь, когда он освободился от картезианской души. Ведь всё кажется гораздо более необычным, чем мы думали?

Разоблачение бессмысленности учения о душе, которое Райл описывает как догму «духа в машине», мне всегда представлялось образцом философии: после получаса философствования «душа», как

ее мыслил Декарт (и представляли многие поколения вслед за ним), окончательно остается лежать в сарае среди старых газет.

После этого наступает подлинное замешательство, которое является следствием философствования и так живо выделяется на фоне мертвой наглядности всех философских систем.

Но Хендрик определенно ничего этого не почувствовал. Он думает, что философия – это фонарик, которым можешь посветить тут и там в темном шкафу, просто чтобы что-то увидеть.

Так, он думал, что сможет с помощью Райла что-нибудь разнюхать за многообещающей дверью, на которой помещена надпись: *ДУША*. Но такого в этой книге не происходит. Единственное, что там откроешь, – это что там вообще нет двери, за которой можно что-то увидеть.

Он с досадой возвращает мне книгу. «Вот, пока что с меня довольно».

Проблема Дарвина: показать, что Природа не была создана по плану. Но для феномена, который не был создан по плану, Природа функционирует подозрительно хорошо. Хочется сказать: если здесь *не* было плана, то очень хотелось бы увидеть что-нибудь такое, что подразумевается как *действительно* созданное по плану.

Вспомним о вопросе Виттгенштайна: «Как выглядело бы небо, если бы Земля обращалась вокруг Солнца? Что должно было быть видно на небе?» В обоих случаях ответ гласит: «Но ведь это не так»<sup>[288]</sup>.

Из своей комнаты я вижу, как устраивают себе гнездо две сороки. Думаю, что определенно можно ручаться, что они вовсе не представляют себе, чем занимаются. В первые дни они, чисто случайно, как кажется, берут в клюв веточку или прутик, летят с ними к дереву и там спокойно их роняют на землю. Потом они приносят веточку к дереву и пытаются что-то с ней сделать. Прутик скользит сбоку поверх ветки дерева, пока не ложится на нее крест-накрест. Сорока опускает голову, чтобы просунуть еще одну веточку, но та упирается, выскальзывает из клюва и падает вниз. Потом птицы куда-то улетают. На следующий день я вижу сороку уже на другом дереве. Кажется, вряд ли что-нибудь из всего этого выйдет. Но через пару дней в подходящем разветвлении уже видны несколько веточек, сцепленных между собою.

Проходит еще несколько дней, и вот появляется углубление. Если сороки прилетают теперь с маленькими веточками и кусочками ткани, они уже ныряют в глубь гнезда, чтобы укреплять его стенки.

Имелся ли проект этого гнезда? Строит сорока гнездо или нет? Если смотреть извне, то да: достаточно бросить взгляд на дерево. Если смотреть изнутри, то нет; достаточно проследить, как это делалось: явно без какого-либо намерения.

Мой отец рассказывал, что к свежеокрашенной двери все прикасались именно тогда, когда рядом ставили табличку СВЕЖЕОКРАШЕНО. Так же и с Раем. Если бы Бог сказал: «Не прикасайтесь к крапиве» (СВЕЖЕОКРАШЕНО), мы постоянно хватали бы ее своими лапами и были бы изгнаны из Рая с охапкой крапивы.

«Не так уж плохо уйти с полученным Знанием», – говорит Яаарсма.

Греет сокрушается, что ван Рит должен был умереть в одиночестве. У нее перед глазами тонущий, убегающий вдоль по набережной; ей видится, как он, среди ночи, один как перст погружается в чернильно-черную воду.

Пренебрежительно, рывками выбрасывает она старые фотографии и документы. Словно вышвыривает. Она знает, что я этого не выношу, потому что такое наводит на мысль, будто хоронят тебя по частям, и стоит потом над твоими костями надгробный камень с неразборчивой надписью.

«Я выбрасываю весь этот хлам, чтобы всем вам потом не пришлось с ним возиться. Фотографии и так далее». Ей вспоминается тесть ее брата. Он смертельно боялся умереть в одиночестве, и не без основания, потому что у него было очень больное сердце. И что же произошло? У него случился сердечный приступ на семейном празднике, и он замертво свалился со стула. «Я подумала: ну вот, добился, чего хотел, ведь там было сотни две народу».

Она продолжает яростно выбрасывать «старый хлам» в мусорную корзину, откуда я потом осторожно извлеку его, чтобы ничего не пропало. Такое уже бывало и прежде, и подобным образом я спас от забвения несколько паспортов давно умерших людей, с десятков чётков,

штук тридцать картинок с молитвами и полный альбом свадебных фотографий 1948 года.

Она опять возвращается к тестю своего брата: «Ах, может быть, он никогда не чувствовал себя более одиноким, как в те последние минуты, среди стольких людей».

[vk.com/occultumlibris](https://vk.com/occultumlibris) - t.me/occultum\_Libris

# Послесловие к российскому изданию Эвтаназия в Нидерландах, 1975–2017

Начнем с определения: эвтаназия – это практика прекращения жизни, когда врач вводит или дает смертельное средство пациенту, который его об этом просит.

Эвтаназию часто смешивают со всякого рода действиями, предпринимаемыми врачами в заботах об умирающих пациентах. Я имею в виду анальгетики, транквилизаторы, кортикостероиды, кислород, снотворное etc., чтобы уменьшить страдания больных, находящихся при смерти. Такие действия направлены на уменьшение страданий, а не на немедленное прекращение жизни.

Эвтаназия, насколько мне известно, до 1975 года не применялась или же применялась крайне редко. Затем ее стали применять всё чаще и чаще, и врачи больше знакомили общественность с отдельными случаями активного прекращения страданий своих пациентов.

Начиная с 1975 года в масштабах страны проходили дискуссии, в которых пациенты, врачи, политики, моралисты, философы и представители Церкви обозначали свои позиции. Всё громче звучали голоса пациентов, с их просьбами о сострадании. Люди настаивали на своем праве достойно уйти из жизни. Врачи занимаются оказанием помощи больным людям. Поэтому бывает нелегко согласиться с тем, что сделать добро для пациента иногда означает положить конец его жизни. После 1985 года постепенно был достигнут консенсус относительно того, когда человек может считаться ответственным для выражения просьбы об эвтаназии. Ведь эвтаназия оставалась противозаконной. Поэтому были сформулированы условия, которым и врач и пациент должны были следовать, чтобы избежать судебного преследования.

Условия, если кратко их сформулировать, были следующие: пациент болен смертельной болезнью – пациент испытывает невыносимые и безвыходные страдания – пациент в состоянии выразить свою волю – медицина оказывается бессильной – просьба должна быть твердой и окончательной – врач обязан консультироваться с другим врачом, который не причастен к лечению данного пациента – эвтаназия должна

быть проведена ответственным образом – после ее проведения врач должен уведомить власти.

Таковы были условия, которые действовали в период написания этой книги. Короче говоря, если вы производили эвтаназию, вы должны были иметь дело с полицией.

С тех пор многое изменилось. Пациенты не обязательно должны болеть смертельной болезнью. Это значит, что каждый, кто безвыходно, невыносимо страдает после инсульта, в результате рассеянного склероза или болезни Паркинсона, может рассчитывать на эвтаназию. Позднее правила были расширены, после того как пациенты с неизлечимыми психическими заболеваниями просили обратить внимание на их страдания и распространить на них возможность добровольного прекращения жизни. Дальнейшее расширение рамок коснулось пациентов с болезнью Альцгеймера (или другими формами деменции) в тех случаях, когда они еще в состоянии разумительно просить об эвтаназии. И наконец, были добавлены также пациенты, страдающие комплексом старческих заболеваний, делающих их жизнь безвыходной и невыносимой. Это глухота, потеря зрения, болезни суставов, головокружение, опасность падений, недержание, приступы удушья и другие.

В 2002 году была узаконена действующая практика, дающая возможность врачам при определенных условиях прекращать жизнь пациента. Врач больше не должен сообщать об этом полиции; он направляет отчет Судебной комиссии, которая выносит решение. Если врач что-то делал не так, дело передается в Прокурорский надзор, который, однако, еще ни разу не назначал расследование – к явной досаде обратившихся с жалобой.

Эвтаназия не рассматривается как нормальная медицинская терапия. Так что любой врач может отказаться от ее проведения и не будет нести никакой ответственности, поскольку это не является неотъемлемой частью его обязанностей.

В Нидерландах, при населении в 17 миллионов человек, умирает приблизительно 140 тысяч человек в год. К эвтаназии прибегают 6000 раз в год, что составляет 4,5 % умерших. С каждым годом это число растет.

Одной из примечательных сторон практики эвтаназии в Нидерландах является общественное давление, приводящее к тому, что

постоянно появляются всё новые категории пациентов. Вначале это касалось случаев смертельной болезни, потом появились пациенты с психическими заболеваниями, затем дементные больные и пациенты, страдающие комплексными старческими недугами. Но этим не ограничилось. Рассматривается возможность эвтаназии дементных больных (которые не в состоянии выразить свое желание: они недееспособны) при условии, что они ранее письменно выразили свое желание эвтаназии – в том случае, если впадут в состояние полной деменции.

Вопрос, почему этого не происходило в 1955 году, а в 2016 году насчитывалось уже 6000 случаев эвтаназии, не имеет окончательного ответа. Я думаю, что пациенты, врачи, болезни – все они изменились. Пациенты стали менее верующими. Врачи более честными в отношении прогноза. Болезни лучше изучены, их можно лучше лечить, так что они могут оканчиваться бедственным состоянием, которое при меньших возможностях медицины никогда раньше не возникало и не продолжалось так долго.

На международном уровне также многое изменилось. Эвтаназия и PAS (physician assisted suicide)<sup>[289]</sup> уже легализована в Бельгии, Канаде, Финляндии, Германии, Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах. Однако условия и методы в каждой из этих стран различны.

*Амстердам, апрель 2017*



Берт Кейзер

# ТАНЦЫ СО СМЕРТЬЮ



жить и умирать  
в доме милосердия

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНА ЛИМБАХА



# Примечания

## 1

О. Мандельштам. *Куда мне деться в этом январе?* (2-я Воронежская тетрадь), 1937.

[Вернуться](#)

## 2

*Разговор о Данте.* 1933.

[Вернуться](#)

## 3

*В круговерти жизни и смерти.* – Чем не заглавие для такой книги!

[Вернуться](#)

## 4

Фламандский классик Willem Elsschot (настоящее имя Alphonsus Josephus de Ridder; 1882–1960) – автор романа *Силки* (1924) о бесстыдном мире рыночной экономики. *Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примеч. пер.*

[Вернуться](#)

## 5

Hogereburgerschool (HBS, *нидерл.*) – всеобщая средняя школа (до 1968), не дающая права поступления в университет, но позволяющая получить медицинское образование.

[Вернуться](#)

## 6

Godfried Jan Arnold Vomans (1913–1971) – нидерландский писатель; стараясь приблизить Католическую церковь к современному человеку, писал о ней с мягким юмором, критически, но с любовью.

[Вернуться](#)

## 7

Литургические изменения II Ватиканского собора (1962–1965), и прежде всего отмена латыни, что привело к разночтениям и нестроению в Нидерландской католической церкви. *Примеч. С. Бринка.*

[Вернуться](#)

## 8

*Saved by the bell* – название популярного американского телесериала, шедшего с 1989 по 1993 г.

[Вернуться](#)

## 9

Jimi Hendrix (1942–1970) – американский рок-гитарист, виртуоз.

[Вернуться](#)

## 10

Samuel Barclay Beckett (1906–1989) – ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии; роман *Malone meurt* (1952) / *Malone Dies* (1958).

[Вернуться](#)

## 11

Миниатюрный город из типично нидерландских зданий и сооружений в масштабе 1:25, в Схевенингене, в Нидерландах.

[Вернуться](#)

## 12

Поселок в провинции Гелдерланд, Нидерланды.

[Вернуться](#)

## 13

Восходящее к древнегреческому баснописцу Эзопу (жил около 600 до н. э.) выражение древнеримского поэта Горация (65–8 до н. э.) «Parturient montes, nascetur ridiculus mus» [«Мучаются горы: рождается смешная мышь»], *Ars poetica* [*Искусство поэзии*], 139.

[Вернуться](#)

## 14

Sammy Davis, Jr. (1925–1990) – американский актер и певец.

[Вернуться](#)

## 15

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889–1951), *Логико-философский трактат*, 6.4311.

[Вернуться](#)

## 16

Dame Jane Goodall (род. 1934) – британская исследовательница, этолог; более 45 лет изучала социальную жизнь шимпанзе в Танзании.

[Вернуться](#)

## 17

Сфера неприкосновенности личности (*англ.*).

[Вернуться](#)

## 18

Быт 3, 19.

[Вернуться](#)

## 19

*День гнева* – одна из частей католической заупокойной мессы.

[Вернуться](#)

## 20

*Господи (помилуй)* – распев католической мессы.

[Вернуться](#)

## 21

Huib Oosterhuis (род. 1933) – нидерландский католический теолог и поэт.

[Вернуться](#)

## 22

Пс 102, 15–16.

[Вернуться](#)

## 23

Откр 21, 4–5.

[Вернуться](#)

## 24

Скучному всё скучно (англ.) – аллюзия на песню *All Is Dull* нидерландской рок-группы *De Staat*.

[Вернуться](#)

## 25

*В Рай* – латинский антифон, который поют во время католического обряда погребения.

[Вернуться](#)

## 26

*Лошадь дяди Люкаса издохла* (нидерл. диал.) – песенка, популярная в Гронингене, Нидерланды (см.: <https://www.youtube.com/watch?v=IIMzU19l4Zo>; <https://www.youtube.com/watch?v=Gwxn4NUSi8A>).

[Вернуться](#)

## 27

В иудаизме и христианстве одно из имен Бога как Существа благостного и милосердного.

[Вернуться](#)

## 28

Слова Иисуса к ученикам в Гефсиманском саду. Мф 26, 40.

[Вернуться](#)

## 29

Упоминание Боманса (т. е. католический подход) отсылает к примечанию 6 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 30

Массовая газета, издающаяся в Амстердаме.

[Вернуться](#)

## 31

There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy. Шекспир, *Гамлет*, акт I, сцена V, 166–167.

[Вернуться](#)

## 32

Walter Russell Brain, барон Брейн (1895–1966) – британский невролог (brain, мозг, *англ.*).

[Вернуться](#)

## 33

Курсы повышения начального образования, вплоть до возможности поступления в университет.

[Вернуться](#)

## 34

Gerard Kornelis (Simon) van het Reve (1923–2006) – нидерландский писатель, классик голландской литературы XX в., обращался к темам



литературы, религии, сексуальности, часто с садистским привкусом.

[Вернуться](#)

## 35

Шекспир: «nearest and dearest» (*Король Генрих IV*, ч. I, 3, 2), «ближайший и зачатый» (буквально: ближайший и дражайший) – здесь же вместо «and» [и] стоит «if not» [если не], то есть «ближайшие, если не самые дорогие (если не зачатые)».

[Вернуться](#)

## 36

*Список Шиндлера* (1993) – американский фильм Стивена Спилберга о немецком предпринимателе, спасшем более 1000 польских евреев от гибели во времена Холокоста.

[Вернуться](#)

## 37

Simon Wiesenthal (1908–2005) – узник концлагеря Маутхаузен, общественный деятель (Австрия), известный «охотник за нацистами».

[Вернуться](#)

## 38

Офорт Рембрандта (1606–1669) *Христос, исцеляющий больных*.

[Вернуться](#)

## 39

Ludwig Philipp Albert Schweitzer (1875–1965) – немецкий и французский теолог, органист, врач, работавший в Африке.

[Вернуться](#)

## 40

Bertrand Arthur William Russell (1872–1970) – британский философ, математик.

[Вернуться](#)

## 41

William Ewart Gladstone (1809–1898) – выдающийся британский государственный деятель.

[Вернуться](#)

## 42

Advokaat (*нидерл.*): 1) адвокат (*лат.* advocatus, от advoco, приглашаю); 2) голландский яичный ликер.

[Вернуться](#)

## 43

Johan Willem Frederik Werumeus Buning (1891–1958) – нидерландский поэт и писатель.

[Вернуться](#)

## 44

James B. Gillett (1856–1937) – известнейший из техасских рейнджеров.

[Вернуться](#)

## 45

См. примечание 15 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 46

*Вести ангельской внемли!* – английский Рождественский гимн начала XVIII в. (см.: <https://www.youtube.com/watch?v=LDPwNPAV6tA>).

[Вернуться](#)

## 47

Anna Helena Margaretha (Annie) Romein-Verschoor (1895–1978) – нидерландская писательница и историк культуры.

[Вернуться](#)

## 48

La cathédrale Notre-Dame de Laon (1155–1235); см.: <http://www.pixelistes.com/forum/gallery/chalimar-a9555/cathedrale-laon-a-jpg-p620950.html>

[Вернуться](#)

## 49

Kurt Tucholsky (1890–1935) – немецкий журналист и писатель, еврей по происхождению, борец с нацизмом.

[Вернуться](#)

## 50

Эвтаназия (греч. εὖ, хорошо + θάνατος, смерть) – из-за невыносимых страданий добровольно избираемое неизлечимым больным прекращение жизни с помощью врача.

[Вернуться](#)

## 51

Свидетель, дающий отзыв об обвиняемом.

[Вернуться](#)

## 52

Лорд Джим, морской офицер, персонаж одноименного романа Джозефа Конрада (Joseph Conrad, 1857–1924), всю жизнь мучился совестью из-за недостойного поведения при крушении судна.

[Вернуться](#)

## 53

Весьма приблизительно можно передать как, скажем, *прострелопровалиус*.

[Вернуться](#)

## 54

*De Telegraaf* – крупнейшая ежедневная бульварная газета с правопопулистским уклоном. Еженедельники *Story*, *Privé*, поверхностное чтение, состоящее из сенсаций и слухов.

[Вернуться](#)

## 55

Henry Francis Cary (1772–1844) – британский автор и переводчик, перевел белым стихом *Божественную комедию*.

[Вернуться](#)

## 56

Об «атмосфере Ренессанса во Флоренции»: вошедшие в нидерландский язык французские слова рифмуются, напоминая фразу из песенки.

[Вернуться](#)

## 57

Sir William Osler (1849–1919) – выдающийся канадский врач.

[Вернуться](#)

## 58

Гуго Gearloose – цыпленок, неутомимый изобретатель из окружения селезня Дональда Дака, герой мультфильмов Уолта Диснея.

[Вернуться](#)

## 59

Simon Westdijk (1898–1971) – нидерландский писатель, поэт, эссеист.

[Вернуться](#)

## 60

Герард ван хет Реве – из стихотворения *Dagsluiting* [(Слово пастыря) В завершение дня]; см. также примечание 34 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 61

Специалист в области эхоскопии, ультразвукового исследования (УЗИ).

[Вернуться](#)

## 62

Публий Корнелий Тацит. *Анналы*, XI, 3 (пер. А. С. Бобовича).

[Вернуться](#)

## 63

Robert Ranke Graves (1895–1985) – британский поэт, романист, литературный критик.

[Вернуться](#)

## 64

Ada Leverson (1862–1933) – английская писательница, преданный друг Оскара Уайлда (от него она получила прозвище *Сфинкс*).

[Вернуться](#)

## 65

Gerard Dou (1613–1675) – нидерландский художник, ученик Рембрандта, один из «малых голландцев».

[Вернуться](#)

## 66

Старая голландская монета, равная 2,5 гульдена.

[Вернуться](#)

## 67

Я хочу (*нидерл.*).

[Вернуться](#)

## 68

Английский канал (Ла-Манш) – пролив, отделяющий Англию от континента.

[Вернуться](#)

## 69

René François Ghislain Magritte (1898–1967) – бельгийский художник-сюрреалист.

[Вернуться](#)

## 70

Не вполне точная ссылка. William Seward Burroughs (1914–1997) – американский писатель и эссеист.

[Вернуться](#)

## 71

Имеется в виду ежегодный День памяти павших, который отмечается в Нидерландах 4 мая.

[Вернуться](#)

## 72

Nicolaas Beets (1814–1903) – нидерландский поэт и прозаик, пастор и богослов. Цитата из сборника рассказов *Camera obscura* (под псевдонимом Hildebrand).

[Вернуться](#)

## 73

Персонаж фламандского фольклора, ловкий плут (восстал из гроба), близкий к Тилю Уленшпигелю. Как Смерть выступает в кукольном театре, главным комическим персонажем которого является Ян Клаассен (как Панч в Англии, Гиньоль во Франции, Пульчинелла в Италии, Петрушка в России).

[Вернуться](#)

## 74

*Агнец Божий* – заключительная часть католической заупокойной мессы.

[Вернуться](#)

## 75

Притч 13, 24.

[Вернуться](#)

## 76

См. примечание 34 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 77

Ida Gerhardt (1905–1997) – нидерландская поэтесса и переводчица.

[Вернуться](#)

## 78

Raymond Moody (род. 1944) – американский психолог и врач, автор книги *Life After Life* [*Жизнь после жизни*].

[Вернуться](#)



## 79

*Илиада*, I, 37–38; 42 (пер. Н. И. Гнедича).

[Вернуться](#)

## 80

*Сравнительные жизнеописания*. Аристид, 17 (пер. С. П. Маркиша).

[Вернуться](#)

## 81

Божество Древнего Египта, проводник умерших в загробный мир, изобразался в образе черного пса.

[Вернуться](#)

## 82

Конечно (*нидерл.*).

[Вернуться](#)

## 83

«Пилат повелел отдать тело» (Иисуса). Мф 27, 58.

[Вернуться](#)

## 84

См. примечание 45 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 85

François VI, duc de La Rochefoucauld. *Memoires. Reflexions ou sentences et maximes morales* [Максимы и моральные размышления], 26.

[Вернуться](#)

## 86

По определению (*лат.*).

[Вернуться](#)

## 87

Персонаж рассказа Франца Кафки *Die Verwandlung* [Превращение].

[Вернуться](#)

## 88

Схидам, небольшой город в 7 км западнее Роттердама, подвергшегося варварской бомбардировке немецкой авиации 14 мая 1940 г., на пятый день после нападения Германии на Голландию.

[Вернуться](#)

## 89

Louis de Jong (1914–2005) – нидерландский историк и журналист.

[Вернуться](#)

## 90

Herman Rudolf (Rudy) Kousbroek (1929–2010) – нидерландский писатель, поэт, эссеист.

[Вернуться](#)

## 91

Искусственный вывод (после операции при раке кишечника).

[Вернуться](#)

## 92

Из романа Марселя Пруста (1871–1922) *Le Temps retrouvé* [Обретенное время].

[Вернуться](#)

## 93

Экзотическим *молодым индейцем*, свою тогдашнюю страсть, он называет, надо полагать, индонезийца (жителя Нидерландской Индии).

[Вернуться](#)

## 94

Дёрне – провинция в Северном Брабанте, Нидерланды.

[Вернуться](#)

## 95

*Помни о смерти* (лат.) – символ тщеты, бренности всего живого.

[Вернуться](#)

## 96

Moritz Kaposi (1837–1902) – австро-венгерский врач-дерматолог; цитостатики – противоопухолевые препараты, нарушающие процессы роста и развития клеток организма, включая злокачественные.

[Вернуться](#)

## 97

«De Uiteindelijke Dingen», выражение Г. ван хет Реве (см. примечание 34 наст. изд.): смысл человеческого существования, отношение к Божеству; восходит к средневековому понятию *quattuor novissima* – «четыре последняя человеков»: Смерть, Страшный суд, Ад, Рай.

[Вернуться](#)

## 98

«Оставь надежду, всяк сюда входящий». Данте, Ад, III, 9.

[Вернуться](#)

## 99

«Надежда, сколь она ни обманчива, всё ж ведет к концу жизни нас приятной тропой». *Memoires. Reflexions ou sentences et maximes morales* [Максимы и моральные размышления], 168.

[Вернуться](#)

## 100

Искусственная фамилия (см. Предисловие); νέος + μάχη (др.-греч.): новый + битва, новобранец.

[Вернуться](#)

## 101

Johannes Carolus Bernardus (Jan) Sluyters (1881–1957) – нидерландский художник-экспрессионист.

[Вернуться](#)

## 102

*De Telegraaf* – см. примечание 54 наст. изд.; *NRC Handelsblad* – общенациональная серьезная газета либеральной окраски.

[Вернуться](#)

## 103

Собственно *Natura Artis Magistra* [Природа – наставница искусства], известнейший зоопарк в Амстердаме.

[Вернуться](#)

## 104

Пример кажущейся тавтологии – из литературы о *Логико-философском трактате* Людвиг Виттгенштайна.

[Вернуться](#)

## 105

Westerbork – транзитный концлагерь в Нидерландах, место пересылки евреев и цыган в Аушвиц. Dachau – один из первых немецких концлагерей.

[Вернуться](#)

## 106

«о быть в финляндии // теперь когда здесь россия» – из стихотворения (1950) Эдварда Эстина Каммингса (e. e. cummings, 1894–1962), американский поэт и писатель.

[Вернуться](#)

## 107

Nicolas Chamfort (1741–1794) – французский писатель, мыслитель, моралист, – *Maximes et Pensées* [Максимы и мысли].

[Вернуться](#)

## 108

«Когда-то была ничего себе» – реплика из одноактной пьесы *Endgame* [Конец игры].

[Вернуться](#)

## 109

Персонажи романов Самьюэла Беккетта *Мёрфи* (1938) и *Малоун умирает* (1951).

[Вернуться](#)

## 110

См. примечание 72 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 111

Обозначения принадлежащих фирме *Кортхалс и сыновья* соответственно «моторизованной санитарной кареты» и «моторизованного катафалка»; на самом же деле это был один и тот же экипаж, перевозивший, после жульнической трансформации, либо больного, либо труп. Метафора из романа *Lijmen* [Силкй] (1924) фламандского классика Виллема Элсхота (Willem Elsschot, 1882–1960).

[Вернуться](#)

## 112

*Margriet* (Ромашка) – нидерландский еженедельный журнал для женщин.

[Вернуться](#)

## 113

«Очаровательная девушка вроде вас, многообещающий молодой человек вроде вас» (англ.).

[Вернуться](#)

## 114

Столько, сколько мы сможем выдержать (англ.).

[Вернуться](#)

## 115

А, вон оно что (англ.).

[Вернуться](#)

## 116

Мф 4, 8–9.

[Вернуться](#)

## 117

Коснулся (фр.); касание: в музыке, живописи, в борьбе, фехтовании и др.

[Вернуться](#)

## 118

Карикатурный намек на протестантскую узость, суровость, расчетливость и безрадостность (тогда как католики гораздо более удобные для самих себя – неунывающие и жизнерадостные). *Примеч. С. Бринка.*

[Вернуться](#)

## 119

В Крестном пути Христа (Via Dolorosa) Церковь насчитывает 14 *станций (стаций)*: от смертного приговора до положения во гроб. Иронически обыгрывая тему упомянутой книги, 15-й *станцией* Яаарсма называет основание государства Израиль.

[Вернуться](#)

## 120

Депрессивная модель поведения очень маленьких детей, вызванная разлукой с матерью.

[Вернуться](#)

## 121

Понятие, которое мог бы пояснить разве что Сумасшедший Племянник.

[Вернуться](#)

## 122

См. примечание 39 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 123

René Árpád Spitz (1887–1974) – австро-американский психоаналитик, работал в области детского психоанализа. Margaret A. Ribble (1891–1971) – американская специалистка в области детской психологии.

[Вернуться](#)



## 124

См.: Платон, *Федон* (смерть Сократа); с современной точки зрения следует говорить о болиголове.

[Вернуться](#)

## 125

Активен, устойчив к различным помехам, от σθένος, сила (др. – греч.).

[Вернуться](#)

## 126

См. примечание 6 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 127

«Дни танцев миновали» – несколько измененная, ставшая афоризмом строка из *Ромео и Джульетты* Шекспира, акт I, сцена 5, 26–33.

[Вернуться](#)

## 128

Абсурдная, безвыходная ситуация *Уловки-22*, сатирического романа американского писателя Джозефа Хеллера (Joseph Heller, 1923–1999).

[Вернуться](#)

## 129

*Приглашение к танцу* – фортепьянная пьеса К. М. фон Вебера (С. М. v. Weber, 1786–1826), создана в 1819 г.

[Вернуться](#)

## 130

См. диалог Платона *Федон* (смерть Сократа).

[Вернуться](#)

## 131

См. примечание 99 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 132

День освобождения Нидерландов союзниками от немецкой оккупации.

[Вернуться](#)

## 133

Джек Руби (1911–1967) – владелец ночного клуба в Далласе, застрелил в полицейском участке Ли Харви Освальда, задержанного по подозрению в убийстве президента США Джона Кеннеди (1917–1963).

[Вернуться](#)

## 134

Провинция Нидерландов, наиболее отдаленная от центральной части страны.

[Вернуться](#)

## 135

William Henry «Bill» Mauldin (1921–2003) – американский рисовальщик и карикатурист.

[Вернуться](#)

## 136

Frans Pointl (1933–2015) – нидерландский писатель еврейского происхождения.

[Вернуться](#)

## 137

Окаменевшие тела жертв извержения Везувия в 79 г., погубившего Помпеи, Геркуланум и Стабии.

[Вернуться](#)

## 138

Из пьесы *Endgame* [Конец игры].

[Вернуться](#)

## 139

Процесс демистификации и демифологизации представлений о мире; само понятие ввел в 1917 г. Макс Вебер (1864–1920).

[Вернуться](#)

## 140

Скандинавский бог грома.

[Вернуться](#)

## 141

Людвиг Виттгенштайн. *Логико-философский трактат*, 6.52.

[Вернуться](#)

## 142

Нарочитая бессмыслица, издёвка над наукообразной, порой излишне вычурной медицинской терминологией.

[Вернуться](#)

## 143

Следуют цитаты из романов С. Беккетта *The Unnamable* (1953), *Malone Dies* [*Безымянный, Малоун умирает*].

[Вернуться](#)

## 144

«Я, дыхательная недостаточность?»

[Вернуться](#)

## 145

«Я бы не отказался позадыхаться и до Преображения».

[Вернуться](#)

## 146

«Мои последние вздохи хуже, чем могли бы быть, мехи не желают работать, воздух душит меня».

[Вернуться](#)

## 147

Выбор времени.

[Вернуться](#)

## 148

Созвучно нидерландскому *riffen*, пыхтеть.

[Вернуться](#)

## 149

Marius A. van Bouwdijk Bastiaanse (1886–1964) – профессор акушерства и гинекологии в Амстердаме.

[Вернуться](#)

## 150

Справедливый суд, а потом их повесим (*англ.*).

[Вернуться](#)

## 151

Одна из старейших нидерландских телерадиокомпаний.

[Вернуться](#)

## 152

Смерть не и т. д. (*нем.*).

[Вернуться](#)

## 153

Gerrit Achterberg (1905–1962) – один из крупнейших нидерландских поэтов XX в.

[Вернуться](#)

## 154

Смерть – не?.. (нем.)

[Вернуться](#)

## 155

*Логико-философский трактат*, 6.4311.

[Вернуться](#)

## 156

Anton Franciscus Pieck (1895–1987) – старомодный, но всё ещё популярный нидерландский живописец, рисовальщик и график.

[Вернуться](#)

## 157

См. примечание 35 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 158

«О Кресте Твоем Вечно хочу я хвалиться», Гал 6, 14.

[Вернуться](#)

## 159

«Символы превращаются в кимвалы // в час смерти... <когда в царствии небесном уборщица бьет щеткой в совок>», – цитата из сонета Геррита Ахтерберга *Werkster* [*Уборщица*].

[Вернуться](#)

## 160

Всемирно известный символ в начале фильмов этой английской компании.

[Вернуться](#)

## 161

«Безжалостная логика ради ничтожной цели», цитата из романа Джозефа Конрада (1857–1924) *Сердце тьмы* (Joseph Conrad, *Heart of Darkness*).

[Вернуться](#)

## 162

«Одна из самых трудных, но и самых увлекательных интеллектуальных проблем – как избежать снисходительного отношения к прошлому»; В. Е. Young = be young = будь молод (*розыгрыш*).

[Вернуться](#)

## 163

Henry Redon (1899–1974) – французский хирург и Одилон Редон (1840–1916) – французский художник.

[Вернуться](#)

## 164

См. примечание 69 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 165

Majorettes (*фр.*) – помощницы тамбурмажора, девушки в военной или подобной форме, участницы парадов.

[Вернуться](#)

## 166

Временный зуб в надклювье птенца, с помощью которого птенец разрушает изнутри яичную скорлупу.

[Вернуться](#)

## 167

«Забавная штука жизнь, таинственная, с безжалостной логикой преследующая ничтожные цели. Самое большее, что может получить от нее человек, – это познание себя самого, которое приходит слишком поздно и приносит вечные сожаления. Я боролся со смертью. Это самая скучная борьба, какую только можно себе представить. Она происходит в серой пустоте, когда нет опоры под ногами, нет ничего вокруг, нет зрителей, нет блеска и славы; нет страстного желания одержать победу, нет великого страха перед поражением; вы боретесь в нездоровой атмосфере умеренного скептицизма, вы не уверены в своей правоте и еще меньше верите в правоту своего противника» (*Сердце тьмы*, пер. А. Кравцовой).

[Вернуться](#)

## 168

Мирянин, прислуживающий католическому священнику во время мессы.

[Вернуться](#)



## 169

Jacques Perk (1859–1881) – выдающийся нидерландский поэт, мастер сонета.

[Вернуться](#)

## 170

Thomas Edward Lawrence (1888–1935) – британский офицер, путешественник, Лоуренс Аравийский.

[Вернуться](#)

## 171

Молодежная субкультура *хиппи*, возникла в 1960-х гг. в США и распространилась по всему миру, провозглашала свободу, ненасилие, противопоставляя оружию – цветы, войне – любовь. Лозунг хиппи *Flower Power* побудил называть их «детьми цветов».

[Вернуться](#)

## 172

Мелкую (амер. разг.).

[Вернуться](#)

## 173

В популярной песне Джими Хендрикса (см. примечание 9 наст. изд.) *Purple Haze* [Пурпурная мгла] (<https://www.youtube.com/watch?v=fjwWjx7Cw8I>) Пат в строке «Scuse me while I kiss the sky» вместо *sky* пела *duu*, т. е. вместо «извините меня, если я целую небо» пела «извините меня, если я целую этого парня».

[Вернуться](#)

## 174

Сильный наркотический анальгетик, считается более безопасным по сравнению с морфином.

[Вернуться](#)

## 175

*Эльзе Бёлер, немецкая служанка* (1934) – антифашистский роман Симона Вестдейка (см. примечание 59).

[Вернуться](#)

## 176

Скапулярий (*лат.* scapulae, лопатки) – элемент монашеского одеяния, а также освященный предмет (малый скапулярий), носимый католиками по обету.

[Вернуться](#)

## 177

*Среди профессоров* (1975) – сатирический роман об ученой среде нидерландского писателя В. Ф. Херманса (Willem Frederik Hermans, 1921–1995).

[Вернуться](#)

## 178

Kaas (Lukas Michalczyk, род. 1982) – польско-немецкий рэпер.

[Вернуться](#)

## 179

*Le Feu follet* (1931) – роман об упадке французской нации и разложении общества французского писателя Пьера Дриё ла Рошеля (Pierre Drieu la Rochelle, 1893–1945).

[Вернуться](#)

## 180

См. примечание 109 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 181

Nescio [«я не знаю», *лат.*] – псевдоним нидерландского писателя Грёнло (Jan Hendrik Frederik Grönloh, 1882–1961).

[Вернуться](#)

## 182

Perry Como (1912–2001) – американский певец и телезвезда 1940–1950-х гг.

[Вернуться](#)

## 183

Нидерландский католический иллюстрированный еженедельник (1867–1967).

[Вернуться](#)

## 184

Аллегорический роман-притча (1922) немецкого писателя Германа Гессе (Hermann Hesse, 1877–1962).

[Вернуться](#)

## 185

Пафос Реформации (*лат. reformatio*, исправление, преобразование) – критическое отношение к имевшим хождение евангельским текстам.

[Вернуться](#)

## 186

Sir Peter Alexander Ustinov (1921–2004) – британский актер, режиссер, драматург, писатель, продюсер, телеведущий, общественный деятель.

[Вернуться](#)

## 187

George Harrison (1943–2001) – британский рок-музыкант, соло-гитарист *Битлз*.

[Вернуться](#)

## 188

*Нидерл.* rabarber, созвучное имени *Varabbas (Варавва)*, означает и рабарбар (другое название ревеня), и невнятное бормотание.

[Вернуться](#)

## 189

George Raft (1901–1980) – американский киноактер и танцор, играл гангстеров в фильмах 1930–1940-х гг.

[Вернуться](#)

## 190

«Имя означает нечто большее, что и не снилось...» Вариация на тему: «There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy» [«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»], Шекспир, *Гамлет*, I, 5, 166–7 (пер. М. П. Вронненко).

[Вернуться](#)

## 191

Цитата, приписываемая Меттерниху: «Во имя братства уже сделано столько, что будь у меня брат, я называл бы его кузенком»; имеются в виду ужасы Революции, совершенные под лозунгом «Свобода, Равенство, Братство».

[Вернуться](#)

## 192

Vera Lynn (род. 1917) – любимая британская певица военных лет. Соединены строки двух ее песен: *White cliffs of Dover* (<https://www.youtube.com/watch?v=Hqtaoz4QFX8>) и *We'll meet again*. «Синие птицы появятся снова над белыми скалами Дувра однажды в солнечный день».

[Вернуться](#)

## 193

Бренд Glasgow Whisky; концлагерь Дахау; деревушка Обераммергау в Верхней Баварии, знаменитая разыгрываемой каждые 10 лет (с 1633 г.) грандиозной мистерией о Страстях Христовых.

[Вернуться](#)

## 194

Заместительная терапия метадонем (синтетическим лекарственным препаратом из группы опиоидов) при лечении наркомании.

[Вернуться](#)

## 195

См. примечание 70 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 196

William Blake (1757–1827) – английский поэт, художник и гравёр.

[Вернуться](#)

## 197

George Richmond (1809–1896) – английский художник-портретист.

[Вернуться](#)

## 198

Samuel Palmer (1805–1881) – английский живописец и график.

[Вернуться](#)

## 199

Среда вечером

Мой бесценный друг, на случай, коли Вы не слышали еще о Смерти мистера Блейка, я Написал сие, дабы известить Вас – Он почил в воскресенье вечером в шесть Часов пополудни самым преславным образом. Он сказал, что отправляется в Страну, каковую увидеть мечтал всю Свою жизнь, и аmp; на лице Его выразилось Счастье надежды на спасение, иже даровал нам ее Иисус Христос – Перед самою кончиною Лик Его просветлел. Глаза Его Засияли, и Он Запел о вещах, кои узрел на Небе. Поистине Умер Он как Святой, что ведомо было каждому, кто Взирал на Него – В пятницу в двенадцать часов

[vk.com/occultumlibris](https://vk.com/occultumlibris) - [t.me/Occultum\\_Libris](https://t.me/Occultum_Libris)

будет Он предан Земле. Ежели захотите присутствовать при Погребении – Ежели здесь будете, в Карете довольно места.

Преданный Вам

Дж. Ричмонд

Простите великодушно сии жалкие каракули

[Вернуться](#)

[vk.com/occultumlibris](https://vk.com/occultumlibris) - t.me/occultum\_Libris

## 200

Машина снов (нем.).

[Вернуться](#)

## 201

Cole Albert Porter (1891–1964) – американский композитор и автор текстов песен.

[Вернуться](#)

## 202

Technische Universiteit Delft и Universiteit Leiden.

[Вернуться](#)

## 203

Вопрос обсуждается в: S. Freud. *Studien über Hysterie* [Этюды об истерии].

[Вернуться](#)

## 204

См. примечание 142 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 205

Экспериментальный роман (1939) Джеймса Джойса с бесконечными каламбурами и неологизмами с использованием многих языков.

[Вернуться](#)



## 206

См. примечание 72 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 207

Ludwig Wittgenstein. *Philosophical Investigations*, 650.

[Вернуться](#)

## 208

См. примечание 57 наст. изд. Эпистемология (др.-греч. ἐπιστήμη, научное знание, наука, достоверное знание; λόγος, слово, речь) – дисциплина, исследующая знание как таковое.

[Вернуться](#)

## 209

Аксон (др.-греч. ἄξων, ось) – проводник нервных импульсов.

[Вернуться](#)

## 210

Курьезно «громкое» имя (Хенегау – историческая провинция Нидерландов).

[Вернуться](#)

## 211

Тинюс, в выражении *slappe Tinus* ~ мокрая курица; *krekel* – сверчок (нидерл.).

[Вернуться](#)

## 212

Обыгрывая значащую фамилию De Hond (собака), доктор отзывается о дементном пациенте как о жвачном животном (rund, крупный рогатый скот): «Это не собака, это – корова».

[Вернуться](#)

## 213

Прыгать можно – прыгайте, если вам это нравится – прыжок разрешен – прыжок разрешен – перед тем как выпрыгнуть, пожалуйста, приведите в порядок свою одежду (*нидерл., фр., нем., итал., англ.*).

[Вернуться](#)

## 214

Йодль – пение без слов, в особой манере, с характерным быстрым переключением голосовых регистров (Тироль и др.).

[Вернуться](#)

## 215

См. примечание 9 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 216

Robert William Victor Gittings (1911–1992) – английский литератор, биограф.

[Вернуться](#)

## 217

Два последних названия: *Краткая история времени*, заглавие книги английского физика Стивена Хокинга (Stephen William Hawking, род. 1942) и *Забавная вещь случилась по дороге к счастью*, пародируемое название бродвейского мюзикла.

[Вернуться](#)

## 218

Неточное название книги: Н. Л. Кок. *Thanatos. De geschiedenis van de laatste eer* [Х. Л. Кок. *Танатос. История отдания последних почестей*].

[Вернуться](#)

## 219

Anton Adriaan Mussert (1894–1946) – нидерландский инженер, политик, вождь голландских национал-социалистов.

[Вернуться](#)

## 220

Больница в Амстердаме, существовавшая до 1981 г.

[Вернуться](#)

## 221

Wystan Hugh Auden (1907–1973) – выдающийся англо-американский поэт XX в.

[Вернуться](#)

## 222

Понятие *эвтаназия* эвфемистически употреблялось в нацистской Германии при умерщвлении лиц, «неполноценных в расовом и

биологическом отношении». В настоящее время употребления этого термина в Германии избегают, пользуясь выражением *Sterbehilfe*, *помощь в смерти*.

[Вернуться](#)

## 223

De Grootе Club, построенное в 1914 г. в центре Амстердама импозантное здание солидного клуба, существующего с конца XVIII в.

[Вернуться](#)

## 224

«...Но рефрен – Смерть»; Heïn, папаша Хейн, братец Хейн – аллегорические наименования Смерти в германском фольклоре. *Net refrein is Heïn* – нидерландское название настоящей книги.

[Вернуться](#)

## 225

Отсылка к главе «Инсульт» наст. изд.

[Вернуться](#)

## 226

*Унесенные ветром* (1936) – роман американской писательницы Маргарет Митчелл (Margaret Mitchell, 1900–1949).

[Вернуться](#)

## 227

Второе мнение, дополнительная консультация медицинского специалиста.

[Вернуться](#)

## 228

Гарпунщик, дикарь-папуас, персонаж романа *Моби Дик, или Белый кит* (1851) американского писателя Германа Мелвилла (Herman Melville, 1819–1891).

[Вернуться](#)

## 229

Пс 21 (22), 2; Мф 27, 46.

[Вернуться](#)

## 230

«Больше света!» (нем.) – последние слова Гёте.

[Вернуться](#)

## 231

В национал-социалистической Германии и оккупированных ею странах евреев убивали или отправляли в концлагеря только за то, что они евреи; они должны были носить желтую шестиконечную звезду с буквой J, первой буквой немецкого слова Jude (еврей); на оккупированных территориях России и Украины этому слову официально соответствовало слово *жид*.

[Вернуться](#)

## 232

*Albert Heijn* – разветвленная сеть супермаркетов в Нидерландах, Бельгии и отчасти в Германии.

[Вернуться](#)

## 233

См. примечание 142 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 234

«Этим утром пришел человек, дабы обсудить со мною, где следует ему соорудить окно у меня в подвале, взамен того, каковое заделал сэр У. Баттен; спустившись в подвал посмотреть, утонул я ногою в непомерной куче говна, из чего заключаю, что нужник мистера Тёрнера переполнился и переходит уже в мой подвал, что немало меня беспокоит, но я велю это исправить»; Samuel Pepys (1633–1703), английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого *Дневника (Diary)*.

[Вернуться](#)

## 235

Maurits Cornelis Escher (1898–1972), нидерландский художник, мастер логических и пластических парадоксов.

[Вернуться](#)

## 236

Ludwig Wittgenstein. *Philosophische Untersuchungen* [*Философские исследования*].

[Вернуться](#)

## 237

Выпускаемые в Индии таблетки для расслабления мышц (миорелаксант).

[Вернуться](#)

## 238

Harry Houdini, настоящее имя Эрик Вайс (венг. Weisz Erik; 1874–1926) – американский иллюзионист.

[Вернуться](#)

## 239

*Авва, Отче, только Ты* – несколько десятилетий одно из любимых песнопений голландских христиан-некатоликов (<https://www.youtube.com/watch?v=4ТАН106wOY8>). Примеч. С. Бринка.

[Вернуться](#)

## 240

Опиоидный анальгетик.

[Вернуться](#)

## 241

Он думает: *размахиваю руками, а я тону* (англ.).

[Вернуться](#)

## 242

«Не спрашивай, по ком он звонит, он звонит по мне!» – видоизмененная сентенция английского поэта Джона Донна (John Donne, 1572–1631).

[Вернуться](#)

## 243

Стреловидный изгиб (лат.) – синус твердой мозговой оболочки.

[Вернуться](#)

## 244

Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит – заболевание позвоночника.

[Вернуться](#)

## 245

Isidor Feinstein Stone (1907–1989) – американский журналист.

[Вернуться](#)

## 246

Успокоительное.

[Вернуться](#)

## 247

Вы понимаете, что у вас? Вы знаете, что с вами сейчас происходит? Вам ясно ваше положение? Вы знаете, в чем ваша проблема? (англ.)

[Вернуться](#)

## 248

Я умираю (англ.).

[Вернуться](#)

## 249

Пожалуйста, не беспокойтесь! (англ.)

[Вернуться](#)



## 250

*Титанчики* – рассказ Нескио, вышел мизерным тиражом в 1915 г., получил признание публики в переиздании 1933 г.

[Вернуться](#)

## 251

Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) – немецкий ученый, публицист, известный своими афоризмами.

[Вернуться](#)

## 252

Glen (Colonel) Baxter (род. 1944) – английский карикатурист.

[Вернуться](#)

## 253

См. примечание 176 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 254

Известный морской курорт.

[Вернуться](#)

## 255

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755–1843) – основатель гомеопатии как альтернативной медицины («подобное излечивается подобным»).

[Вернуться](#)

## 256

Аутоиммунное системное поражение соединительной ткани, включая слюнные и слезные железы; проявления болезни впервые описал шведский офтальмолог Henrik Sjögren (1899–1986).

[Вернуться](#)

## 257

«Книжечка» – нидерландский журнал для женщин.

[Вернуться](#)

## 258

Ужасный визг тормозов разорвал воздух, за ним последовали вопль и звучный удар. Мерсье и Камье бросились (после секундного колебания) на улицу и были вознаграждены заслоненным вскоре толпою зевак видом большой, толстой женщины, слабо корчившейся на земле. Беспорядок ее одежды рассекречивал потрясающую массу вздымающегося белья, исходно белого цвета. Ее жизнь истекала с кровью из одной или более ран и уже достигла водостока.

– О, – сказал Мерсье. – Это то, что мне было нужно. Я уже чувствую себя новым человеком.

Он и на самом деле преобразился.

– Пускай это станет для нас уроком, – сказал Камье.

– В смысле? – сказал Мерсье.

– Никогда не отчаиваться, – сказал Камье, – и не терять нашей веры в жизнь.

– А, – сказал Мерсье с облегчением. – Я боялся, ты имеешь в виду что-нибудь еще.

Когда они уходили, мимо проехала санитарная карета, спешившая к месту происшествия.

Samuel Beckett, *Mercier and Camier* [Мерсье и Камье] (пер. М. Бутова).

[Вернуться](#)

## 259

Из сказки братьев Гримм *Белая невеста и черная невеста*.

[Вернуться](#)

## 260

Пер. Е. Т. Рудневой.

[Вернуться](#)

## 261

Karl Friedrich May (1842–1912) – немецкий писатель, автор приключенческих романов для юношества.

[Вернуться](#)

## 262

«Хорошо, что вы приходите. Пожалуйста, не говорите <что я> умру»  
(англ.).

[Вернуться](#)

## 263

Белый селезень с желтым клювом и желтыми лапами, персонаж мультипликаций Уолта Диснея.

[Вернуться](#)

## 264

Emmanuel Lévinas (1905–1995) – французский этический философ.

[Вернуться](#)

## 265

Еккл 7, 16–17.

[Вернуться](#)

## 266

Парафраз второй строки *Книги Бытия*: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

[Вернуться](#)

## 267

William Harvey (1578–1657) – английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии.

[Вернуться](#)

## 268

См. примечание 246 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 269

Во время Египетского похода Наполеон писал своей жене Жозефине: «Ne te lave pas, je reviens» [«Не мойся, я скоро вернусь»].

[Вернуться](#)

## 270

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij – Королевская авиационная компания (Нидерландов).

[Вернуться](#)

## 271

Живописный престижный городок к северу от Гааги.

[Вернуться](#)

## 272

См. примечание 216 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 273

«Теперь почти все его мысли были о тяжком испытании, выпавшем на долю Северна: быть свидетелем его смерти: „Ты когда-нибудь видел, когда кто-нибудь умирает? – спросил он. – Что ж, мне тебя жаль, бедный Северн“. И затем, утешая: „Наберись мужества, долго это не продлится“. Он настойчиво предостерегал Северна, чтобы тот не вдохнул его предсмертное дыхание. Его ужас и разочарование, когда, очнувшись от сна, он увидел, что всё еще жив, были безмерны, и он горько заплакал; вскоре, однако, он успокоился. Вечером 21 февраля казалось, что он умирает, и он просил Северна, чтобы тот его приподнял, дабы уменьшить боль, которую причинял ему кашель. Он всё еще угасал день или два. В пятницу 23 февраля с ним оставалась сиделка, чтобы Северн мог немного поспать, но в четыре часа дня Китс снова позвал его: „Северн – Северн – подними меня, умираю – я умру легко – не бойся – Господи, наконец-то“. Но это был еще не конец. В продолжение семи часов лежал он в объятиях своего друга, сжимая его руку. Дышал он с большим трудом, но казался спокойным и как будто не испытывал боли. Лишь однажды, когда всего его покрыла испарина, он прошептал: „Не дыши на меня – твоё дыхание как лед“. В одиннадцать часов этого дня он умер, спокойно, словно уснул».

[Вернуться](#)

## 274

Мысль о прославленной *Ode on a Grecian Urn* [Оде греческой урне] Китса.

[Вернуться](#)

## 275

Rudolf Steiner (1861–1925) – австрийский философ и педагог, основатель антропософии.

[Вернуться](#)

## 276

Из *Rome, the Protestant Burial-Ground. Grave of Keats* [Рим, протестантское кладбище. Могила Китса] Пёрси Биш Шелли (Percy Bysshe Shelley, 1792–1822).

[Вернуться](#)

## 277

Нарочито искаженное заглавие вышеупомянутой книги (см. примечание 275 наст. изд.)

[Вернуться](#)

## 278

Сравнительно отдаленная деревня в провинции Северная Голландия.

[Вернуться](#)

## 279

См. Гомер, *Одиссея*, песнь IX (пещера циклопа).

[Вернуться](#)

## 280

Woody Allen, урожд. Allen Stewart Konigsberg (род. 1935) – американский кинорежиссер, актер, драматург, писатель, джазовый музыкант; фильм *Bananas* (1971).

[Вернуться](#)

## 281

Луций Анней Сенека (4 до н. э. – 65) – римский философ-стоик: *Ducunt volentem fata, nolentem trahunt* [Покорного судьба ведет, непокорного тащит].

[Вернуться](#)

## 282

Последние строки стихотворения нидерландского поэта П. Н. ван Эйка (Pieter Nicolaas van Eysck, 1887–1954) *De tuinman en de dood* [Садовник и смерть] (1926), сюжет которого взят из романа Жана Кокто (Jean Cocteau, 1889–1963) *Le Grand Écart* [Двойной шаг] (1923) и, в свою очередь, восходит к притче великого персидского поэта-суфия Джалала ад-Дин Мухаммада Руми (1207–1273).

### ***Een Perzisch Edelman:***

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,  
Mijn woning in: «Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,  
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,  
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorlags gaan,  
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!» —

Van middag (lang reeds was hij heengespoed)  
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

«Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,  
Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?»

Glimlachend antwoordt hij: «Geen dreiging was 't,  
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,  
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan».

### ***Персидский вельможа:***

Чуть свет садовник предо мной возник,  
Он весь дрожал: «Прошу вас, один миг!

Меж роз, покрытых утренней росой,  
Мой господин, стоит Скелет с косою.



Он угрожает мне, страшит меня.  
О, я молю вас, дайте мне коня,

Чтоб я, пусть изможден и бездыхан,  
Всё ж прискакал бы к ночи в Исфахан!»

А в полдень (он давно уж ускакал),  
Костлявого я в парке повстречал.

«Зачем, – спросил я, обратясь к нему, —  
Там угрожал слуге ты моему?»

«Садовнику, – с ухмылкой молвил он, —  
Не угрожал я. Был я изумлен:

Всё еще здесь, работой обуян,  
Тот, в ночь за кем приду я в Исфахан».

[Вернуться](#)

## 283

Британская ежедневная газета, характеризующаяся как самое читаемое из качественных изданий.

[Вернуться](#)

## 284

См. примечание 243 наст. изд.

[Вернуться](#)

## 285

Ernst Ferdinand Sauerbruch (1875–1951) – один из наиболее значительных и влиятельных хирургов первой половины XX в.

[Вернуться](#)

## 286

«Се человек!» (*лат.*) – с этими словами Понтий Пилат показал народу Иисуса после бичевания, желая возбудить сострадание толпы (Ин 19, 5).

[Вернуться](#)

## 287

*Concept of Mind [Понятие сознания]* (1949) – монументальный труд английского философа Гилберта Райла (Gilbert Ryle, 1900–1976).

[Вернуться](#)

## 288

Людвиг Виттгенштайн как-то спросил своего друга: «Почему люди всегда говорят, что было естественно предположить вращение Солнца вокруг Земли, а не Земли вокруг Солнца?» Друг ответил: «Понятно почему – зрительно кажется, что Солнце вращается вокруг Земли». На что Виттгенштайн ответил: «Интересно, как бы зрительно выглядело, будто вращается Земля?»

[Вернуться](#)

## 289

PAS (physician assisted suicide) – самоубийство с врачебной помощью: предоставление больному по его просьбе препаратов, прерывающих жизнь.

[Вернуться](#)

[vk.com/occultumlibris](https://vk.com/occultumlibris) - t.me/occultum\_Libris